

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ПЕТЕРБУРГ · ПЕТРОГРАД ·
ЛЕНИНГРАД

Н. Эйдельман

Мгновенье славы настает...

год 1789-й





Н. Эйдельман

*Минувенье славы
настает...*

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ПЕТЕРБУРГ · ПЕТРОГРАД · ЛЕНИНГРАД

год 1789-й



Н. Эйдельман

*Мгновенье
славы
настает...*



Р е ц е н з е н т ы :

Е. В. Анисимов, доктор исторических наук;
С. Н. Искюль, кандидат исторических наук

Р е д а к т о р *С. А. Прохватилова*

**Вперед, сыны Отчизны милой,
Мгновенье славы настает!**

ВЕСНОЙ 1790 года во Францию приехал 23-летний русский путешественник Николай Карамзин, будущий известный писатель-историк, стремившийся как можно больше увидеть и понять в гуще тогдашних европейских событий. «Я хочу,— писал он,— жить и умереть в моем любезном отечестве; но после России нет для меня земли приятней Франции». (Как не вспомнить ту же, но иначе высказанную мысль Маяковского:

ЖИТЬ

и умереть в Париже,

Если б не было

такой земли —
Москва.)

Париж на исходе первого года революции был уже городом без Бастилии, но — с королем; уже звучали дерзкие песни — но еще не сочинена «Марсельеза»; кое-кто уже покинул Францию, предвидя кровавые события, — но большинство верило в будущее и было настроено весьма весело. Революция казалась довольно мирной и привлекательной даже для людей умеренных взглядов, каким являлся русский путешественник. «Мы приближались к Парижу, — записывает Карамзин, — и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж!.. Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. «Вот он (думал я) — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и Азии, в Америке и в Африке — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем!»

Однажды он отправляется в аббатство Сен-Дени — к гробницам французских королей; больше всего он мечтал о встрече с соотечественницей, первой русской, о которой точно известно,

что — достигла Франции (были, конечно, и другие, более ранние посещения, от которых, однако, не осталось и следа в исторических хрониках). «Я был на кладбище французских царей, которые все, в глубокой тишине, лежат друг подле друга; колена Меровея, Карлово, Капетово, Валуа и Бурбонское. Я напрасно искал гробницы Ярославовой дочери, прекрасной Анны, супруги Генриха I, которая по смерти его вышла за графа Крепи и скончала дни свои в Жанлизском монастыре, ею основанном; другие же историки думают, что она возвратилась в Россию. Как бы то ни было, но ее кенотафа нет подле монумента Генриха I. Вообразите чувство юной Россиянки, которая, оставляя свою милую отчизну и семейство, едет в чужую, дальнюю землю, как в темный лес, не зная там никого, не разумея языка,— чтобы быть супругою неизвестного ей человека!.. Следственно и тогда приносились горестные жертвы Политике! Анна должна была переменить веру во время самых жарких раздоров Восточной и Западной церкви; что очень удивительно, Генрих I заслуживал быть ее супругом; он славился мужеством и другими царскими достоинствами. Любовь заключила второй брачный союз ее; но Анна недолго наслаждалась счастьем любви: граф Крепи был убит на поединке...»

XVIII век и XI... Русская принцесса Анна была прапра... бабушкой Людовика XVI.

Нам нелегко понять, отчего в середине XI века французскую королеву везли из столь далекой страны? Может быть, именно потому, что — далекая; что ее родственники не могли претендовать на французские земли, как это наверняка случилось бы при появлении в Париже английской, испанской или немецкой принцессы...

Две с лишним тысячи километров, отделяющих Россию от Франции, столь долгие в XI веке, позже еще более удлинились.

Больше пяти столетий мы почти не видим русских во Франции и французов в России: две страны — будто две дальние планеты. Все больше их разделяет различие церквей; веками Россия находится под властью монголов, Франция — в тисках Столетней войны. Когда же Париж становится столицей объединенного королевства, у французов находится слишком много дел у себя дома, чтобы искать торгового или политического счастья многомесячными путями. Западную Европу в средневековой России чаще всего представляют соседние страны: немцы, шведы, поляки; появляются итальянцы.

Всего, может быть, несколько примеров того взаимного влияния культуры и политики, которое столь привычно для России и Франции XVIII — XX веков.

В середине XIII столетия по российским просторам, разоренным монгольским нашествием, проедет монах Вильгельм Рубрук (впрочем, голландец по происхождению), посланный королем Людовиком Святым с поручением к повелителю Золотой Орды; два века спустя Московия вдруг возникнет на страницах Рабле: в X главе «Гаргантюа» король Пикрохаль, как известно, собирается подчинить «Пруссию, Польшу, Литву, Россию», а для того чтобы никто не ударил с тыла, «мы пошлем строгий приказ москвитам, и они вышлют нам в подмогу 450 000 отборного войска».

В конце XVI века Иван Грозный, расправляясь с действительными и мнимыми противниками, при этом еще осудил французского короля за Варфоломеевскую ночь, а несколько лет спустя неудачно соперничал с Генрихом Валуа за польский трон. Казалось бы, Франция и Россия снова «заметили» друг друга, но последующая многолетняя русская смута, изоляция от Европы ввиду отсутствия морских портов, — все это снова удлинит расстояния. Правда, мелькнул в хронике российских междоусобиц конца XVI — начала XVII века бравый наемник капитан Жак Маржерет: Лжедмитрию он столь красочно поведал о знаменитом французском монархе Генрихе IV, что едва не дошло до установления в ту пору русско-французских отношений: самозванца вскоре, однако, убили, и дело «отложили» более чем на столетие...

300 лет назад европейские события Москвы почти не касались; редко, крайне редко являлись заморские послы. Известие об английской революции и казни короля Карла I вызвало, правда, некоторое волнение у царя Алексея Михайловича (с англичанами была прервана торговля), но все же никакого заметного общественного отзвука британские события не имели. Можно ручаться, что подавляющее большинство российской знати (не говоря уж о простом народе) так и не узнало о свержении Стюартов, Кромвеле и последующих делах.

В том самом 1649 году, когда английский монарх лишился головы и в стране завершилась феодальная эпоха, — в том году Соборное уложение царя Алексея Михайловича окончательно установило в России крепостное право.

Но вот приходит время Петра и Петербурга. В Европе все чаще толкуют о двухметрового роста монархе, который создал регулярную армию и флот, в несколько раз увеличил промышленность, завел школы, газету, собирается открыть Академию наук; по выражению графа Альгаротти (неаполитанца, посетившего Россию), царь «открывает окно в Европу»; он приглашает множество иностранных специалистов, в том числе

французов; чтобы показать пример подданным, сам овладевает 14 ремеслами, от плотника до зубного врача, сам отправляется в Европу, один раз инкогнито, а затем — официально. В Париже — несет маленького Людовика XV, восклицая: «Всю Францию на себе несу!», у могилы Ришелье произносит: «Я бы отдал тебе половину своего царства, чтобы ты научил меня, как управлять другою!»...

Наконец — новая столица, где на *чистом месте* можно по своему устроить государство — без противодействия «косной Москвы»; столица на краю империи, но зато — рядом с Европой; вдали от российских материковых степей, зато — у сближающего страны и народы моря. Французская культура отныне — по соседству, так же, как и Великая революция, до которой всего два-три поколения...

Реформы, «революция Петра»: из 14 миллионов, составлявших тогдашнее население России, примерно полтора-два миллиона бежали на восток, в Сибирь, где их пока что не могла настигнуть всеведущая власть, а также погибли на войне со шведами, при строительстве новой столицы, Санкт-Петербурга, при подавлении разных бунтов, при неурожаях и эпидемиях...

«Революция Петра» — этим термином нередко пользовались многие русские публицисты XIX столетия. Конечно, революция совсем не такого рода, какая произойдет в конце столетия во Франции; в Париже будет провозглашено падение феодализма и деспотизма, из Петербурга же русский народ получит невиданно усиливавшийся абсолютизм и самые жестокие формы крепостного рабства; но скорость преобразований, их форма, парадоксальный путь России к просвещению (через усиливающееся рабство), — во всем этом было много революционной, коренной ломки. «Гений-палач» — так назовет Петра Герцен; несколько раньше — Пушкин: «Петр I одновременно и Робеспьер, и Наполеон».

Русский царь, как видим, прозван именами тех деятелей, что появятся на свет только через полвека после него. Однако в этом эффектном поэтическом сравнении заложен один из ответов на очень непростую историческую загадку — «о русском 1789-м»; о, казалось бы, непонятном, огромном взаимодействии французской и русской истории начиная с этого времени; о двух народах и странах, столь непохожих. И в сущности, столь похожих!

Перед грозой



«С О В Е Т Н И Ц А. Ах, сколь счастлива дочь наша! Она идет за того, который был в Париже. Ах, радость моя! Я довольно знаю, каково жить с тем мужем, который в Париже не был.

С ы н (*вслушавшись, приподнимает шишку колпака*). Madame! Я благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо счастливее».

Это объяснение происходит в комедии «Бригадир», написанной Денисом Фонвизиным за 20 лет до штурма Бастилии.

Два сумасшедших галломана не устают восклицать: «С ы н. Все несчастье мое состоит в том только, что ты русская.

С о в е т н и ц а. Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная гибель.

С ы н. Это такой default*, которого ничем загладить уже нельзя.

С о в е т н и ц а. Что ж мне делать?

С ы н. Дай мне в себе волю. Я не намерен в России умереть. Я сыщу occasion favorable** увезти тебя в Париж. Там остатки дней наших, les restes de nos jours***, будем иметь утешение проводить с французами; тамо увидишь ты, что есть между прочими и такие люди, с которыми я могу иметь societe****.

С о в е т н и ц а. Верно, душа моя! Только, я думаю, отец твой не согласится отпустить тебя в другой раз во Францию.

С ы н. А я думаю, что и его увезу туда с собою. Про-

* Недостаток (фр.).

** Благоприятный случай (фр.).

*** Остаток наших дней (фр.).

**** Общество, товарищество (фр.).

свещаться никогда не поздно; а я за то порукою, что он, съезжая в Париж, по крайней мере, хотя сколько-нибудь на человека походить будет.

Советница. Я примечаю, что он смертно влюблен в меня.

Сын. Да знает ли он право честных людей? Да ведет ли он, что за это дерутся?

Советница. Как, душа моя, ты и с отцом подраться хочешь?

Сын. Et pourquoi non? Я читал в прекрасной книге, как бишь ее зовут... Le nom m'est échappé**, да... в книге «Les sottises de temps»***, что один сын в Париже вызывал отца своего на дуэль... а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилось в Париже?»

Известный сатирик рисует картинку русского дворянского быта середины XVIII века. Лет 60 назад деды и прадеды этих дворян в основном не подозревали о существовании Франции, а теперь — «Я хотел бы иметь жену, с которою бы я говорить не мог иным языком, кроме французского».

Для того чтобы произошли такие чудеса, кроме «революции Петра», понадобилось несколько «революций», еще более не похожих на то, что надвигается во Франции: переворотов дворцовых, заменявших одних потомков Петра Великого другими.

У русского окна, открывшегося в Европу, поначалу более всего немцев, голландцев, итальянцев. Немецкий и голландский язык при Петре и первые годы после него — явно на первом месте; однако усиление немецкого влияния, появление большого числа немецких дворян при дворе, раздражает русскую аристократию, военных, простой народ и в конце концов приводит к патриотическому взрыву.

Ночью 25 ноября 1741 года в казармы Преображенского полка является переодетая в мужской костюм дочь Петра Великого Елизавета; гвардейцы поднимают ее на руки и несут во дворец. Немецкая партия разбита почти без сопротивления, Елизавета садится на русский трон. Единодушие гвардейцев, впрочем, объяснялось не только их национальными чувствами, но и теми средствами, которые вложил в этот переворот французский посол мар-

* А почему же нет? (Фр.)

** Позабыл название (Фр.)

*** «Недешности времени» (Фр.)

киз Шетарди (Париж в это время уже имел постоянного представителя в России).

20-летнее царствование Елизаветы было тем периодом, когда немецкое влияние значительно ослабло, отступило. Во дворец, в гостиные, провинциальные имения властно проникает французский язык, французская культура, Франция... Появляются французские книги, французские гувернеры, в моду входит французская одежда, политес; дворцы для Елизаветы строит Растрелли, итальянец по крови, француз по культуре; из Парижа приезжают известные художники, скульпторы, архитекторы — Токке, Лагрене, Самсуа, Жилле, Деламот; одним из любимых писателей читающего дворянства становится Фенелон; русский же перевод книги Фонтенеля «Беседы о множественности миров» стал, кажется, первой (но далеко не последней!) книгой французского Просвещения, которая была все-таки запрещена церковью даже в галло-манское царствование Елизаветы.

Мало того, на русском горизонте в те годы появляется французская звезда первой величины: Елизавета ищет автора для жизнеописания своего великого отца, фаворит же императрицы Иван Шувалов настаивает, что лучшим автором в мире является Вольтер. Хотя, по мнению некоторых российских читателей, книги его наполнены «смертоносным и душевредным ядом злобожия и безбожности», тем не менее в Ферне к человеку, «чье имя есть уже хвала», посылаются соответствующие письма, и Вольтер дает согласие: историей Петра он живо интересуется, к тому же это может поправить его финансовые дела. Однако с первых шагов работа одного из предтеч французской революции над биографией «царя-революционера» сталкивается с чрезвычайными трудностями. Петербургский двор просит представить Петра идеализированного, улучшенного; просвещающего — но не рубящего самолично головы, не приговаривающего к смерти собственного сына... Вольтер идет на некоторые уступки, объявляет, что не намерен писать «секретную историю Петра Великого»; меняет даже название предполагаемой книги: вместо «История жизни Петра Первого» теперь будет «История Российской империи при Петре Великом».

Вольтер, Фенелон, Фонтенель... «Культурные контакты», впрочем, не противоречат тому, что императрица Елизавета так до конца своих дней и не поверила, что

Англия — это остров; позже Пушкин заметит, что при русском дворе «царило азиатское невежество и добро делалось ненарочно». Меж тем Василий Тредиаковский, один из первых современных русских поэтов, уже успел прослушать курс в Сорбонне...

Французские книги, сначала ручейками, затем потоком, вольются в российские библиотеки. Те, кто не сумел достать Вольтера, Фенелона, переписывают целые тома от руки...

Столкновение новейшего парижского просвещения и причудливой русской цивилизации XVIII столетия давало удивительные плоды — и в обществе, и даже во дворце.

Одним из них была биография, которая впишется во многие главы предыстории и истории французской революции.

«Философ в 15 лет»

София-Августа-Фредерика-Анхальт-Цербстская — это длинное имя молодая женщина вскоре поменяет на куда более короткое и знаменитое: *Екатерина Вторая*. Но пока еще она всего лишь жена наследника, юная немецкая принцесса из весьма крохотного княжества, доставленная в жены единственному племяннику Елизаветы Петровны.

15-летнюю девочку везут как особую государственную ценность через Германию, Польшу, Прибалтику — в далекую, непонятную северную державу.

В Петербурге Елизавета, а также 16-летний ее племянник Петр (тоже недавно доставленный из Германии, где он звался Карл-Петер-Ульрих) наблюдают, «экзаменуют» юную девицу на право стать когда-нибудь российской императрицей.

Она же — изучает, тайно экзаменует их, причем в духе своего немецко-французского воспитания записывает впечатления; правда, после в страхе свои листки сжигает, но записывает снова...

Принцесса живет одиноко в своей комнате, обучаясь русскому языку, играя на клавесине и глотая одну книгу за другой. Один шведский граф и дипломат находит, что у нее философский склад ума.

«Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что

делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендует мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала, что набросаю ему свой портрет так, как я себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я написала сочинение, которое озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», — и отдала ему. Много лет спустя я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопровождал его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтоб это не исполнила».

Молодая особа записывает, запоминает: перед нею открывается механизм власти...

Книги Монтескье, как видим, в Петербурге еще едва можно достать; приходится чуть ли не прибегать к конспиративным отношениям с иностранным послом. Монтескье, о котором несколько лет спустя Екатерина, уже царица, напишет своему знаменитому корреспонденту Д'Аламберу: «Я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его: надеюсь, что если б он с того света увидел меня работающею, то простил бы этот плагиат ради блага 20 миллионов людей, которое из того последует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на это; его книга служит для меня молитвенником».

Готовясь к борьбе за власть, юная принцесса вычитывает между прочим у Монтескье в «Духе законов»: «Все удары падали на тиранов и ни один на тиранию».



Шарль Луи Монтескье. Гравюра Н.-Ж. Вуайе (?) по картине К.-П. Марийе. 2-я половина XVIII в.

Принцесса же уверена, что в России она упразднит тиранию навсегда...

Полтора века спустя над этими формулами, над этой ситуацией задумывается величайший русский писатель: Лев Толстой вспомнит, как в молодости (то есть в середине XIX века) увлекался французскими просветителями: «Я уехал в деревню, стал читать Монтескье; я стал читать Руссо и бросил университет именно потому, что захотел заниматься»; писатель между прочим захотел поспорить и с Екатериной II: «Она постоянно хочет доказать, что, хотя монарх не ограничен ничем внешним, он ограничен своей совестью; но, ежели монарх признал себя, вопреки всем естественным законам, неограниченным, то уже нет у него совести, и он ограничивает себя тем, чего у него нет».

О молодости Екатерины (почти не имея других источников, кроме ее мемуаров) напишет и Герцен: «Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой — императрица Елизавета, бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за каждым шагом молодой великой княгини,

передавать каждое ее слово, исполненная подозрений и — все это после того, как дала ей в мужья самого нелепого олуха своего времени.

Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет делать без разрешения. Если она оплакивает смерть своего отца, императрица посылает ей сказать, что довольно плакать, что «ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели». Если она проявляет дружеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слуге — все основания думать, что того выгонят.

Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать».

Герцен замечает и другое: «Светловолосая, резвая невеста малолетнего идиота — великого князя, — она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жадной власти. Однажды, когда она сидела вместе с великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, который говорит ей: «Укладывайте ваши вещи — вы возвращаетесь в Германию». Молодой идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. «И для меня это было довольно-таки безразлично, — говорит маленькая немка, — но далеко не безразличной была для меня русская корона», — прибавляет великая княгиня. Вот вам будущая Екатерина 1762 года!

Все устремились урвать себе лоскут императорской мантии...»

Дело шло к новой «дворцовой революции», с помощью которой страстная поклонница Монтескье стремилась стать неограниченной правительницей величайшей империи...

6 июля 1762 года

Это был девятый день царствования Екатерины II, которая, опираясь на гвардию, только что свергла с престола Петра III, внука Петра Великого и племянника Елизаветы. На этот раз русских дворян не смущало немецкое происхождение новой царицы: она их устраивала, так как не собиралась опираться на своих соотечественников в управлении; так как раздала своим сторонникам мно-

жество подарков и льгот — в основном, десятки тысяч новых крепостных рабов.

В этот день, 6 июля, родились на свет два документа, поразительно разных, но возможных вместе, может быть, только в России. Один документ написан на сером, наверное случайно подвернувшемся, листе бумаги качающимся, пьяным почерком одного из ближайших доверенных лиц Екатерины — графа Алексея Орлова: он вместе с несколькими другими дворянами недалеко от столицы охранял арестованного, — несчастного супруга Екатерины II Петра III. И вот 6 июля Орлов извещает свою повелительницу: «Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов итти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором; не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, — достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек!»

Итак, сторонники Екатерины «нечаянно» убили Петра III, само существование которого ей мешало, могло вызвать новые заговоры с целью возвращения на трон внука Петра Великого. Алексей Орлов кается, молит о прощении, намекает на «особую близость» Екатерины с его родным братом, Григорием Орловым, и, конечно, не сомневается, что прощение будет получено. Более того, можно допустить, что убийцы вообще выполняли волю Екатерины, а оправдательный документ написан задним числом.

Письмо Орлова на многие десятилетия упрятано среди секретных бумаг императрицы; народу объявлено, что прежний император скончался от «геморроидальной колики».

На престоле очаровательная 33-летняя просвещенная, гуманная императрица, уверенная, что те блага, которые она принесет России, стоят некоторых жертв, стоят жизни «придурковатого супруга».

Посему в тот же день, 6 июля, императрица берется

за перо и пишет второй интересующий нас документ: предлагает знаменитейшему философу и писателю Дени Дидро перенести издание его столь же известной, сколь гонимой, «Энциклопедии» из Франции в Россию!

Зверства, темные интриги — и свет просвещенного разума кажутся неразделимыми...

В эти дни французский поверенный в делах Беранже докладывал в Париж: «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит; с другой — как внук царя Иоанна* увязает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начинает цареубийством свое собственное царствование!»

В эту же пору французский дипломат Рюльер составляет подробное и страшное описание последней дворцовой революции и убийства Петра III. Прочитав это сочинение, Людовик XVI (явно не предчувствуя приближающегося переворота во Франции) выскажет свою гипотезу: на полях книги, против того места, где говорится, что солдаты «не выразили никакого удивления низложением внука Петра Великого и заменой его немкой», он написал: «Такова судьба нации, в которой Петр Первый, при всем своем гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора наследника царствующим правителем».

Судьбы наций, выходит, решаются прихотью монархов...

Версаль был явно встревожен событиями 1762 года и склонен к разоблачениям. Однако можно сказать, что Екатерина II успешно противопоставила Версалью Париж!

Предложение перенести «Энциклопедию» в Ригу или Петербург прозвучало как сенсация европейского масштаба. Вольтер в письме к Дидро восклицает: «Ну, славный философ, что скажете о русской императрице?.. В какое время живем мы: Франция преследует философов, а Скифы ей покровительствуют»; мало того, Вольтер выражал опасение, как бы Екатерину не свергли сторонники «законных монархов».

* Речь идет об Иване VI (Иоанне Антоновиче), правнучке Ивана V, брата и соправителя Петра Великого.



Франсуа Вольтер. Гравюра с портрета Н.-Ж. Пайи. 1750-е гг.

Сам Вольтер также вступает в переписку с русской императрицей, которую комплиментарно именует «Екатерина Великий» (Catherine le Grand). Д'Аламберу сделано предложение прибыть в Петербург для воспитания наследника Павла. Математик-философ, кажется, более других просветителей возмутился петербургским царевубийством, приехать в Россию решительно отказался, однако тоже вскоре начал хвалить «северную Семирамиду», столь прекрасно относящуюся к науке, высокой мысли...

И началось! Между российской императрицей и европейскими философами идет самая интенсивная переписка. Вольтер именуется «учителем»; фаворит императрицы Григорий Орлов предлагает только что изгнанному из Франции Руссо «философский приют близ Петербурга»; соревнуясь с Орловым, граф Разумовский готов подарить Руссо имение на Украине. Ни Вольтер, ни Руссо не приезжают, но являются переводы, целый поток переводов, десятки томов Монтескье, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, сотни переложений, подражаний.

Специальное «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг» возглавляется влиятельнейшими вельможами — В. Орловым, А. Шуваловым, Козицким.

Российский читатель, наверное, не без изумления и оторопи находил в печати соображения Дидро, что «если самодержец требует произвольной власти над животом и имением народа, то он деспот, и народ по законам есте-



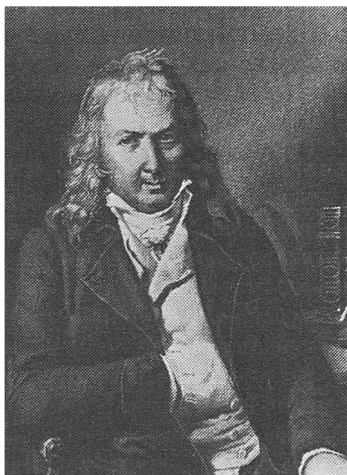
Жан-Жак Руссо. Гравюра
К.-Л. Ватле по офорту 2-й половины
XVIII в.

ства и благоразумия имеет право противиться насилию»; что деспот «взирает на своих подданных, яко на подлых рабов, яко на создания иного и худшего вида».

Руссо объяснял публике, что «бывало много добрых отцов семьи, но вряд ли было десять человек, способных к управлению себе подобными»; тем же, кто верит в хорошего монарха, отвечено: «Монарх никакой причины не имеет их (народы) любить».

Особенно дерзкие сочинения великих французов распространяются в рукописях: аббат Рейналь, к примеру, смеется над тем, что Екатерина II предпочитает именоваться монархиней, а не самодержицей, а подданным не велит называться рабами: «Долго ли будут русские, несмотря на всю их отсталость, принимать слова за дела?» Один из российских церковных иерархов восклицает: «Письменный Вольтер становится у нас известен столько же, как печатный, и сокровенными путями повсюду разливается его зараза»; дворяне, грамотные купцы и крестьяне, жители Поволжья, далекой Сибири, все, кто может,— читают, знают наизусть: число изданий не только больше, чем в Европе, иные книги публикуются чаще, чем во Франции.

Вслед за сочинениями — новые просвещенные гости и корреспонденты: Мерсье де ла Ривьер, «немец-француз» Гримм, постоянно извещающий Екатерину обо всех главных политических и культурных событиях Европы. Мало того, мыслитель и писатель Бернард де Сен-Пьер (автор чрезвычайно популярной в ту эпоху повести



Бернарден де Сен-Пьер. Литография Ф.-С. Дельпеша. 1820-е гг.

«Поль и Виргиния») вообще верит, что золотой век начнется на громадных пространствах России, и мечтает основать «утопическую республику свободных общин» где-то за Уральским хребтом...

Автора «Поля и Виргинии», правда, сочли в России не совсем нормальным; сурово отозвался о рабстве русских крестьян и аббат-путешественник Шапп-д'Отрош. Однако отдельные неблагоприятные суждения тонут в общем гуле просвещенных восторгов.

Екатерина сама отвечает аббату — и ее ответ, доказывающий, как хорошо живут русские люди даже в рабстве, популяризируется друзьями-просветителями. Дидро отправляется к Рюльеру и берет с него слово — не печатать свои разоблачения насчет переворота 1762 года до кончины Екатерины II (действительно, его книга вышла лишь в 1797 году, когда ни Екатерины, ни автора уже не было в живых).

Могучая армия разума, не боявшаяся монархов и феодалов, приветствует «северную Семирамиду»: странное, уникальное явление!..

Разве Вольтер, Дидро не знают, что нелюбезный Людовик XV — монарх все же куда менее всевластный, чем Екатерина II?

И разве Екатерина не скажет спустя многие годы, что «Энциклопедия» имела всего две цели: уничтожить христианскую религию и королевскую власть?

Расхожее объяснение этих удивительных контактов — что философы были обмануты, «подкуплены» и что Екатерина желала создать в Европе выгодное общественное мнение, которое уравнило бы неприятные подробности ее прихода к власти.

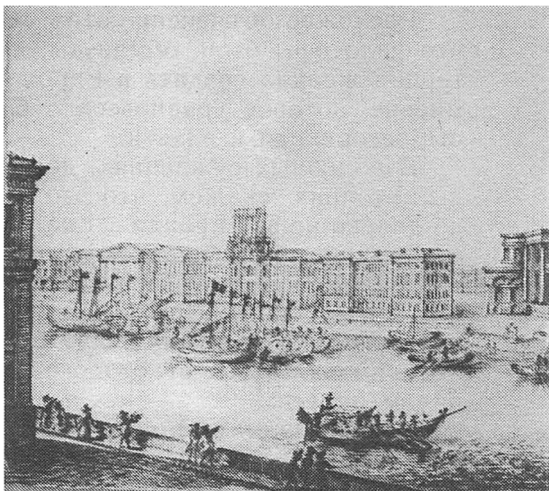
В подобных суждениях, конечно, немалая доля правды. Уточнив, скажем, что это — правда, только правда, но далеко не вся правда... Екатерина и просветители действительно обманывали друг друга; царица действительно писала Вольтеру (а он как бы верил): «В России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который, когда ему вздумается, не ел бы курицы, а в иных провинциях с некоторого времени предпочитают курицам индеек».

Обманывали, обманывались; но добавим, что обе стороны также и *обманываться рады...*

Философы, объективно готовя революцию, в то же время опасались террора и крови, искали в мировой истории, политике «смягчающие примеры». В России же — просвещенная царица, да еще правящая в том краю, где народ совершенно не просвещен, «близок к природе» — в духе Руссо... Подобно тому как Бугенвиль и Кук в эти годы поражали воображение европейцев известиями о чудесных тихоокеанских островах, где будто бы царят всеобщее равенство и счастье, — точно так примерно смотрели и на Россию: огромный край, сама отсталость которого может обернуться положительной стороной и допустить социальные, политические эксперименты, ведущие к свободе, дающие положительный пример Европе. Дидро, правда, иронизировал; требовал, чтобы Руссо и другие «враги прогресса» точно указали, какие «дозы просвещения» достаточны, а какие уже вредны; однако насчет России почти готов был согласиться с оппонентами...

Бывают заблуждения куда более ценные, чем иные истины. Ценные тем, что стимулируют общественную мысль, двигают ее вперед. Царица же, при всем своем несомненном цинизме, также была не лишена определенных иллюзий. Правящему дворянскому слою в России необходимы многие достижения культуры, цивилизации; без новых мануфактур и школ, без кораблей, мостов, пушек, без занимательных книг и шедевров искусства уже немыслимо сильное, блестящее дворянское государство.

Вид на Неву и Стрелку
Васильевского острова.
1780-е гг. Рис. Ф. Ламони.



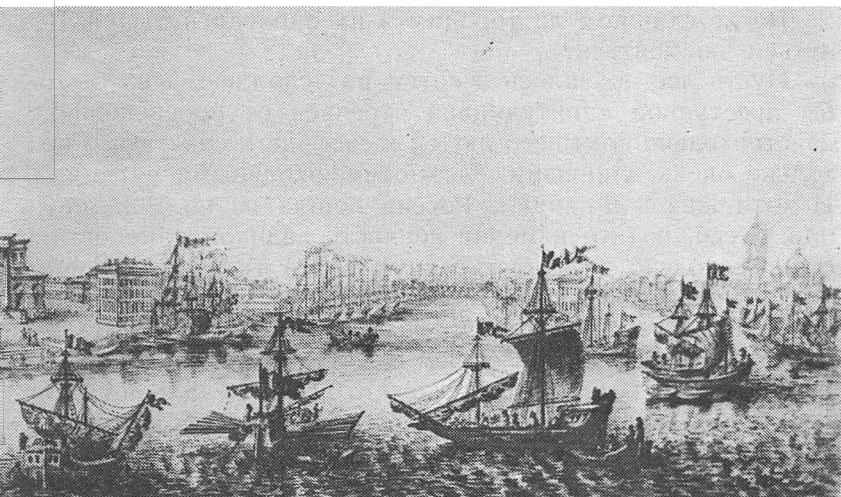
Екатерина II мечтала срывать плоды просвещения, но плоды «съедобные», безопасные для обитателей дворца. Не сокрушающие режим, но постепенно улучшающие, облагораживающие...

Царице казалось, что ввиду отставания России от Франции и других европейских стран еще не скоро появятся такие опасные «спутники прогресса», как стремление к свободе, ненависть ко всем формам деспотизма. Поэтому, хорошо зная, что Вольтер и Дидро враги своего короля, своей церкви, что они уже отсидели во французских тюрьмах, Екатерина тем не менее надеялась, что в России они не скоро найдут столь же дерзких последователей; зато покамест их ум и влияние, их «прирученные идеи» могут быть использованы для укрепления просвещенного самодержавия.

«Екатерина II, — записал Дидро, — является, пожалуй, первой государыней, которая искренне пожелала сделать своих подданных образованными».

Во множестве российских библиотек, в старинных книжных собраниях, в архивах до сих пор можно встретить тома или рукописи двухсотлетней давности со славными французскими именами — память о фантастическом союзе самодержавия и просвещения.

Перелистывая те страницы, мы, люди XX века, частенько улыбаемся над наивными предками: действи-



тельно, поражает их неуклонная вера в благое просвещение, которое может исправить и улучшить дела на земле. Во множестве книг и статей легко найти рассуждения, что в тот день, когда на Земле будет 51% грамотных, в ту пору наступит эпоха всеобщего блаженства и равенства; пусть в России конца XVIII века лишь 2—3% людей умеет читать и писать и в стране всего один университет, Московский, тогда как во Франции 21 университет, а читать умеет каждый второй мужчина и четвертая женщина: не беда! Народы, не испорченные «ложным просвещением», тем лучше воспримут истинное, которое получают либо от просветителей, действующих вопреки власти (как во Франции), либо от монарха-просветителя (как в России).

Мы-то в конце XX века хорошо знаем, что все не так просто; что фашизм явился на свет в очень просвещенных странах со 100-процентной грамотностью; что хотя в мире число грамотных в настоящее время примерно в полтора раза превышает число неграмотных, но до всеобщего счастья, благоденствия далеко. Более того, печальный опыт нашего века подверг сомнению и саму формулу — «чем просвещеннее, тем свободнее и счастливее».

Как часто нам не хватает того «наивного оптимизма», который был свойствен старым философам...

Но не слишком ли торопимся их опровергнуть, улыбнуться, посмеяться?

Пусть все оказалось в сотни раз сложнее, — но было бы преступной капитуляцией отречься от просвещения, действительно ведущего людей к свободе и счастью, — но только очень длинными, сложными, окольными путями... И хотя жизнь Франции, России пошла не по Вольтеру или Руссо, но кто измерит ценность великой наивности, если несколько десятилетий спустя Лев Толстой возьмет в руки сочинения дедовских времен и признается: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая «Музыкальный словарь», я более чем восхищался им — я боготворил его. В 15 лет я вместо креста носил медальон с его портретом. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я сам написал их».

Великий писатель на склоне лет говорил: «В моей жизни было два великих и благотворных влияния: Руссо и Евангелие».

Удивительный век, удивительные личности... Тем более важно и интересно присмотреться к ним в те дни и месяцы, когда они являются «на пересечении» России и Франции...

«Галло-русский философ»

Именно так в хорошие минуты называл себя Дени Дидро.

Александр Пушкин полвека спустя набросает незавершенное стихотворение об истории и предыстории французской революции:

Вешали книжники, тревожились цари...

Один из главных «книжников», Дидро, вещает на всю Европу; цари же, точнее русская царица, как будто вовсе не тревожатся...

1765 год. «Энциклопедия» готова.

Посвятив двадцать пять лучших лет гигантскому труду, Дидро остается таким же нищим, как и был. При всем своем бескорыстии, он не удерживается от горького замечания: «Мы помогли издателям составить состояние, а они предоставили нам жевать листья от лавровых венков».

Сам философ весьма неприхотлив, но обожаемая дочь выходит замуж, нужно готовить приданое, а денег нет. И Дени Дидро решается на величайшую жертву: собирается продать единственную ценность в доме — свою замечательную, десятилетиями собиравшуюся библиотеку.

Не найдя среди своих соотечественников никого, кто захотел бы купить книги, ученый обращается к Екатерине II. И тут русская императрица делает широкий, воистину царский жест: она не только покупает библиотеку за пятнадцать тысяч ливров (в ту пору очень большая сумма), но оставляет пока что книги в пользовании бывшего хозяина, назначив одновременно Дидро своим библиотекарем с ежегодным жалованьем в тысячу ливров. Более того, императрица приказывает выплатить жалованье за полвека вперед, а так как Дидро уже за пятьдесят, то ясно, что это — более чем эффектный подарок (после смерти философа его дочь еще продала Екатерине значительную часть рукописей отца).

Великодушие приносит желанные плоды: просвещенный мир в восторге от Екатерины II. Вольтер пишет ей: «Все писатели Европы должны пасть к стопам ее величества». Д'Аламбер растроган: «Вся литературная Европа рукоплещет, государыня, отличному выражению уважения и милости, оказанных вашим величеством Дидро».

«Семирамиде» нельзя отказать в уме и тонкости. На все восхваления она отвечает деланным удивлением: «Никогда бы я не подумала, что покупка библиотеки Дидро сможет навлечь на меня столько похвал; но согласитесь, это было бы и жестоко и несправедливо — разлучить ученого с его книгами».

Сам Дидро, разумеется, полон самой живой благодарности и начинает готовиться к поездке в далекую Россию — благо его туда уже не раз приглашали. Теперь он свободен от денежных забот, мечтает заново издать «Энциклопедию», свободную от цензуры и произвольных искажений французских издателей. Помня давнишнее предложение Екатерины, он надеется осуществить новое издание под покровительством русской царицы в ее стране: пока же — хочет как-то отплатить за добро...

В следующем, 1766 году Дидро помогает царице в одном очень и очень важном для нее деле: льстивые при-

дворные предлагают воздвигнуть ей монумент, но императрице достаёт ума отказаться и повести дело более хитро: она желает, чтобы был воздвигнут памятник Петру Великому, тем более что в надписи на постаменте царица себя не забудет.

Русский посол ищет мастера, способного изваять первый в России монумент. Советуется с Дидро и Вольтером.

21 октября 1766 года Екатерина II пишет: «Дидро дал мне случай приобрести человека, которому, я думаю, нет равного: это Фальконе; он вскоре начнет статую Петра Великого, и если есть художники, которые ему равны по искусству, то смело я думаю, что нет таких, которых можно было бы сравнить с ним по чувствам: одним словом, он задушевный друг Дидро».

Этьен Фальконе приехал в Петербург, «придумал статую» и вспомнил к этому случаю строку Горация: «Не весь умру»...

Бронзовый, «медный» всадник: под эффектной посвятельной надписью («Петру Первому Екатерина Вторая») почти незаметная авторская подпись: «Лепил и отливал Этьен Фальконе, парижанин».

Монумент был почти готов, когда ученик Дидро, не выдержав постоянных придинок и обид со стороны дворцовых чиновников, покинул Россию, так никогда и не увидав главного творения своей жизни.

Наградой ему стали слова Дидро: «Вот гениальный человек, полный всяких качеств, свойственных и несвойственных гению...»

Меж тем великий подрыватель основ оказывает еще и еще услуги русской императрице: помогает купить сто пятьдесят картин, в том числе полотна Рафаэля, Веронезе, Тициана, Мурильо, Рембрандта; он собственноручно занимается отправкой этих сокровищ в Россию, что оказывается совсем не простым и не легким делом. Семнадцать ящиков в течение трех месяцев лежат на берегу Сены и наконец морем отправляются в Петербург, причем Дидро очень волнуется, так как незадолго перед тем во время кораблекрушения погибли произведения знаменитых мастеров, купленные князем Голицыным. Однако на этот раз коллекция благополучно прибыла в русскую столицу, а Дидро вскоре получит благодарность императрицы и соболий мех на шубу.

«Ах, друг мой, как мы изменились! — заметит писатель в письме к Фальконе. — Среди полного мира мы продаем наши картины и статуи, а Екатерина скупает их в разгар войны. Науки, искусства, вкус, мудрость восходят к северу, а варварство со своими спутниками нисходит на юг».

До Великой французской революции оставалось двадцать лет — революции, которая посмертно назовет Вольтера, Дидро и Руссо главными вдохновителями.

Тем интереснее встречи и беседы между теми, кого история позже зачислит в противники, враги; а они о будущем конфликте не подозревают, не хотят знать, в лучшем случае, впрочем, угадывают...

Екатерина все более настойчиво приглашает Дидро; не поехать ему уж неловко. Однако перед тем состоялась другая очень интересная встреча.

Репетиция

Среди новых знакомых Дидро — княгиня Екатерина Романовна Дашкова, одна из замечательнейших женщин, некогда ближайшая подруга Екатерины II, немало способствовавшая возведению ее на трон. Вскоре после победы заговорщиков Дашкова, однако, утратила дружбу молодой императрицы. Та, правда, осыпала княгиню различными милостями, но предпочла держать бывшую подругу в отдалении: Дашкова ведь ожидала куда более существенных политических и нравственных перемен с новым царствованием и, чего доброго, могла затеять новую «дворцовую революцию»...

Лишь много лет спустя царица назначит Дашкову директором Петербургской Академии наук и Российской Академии, после чего Екатерина Романовна вполне оправдывает высокий титул «главы двух академий», способствуя развитию науки и словесности. Однако и в ту пору, как прежде, «Екатерина Великий» будет опасаться прямоты, откровенности, неукротимости бывшей подруги, «Екатерины Малой»: царица слишком любит лесть и подчинение; Дашкова же никак не может скрыть свою сильную, яркую, страстную натуру...



Е. Р. Дашкова.
Гравюра И.-К. Майра.

И вот в 1770 году в Париже 27-летняя княгиня знакомится с 57-летним Дидро: она совершенно очарована блестящим, парадоксальным умом философа и в свою очередь производит на него сильное впечатление. Оба оставили записи о тех встречах.

Дашкова: «Все семнадцать дней моего пребывания в Париже были для меня крайне приятными, так как я посвятила их осмотру достопримечательностей, а последние десять — двадцать дней провела всецело в обществе Дидро».

Дидро: «Дашкова отнюдь не красавица... В ее движениях много жизни, но не грации; ее манеры симпатичны. Общее выражение лица производит благоприятное впечатление. Характер ее сердитый, она говорит по-французски свободно; разговор ее сдержанный, речь простая, сильная и убедительная. Сердце ее глубоко поражено несчастьями; и в образе мыслей ее проявляется твердость, высота, смелость и гордость... Я провел с ней в это время четыре вечера, от пяти часов до полуночи, имея честь обедать и ужинать, и был почти единственным французом, которого она принимала... Несмотря на ноябрьскую погоду, Дашкова каждое утро выезжала около девяти часов и никогда не возвращалась домой раньше вечера, к обеду. Все это время она отдавала осмотру замечательных вещей, картин, статуй, зданий и мануфактур. Вече-

ром я приезжал к ней толковать о предметах, которых глаз ее не мог понять и с которыми она могла вполне ознакомиться только с помощью долгого опыта,— с законами, обычаями, правлением, финансами, политикой, образом жизни, искусствами, науками, литературой; все это я объяснял ей, насколько сам знал».

Мы вслед за Пушкиным как будто видим Дидро, с воодушевлением ораторствующего перед княгиней:

То читатель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал...

Иногда кажется, будто беседуют единомышленники: ведь написал же Дидро о Дашковой, что она «искренне ненавидит деспотизм и все проявления тирании». Тут бы в пору восхититься княгиней Екатериной Романовной, если забыть, что, одна из богатейших русских помещиц, она ловко управляет сотнями крепостных!

Однако Дидро о том не забывает. Его серьезно волнует величайшая российская проблема — бесправие огромного количества людей, и он заводит с княгиней разговор о рабстве в ее стране. Дашкова, однако, отвечает, что «свобода без просвещения породила бы только анархию и беспорядок». Более того, она переходит в наступление, сравнивая крепостных со слепыми, живущими на вершине крутой скалы: пока они не подозревают о грозящей им опасности — вполне счастливо; но вдруг — прозрели, обнаружили пропасть, и беспечной жизни конец!

Дашкова, кажется, ловко ведет нелегкий спор: по ее воспоминаниям, Дидро, услышав притчу о «слепцах», «вскочил со стула, будто подброшенный неведомой силой. Он зашагал большими шагами и, плюнув в сердцах, проговорил одним духом: “Какая вы удивительная женщина! Вы перевернули представления, которые я вынашивал в течение двадцати лет и которыми так дорожил”».

Ну, разумеется, все не так просто. Дидро продолжает спор в письме от 3 апреля 1771 года — из Парижа на юг Франции, где в это время жила Дашкова. «Если бы я был убежден,— пишет философ,— что настоящее мое послание не попадет в чужие руки и дойдет прямо по своему назначению, я рассказал бы Вам о ходе наших общественных дел». Дидро опасается «непрощенных читателей», но не может удержаться и затем подробно описыва-

ет острейший политический кризис, одну из «генеральных репетиций» приближающейся революции: в Бретани разгорелся конфликт между властным губернатором и местным парламентом (судом), который изгнал из этой провинции иезуитов.

Дело переходит в Париж, где двор, естественно, поддержал губернатора, а влиятельный, старинный парижский парламент — своих бретонских коллег.

И тогда король Людовик XV и его министры пошли на решительный шаг — распустили, уничтожили парламент, уверенные в своей безнаказанности.

Дидро же смотрит куда глубже и дальше: весной 1771-го он уже хорошо различает и 1789-й и 1793-й, о чем торопится известить свою русскую собеседницу: «Умы волнуются, и волнение распространяется; принципы свободы и независимости, прежде доступные только немногим мыслящим головам, теперь приходят в массу и открыто исповедуются. У каждого века есть свой отличный дух. Дух нашего времени — дух свободы. Первый поход против суеверия был жестокий и запальчивый. Когда же люди осмелились один раз пойти против религиозного рожна, самого ужасного и самого почтенного, остановить их невозможно. Если один раз они гордо взглянули в лицо небесного величества, вероятно, скоро встанут и против земного... Если двор отстранит народ, противники власти осознают свою вину, и это приведет к страшным последствиям. Мы дошли до кризиса, который окончится либо рабством, либо свободой; если рабством, то оно будет не легче константинопольской и мароккской неволи». Дидро замечает, что парламенты хоть немного сдерживали французских королей, теперь же «толпа бесовестных и бессильных чиновников, удаляемых по первому приказу их господина», может быстро привести к «перерождению монархии в деспотизм»; если бы в этих делах к тому же приняли участие церковники, иезуиты, тогда «менее чем в сто лет мы очутились бы в состоянии самого абсолютного варварства. Писать было бы окончательно запрещено; даже не позволялось бы мыслить; и вскоре за тем было бы невозможно читать; потому что книги, авторы и читатели состояли бы под запретом. Есть обстоятельства выше всех наших сил; они развиваются по закону строгой логической необходимости. Я уверен, что гораздо легче образованному народу отступить в варварский быт, чем варварам сделать шаг к цивилизации».

Дидро печален, воображая жуткую, тоталитарную диктатуру. Позже, мы увидим, он будет обсуждать события 1771 года с Екатериной II; однако француз всегда во всем философ, мыслитель: «Кажется, добро и зло зреют постепенно. Когда благо достигает полной зрелости, оно превращается во зло; напротив, когда зло созревает, оно переходит в добро...»

Дашкова читала эти строки со смешанным чувством восхищения и страха. Страх относился к России. Вряд ли княгине могло доставить удовольствие предположение, что придет день, когда и российские крестьяне восстанут против хозяев, против «земного величества». И наверное, Дашковой вспомнятся пророческие строки философа, когда два года спустя, по словам испуганно иронизировавшей Екатерины II, явится в России «маркиз Пугачев» и запылают помещичьи имения...

Дидро окажется в Петербурге как раз в разгар Пугачевского восстания, но с Дашковой не встретится, не доспорит. Они увидятся через несколько лет в Париже, незадолго до смерти неистового свободолюбца. Много лет спустя Екатерина Романовна напишет о Дидро трогательные и, по-видимому, искренние слова: «Все восхищало меня в Дидро, даже эта горячность, проистекающая от пылкости чувств и живости восприятия. Его искренность, дружелюбие, прозорливый и глубокий ум привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакивала его смерть и до последнего дыхания не перестану жалеть о нем. Этот необыкновенный ум был искренен и сам первый страдал от своих промахов. Но не мне воздавать достойную его хвалу, другие писатели, гораздо значительнее меня, не забудут это сделать».

Поверим этим словам. Действительно, как же одной из удивительнейших женщин не восхититься одним из превосходных мыслителей!

Однако в непритворном преклонении княгини перед учением Дидро усомнился не кто иной, как Александр Сергеевич Пушкин. Читая «Записки» Дашковой, поэт обратил внимание на один эпизод: княгиня описывает посещение ею лионского театра, где она купила ложу, но, войдя туда, вдруг обнаружила там каких-то женщин, ни за что не пожелавших выйти. Дашкова называет их «наглыми», поэт же подчеркивает это слово и на полях язвительно замечает: «Дидро, учитель и апостол равенства, которым автор восхищается, так бы не выразился».

Пушкин, кажется, «придирается»: Дашкова вправе осердиться на тех, кто захватил ее место; но, может быть, поэт усматривает связь этого поступка с другими? Дашкова благоговейно относится к Дидро, но не желает находиться рядом с «наглыми женщинами». Княгиня с почтением внимает речам философа о беззаконии деспотизма, о праве каждого человека на свободу, но крепостное право, но ее собственные крепостные рабы...

Париж и Петербург

В ту пору ездили долго. В мае 1773 года Дидро отправился в Россию (до того вообще никогда не покидал Францию); по дороге он задержался на три месяца в Гааге, у парижского знакомого — князя Голицына. В августе — снова в путь; по дороге дважды пришлось останавливаться из-за болезни, и лишь в конце сентября Дидро прибывает в Петербург.

Первое впечатление — довольно благоприятное, и философ уже готов поспорить с недавно появившимся здесь итальянским поэтом Альфьери, который увидел в Петербурге «азиатский лагерь, обстроенный вытянутыми в ряд лачужками». Дидро едет прямо к другу-ученику Фальконе, но, оказывается, к скульптору приехал сын и для гостя нет места; положение спасают знатнейшие вельможи Нарышкины, устраивающие Дидро в своем роскошном доме на Исаакиевской площади.

Утром усталого путешественника будит пушечный салют и звон колоколов: он попадает на торжества по случаю бракосочетания наследника Павла. Не думая о политике, в обычном черном костюме, Дидро отправляется во дворец.

На Неве начинается как бы второй тур сближения разных величин — революционного философа и просвещенной самодержицы.

Собираясь в Россию по приглашению Екатерины, Дидро полагал, что будет хотя бы несколько раз принят императрицей и получит возможность побеседовать с нею. Однако действительность превзошла самые смелые ожидания. Все дни, пока ученый гостит в Северной Пальмире, двери кабинета Екатерины для него открыты. Беседы происходят с глазу на глаз; императрица хочет подчеркнуть свой демократизм: требует, чтобы гость не вста-



Екатерина II. Гравюра А. Радиге
1775 г. с картины В. Эриксона.

вал при ее появлении, чтобы обращался к ней без титула, являлся во дворец одетый как хочет. Дидро восхищен Екатериной и с восторгом заявляет, что у нее «душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов, а в делах своего государства она разбирается как в своем хозяйстве». Старому другу Дашковой он сообщает (из Петербурга в Москву): «Я могу говорить все, что мне придет в голову... Идеи, перенесенные из Парижа в Петербург, принимают совершенно другой цвет». Иначе говоря, за одни и те же слова во Франции карают, в России награждают...

Чтобы разобраться в этой удивительной стране, философ задает царице восемьдесят восемь вопросов, на самые разнообразные темы. Ответы Екатерины II чаще всего односложные — *да, нет*; иногда шуточные, уклончивые, очень редко — искренние...

Дидро: «Не влияет ли рабство земледельца на культуру земли?»

Екатерина: «Нет».



Д. Дидро. Портрет работы
Д. Г. Левицкого.

Дидро: «Не ведет ли к дурным последствиям отсутствие собственности у крестьян?»

Екатерина: «Нет».

Дидро: «Каковы условия между господином и рабом относительно возделывания земли?»

Екатерина: «Не существует никаких условий между земледельцами и их крепостными, но всякий здравомыслящий хозяин, не требуя слишком многого, бережет корову, чтобы доить ее по своему желанию, не изнуряя ее».

Удалось ли Екатерине убедить ученого? В одних случаях Дидро не сумел скрыть иронии; в других — промолчал; кое-чему, однако, поверил, некоторые иллюзии сохранил или — пожелал сохранить...

Во время пребывания в Петербурге Дидро составляет для царицы «Записки», по-видимому являющиеся изложением их устных бесед.

Одно только перечисление главных сюжетов свидетельствует об их широчайшем разнообразии:

о важности конкурса даже на первые должности империи;

о театральных пьесах;

о сыне императорского величества, великом князе;

о школе для молодых девиц;

о роскоши;

о морали королей. И так далее и так далее...

В «Записках» немало комплиментов в адрес Екатерины, рядом с ними — жестокая откровенность. «Всякое произвольное правление дурно,— слышит императрица,— я не делаю из этого исключения и для правления властителя хорошего, твердого, справедливого, просвещенного». В другой заметке: «Деспот, будь он даже лучшим из людей, управляя по своему усмотрению, поступает преступно».

Дидро дает самые разнообразные советы: от идеи установить всеобщее равенство до предложения — вернуть столицу из Петербурга в Москву, ибо «столица, находящаяся на краю империи, подобна такому живому существу, у которого сердце было бы на кончике пальца».

У Дидро вообще масса идей: как добиться развития техники, подъема сельского хозяйства, как организовать школы, университеты (многие педагогические советы актуальны и в XX веке!); как избавить детей от излишних, ненужных, по его мнению, занятий латинским и греческим; как воспитывать наследника престола; Дидро — противник постоянных армий, но понимает, что здесь он бессилён советовать русской царице.

Одна же из главных, любимых идей философа: нужно сделать как можно больше для развития промышленности и торговли,— и тогда разовьется третье сословие, буржуазия, которая может стать «смягчающей рессорой» между жителями русских дворцов и хижин.

Известно, что Екатерина приняла некоторые доводы философа; она и в самом деле считала, что хорошо бы развить в России третье сословие, но откуда ему взяться, когда большинство крестьян принадлежит помещикам и не может уйти в города? Серьезно обдумывает Дидро (а позже обсудит во Франции с другом-единомышленником Рейналем), что же станет с этой страной: «В империи, разделенной на два класса людей — господ и рабов, как сблизить столь противоположные интересы? Никогда тираны не согласятся добровольно упразднить рабство, для этого потребуется их разорить или уничтожить. Но, допустим, это препятствие преодолено, как поднять из рабского оупения к чувству и достоинству свободы народы, столь ей чуждые, что они становятся бессильными или жестокими, как только разбивают их цепи? Без сомнения, эти трудности натолкнут на идею создания треть-

его сословия, но каковы средства к тому? Пусть эти средства найдены, сколько понадобится столетий, чтобы получить заметный результат!»

Умные люди XVIII столетия...

Беседы с Дидро продолжают все осень и зиму 1773 года; за это время происходит несколько сражений екатерининской армии с повстанцами Пугачева: предвестие будущих, еще более страшных российских гроз...

Придворные поражены теми правами, которыми пользуется француз, не имеющий даже дворянства; перед Дидро заискивают, ему льстят; послы разных держав с тревогой пытаются угадать, как отразятся эти «переговоры» на внешней политике России.

Меж тем Екатерина уже несколько устала от неугомонного гостя. Что ему надо? Он осыпан благодеяниями и притом беспрерывно уверяет императрицу, что она, в сущности, тиран, что в ее стране нет подлинной свободы; он даже поучает царицу, как положить конец тирании.

Екатерина полушутя-полусерьезно извещает свою парижскую корреспондентку: «Ваш Дидро — человек необыкновенный, после каждой беседы с ним у меня бока помяты и в синяках. Я была вынуждена поставить между ним и собою стол, чтобы защитить себя от его жестикულიи».

Дидро в самом деле во время беседы горячится и начинает сильно размахивать руками. Один из придворных описывает с ужасом: «Дидро берет руку императрицы, трясет ее, бьет кулаком по столу; он обходится с ней совершенно так же, как с нами».

В Женеве хранится сегодня прекрасный портрет Дидро, выполненный Дмитрием Левицким: вдохновенное лицо, умное и печальное, — вот таким нам представляется философ, объясняющий Екатерине II, как ей следует царствовать, и догадывающийся, что она поступит совсем иначе.

Ну что же, полвека спустя русский гений Пушкин будет давать советы другому царю, внуку Екатерины, и признается другу, что, не надеясь на успех, тем не менее рассчитывал хоть на «каплю добра».

Можно понять, почему Екатерина вынуждена отгородиться столом от неистового ученого. Но может быть, она имеет в виду нечто большее, чем преграду «от синяков»:

не пора ли дать ему почувствовать, что всему есть предел? Да и вообще, что может француз понять в ее империи?

Впрочем, позже она станет уверять Вольтера, что готова была всю жизнь беседовать с гостем. «Я нахожу у Дидро неистощимое воображение и отношу его к разряду самых необыкновенных людей, какие когда-либо существовали».

Конечно, Екатерина лукавит; позже, когда Дидро уже не будет на свете, царица довольно откровенно расскажет некоторые подробности тогдашнему послу Франции в Петербурге графу Сегюру: «Его мнения были более любопытны для меня, чем полезны. Если б я доверилась ему, мне пришлось бы все перевернуть в моей империи: законодательство, администрацию, политику, финансы; я должна была бы все уничтожить, чтобы заменить это теоретическими пунктами. Между тем, так как я больше слушала его, чем говорила сама, то всякий свидетель наших бесед принял бы его за строгого наставника, а меня за его послушную ученицу. По-видимому, он и сам думал так, потому что, по прошествии некоторого времени, видя, что в моем управлении не делалось никаких великих нововведений, которые он советовал мне, он выразил мне с некоторым гордым неудовольствием свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: «Господин Дидро, я с большим удовольствием слушала все, что внушил вам ваш блестящий ум; но из всех ваших великих принципов, которые я очень хорошо понимаю, можно составить прекрасные книги, но не управлять государством. Во всех своих преобразовательных планах вы забываете различие наших положений: вы трудитесь только над бумагой, которая все терпит, она мягка, гладка и не останавливает вашего пера и воображения; между тем как я, бедная императрица, работаю на человеческой шкуре, которая, напротив, очень раздражительна и щекотлива...» Я убеждена, что с этих пор он стал относиться ко мне с сожалением, видя во мне ум узкий и простой. Позже он говорил мне только о литературе, о политике же ни слова».

«На человеческой шкуре...» Екатерина подразумевает, что она и сама видит опасность, болезнь, и прежде всего, в крепостном рабстве. Более того, она, возможно, поведала Дидро, что несколько лет назад, когда в Москву съехались дворянские депутаты для выработки нового «Уложения», им были предложены в крайне осторожной

форме некоторые идеи насчет «послабления» крестьянам; и что же? За редчайшими исключениями, депутаты разных губерний и думать не желали ни о каких «вольностях крестьянских»; наоборот, требовали новых гарантий своих помещичьих прав. Екатерине II даже пришлось снять несколько чересчур «либеральных» формулировок в своем собственном «Наказе» депутатам; она ясно понимала, что они ее свергнут, уничтожат, если только посмеет коснуться их собственности. Десятки тысяч помещиков, разрастающийся бюрократический аппарат — это была страшная сила, которой императрица могла пользоваться, пока они ею довольны.

Екатерина как бы намекает Дидро, что он бы *на ее месте* рассуждал иначе.

Дидро, однако, *на своем месте*.

Прощание, предсказание

Некоторые взаимные неудовольствия, ирония — все это пока глубоко сокрыто: многое, очень многое должно произойти, чтобы тайное стало явным. Пока же Екатерина II по-прежнему делает «ставку на просвещение»: оно улучшает ее европейскую репутацию и как будто позволяет получить от Европы немалую выгоду, почти ничего русского не утратив...

На прощание Дидро предлагают богатейшие подарки, а он отказывается: и без того — является платным библиотекарем собственной проданной библиотеки.

Прощаясь с Россией, он снова пишет Дашковой: «В этом мире есть только три вещи, достойные осуждения в людях: пристрастие к богатству, почестям и жизни...» Дидро шутит, что, покидая столь ему любезный и спокойный Петербург, возвращается к ненужной семейной и светской суете, «к моим соотечественникам, из которых одна половина ложится спать ограбленной, а другая дрожит от отчаяния, что бедняки проснутся и догадаются... Так отчего же я не еду в Москву? Потому, мадам, что я глуп...» (Далее следуют обычные любезности.)

На прощание — Екатерина II получает предсказания о будущем Франции и России. Русская поговорка (столь любимая Пушкиным) — «ум человеческий не пророк, но угадчик»: точный ход событий, имена будущих действующих лиц, конечно, определить невозможно; но общее на-

правление истории мудрый может и обязан разглядеть.

В диалогах Дидро и его собеседницы, за 15 лет до французской революции и за полвека до первого революционного взрыва в России,— ряд удивительных отгадок, почти пророческих.

Сначала — насчет Франции. Дидро знает, что впереди — буря; король Людовик XV недавно воскликнул: «После нас хоть потоп»,— потоп приближается. Когда Дидро сказал об этом видному парижскому сановнику, между ними произошел обмен репликами, которые затем сообщены Екатерине:

Сановник: «А мне какое дело? Меня ведь тогда не будет!»

Дидро: «А ваши дети, господин маршал, разве они не будут при этом? Впрочем, по-видимому, вы очень мало беспокоитесь о ваших детях».

Дидро продолжает пророчествовать: «Наша монархия одряхлаела... Кто знает участь, ожидающую нас при следующем царствовании? Я жду худого. О если бы я ошибался! О если бы король продолжал заниматься охотой, но научился лучше видеть».

Намек философа хорошо понятен современникам: новый король Людовик XVI любит охотиться, несмотря на крайнюю близорукость. Он плохо различает предметы и в жизни, и в политике.

Впрочем, временами Дидро опять сомневается: не выродилась ли Франция, не утратила ли способность к сопротивлению? С царицей он обсуждает тот же разгон французских судов-парламентов, о котором недавно писал Дашковой. «Императрица,— записывает Дидро,— говорила мне, что насилия, творившиеся над парламентом, и уничтожение его представили ей французский народ в самом недостойном и жалком виде».

Удивительная ситуация! Екатерина II порицает французов за то, что они не восстали. («Я не сомневаюсь,— замечает Дидро,— что императрица одобрила бы нас за это».) Правда, тут же он не упускает случая заметить, что это урок и для самой императрицы...

Наконец, одно из самых страшных предсказаний, которое не сбылось, да Дидро и не верил, что сбудется (наверное, как и в давнем письме Дашковой, предсказывая «от обратного», искушал судьбу, историю), но прогноз вызвал протест официального Парижа. Французский министр иностранных дел осудил Дидро за следующие

строки, появившиеся в печати: «Уже не под именем французов наша нация снова может стать славной. Эта впавшая в состояние грубости нация ныне встречает пренебрежение в Европе. Даже спасительный кризис не может вернуть ей свободы. Она погибнет от прогрессирующего истощения».

Полагаем, что так говорить о своем народе может только настоящий патриот!

Тем более что и Екатерина II получает от него порцию предсказаний.

«В характере русских замечается какой-то след панического ужаса, и это, очевидно, результат длинного ряда переворотов и продолжительного деспотизма. Они всегда как-то настороже, как будто ожидают землетрясения; будто сомневаются в том, прочна ли земля у них под ногами; в моральном отношении они чувствуют себя так, как в физическом отношении чувствуют себя жители Лиссабона или Макао».*

Дидро продолжает втолковывать императрице, что она — на «пороховой бочке»; да она сама это знает и в секретных наставлениях своим министрам насчет положения крестьян пишет: «Прошу быть весьма осторожными, дабы не ускорить и без того довольно грозящую беду... Ибо если мы не согласимся на уменьшение жестокостей и умерение человеческого роду нестерпимого положения, то против нашей воли крестьяне сами свободу возьмут рано или поздно».

Казалось бы, в этих условиях сравнительно мягкий, просвещенный монарх может сгладить противоречия, спасти дело; однако Дидро оспаривает: «Если предположить, что самые размеры России требуют деспота, то Россия обречена быть управляемой дурно в девятнадцати случаях из двадцати. Если — по особому благоволению природы — в России будут царствовать подряд три хороших деспота, то и это будет для нее великим несчастьем, как, впрочем, и для всякой другой нации, для коей подчинение тирании не является привычным состоянием. Ибо эти три превосходных деспота внушат народу привычку к слепому повиновению; во время их царствования народы забудут свои неотчуждаемые права; они впадут в пагубное состояние апатии и беспечности и не будут испытывать той непрерывной тревоги, которая является надежным стражем свобо-

* Места недавних сильных землетрясений.

ды. Абсолютная власть из рук доброго властителя, сделавшего столько хороших дел, закреплённая давностью и обычаем, будет затем передана другому властителю, и тогда — все потеряно.

Я говорил императрице, что если бы Англия имела последовательно трех таких государей, как Елизавета Английская, то она была бы порабощена навеки. Императрица ответила на это: „Я думаю так же“. (Заметим, что *третьим* английским государем, считая от Елизаветы, был как раз Карл I, казненный революцией.)

Ну что ж, если императрица думает *так же*, то Дидро советует ей самой ограничить собственную самодержавную власть, ввести конституцию: «Русская императрица несомненно является деспотом... Отказаться властвовать по произволу — вот что должен сделать хороший монарх, если только монарх столь же велик, как Екатерина II, и столь же враждебен тирании, как она».

А затем следуют слова, которые можно расценить как завещание пророка: «Если, читая только что написанные мною строки, она обратится к своей совести, если сердце ее затрепещет от радости, значит, она не пожелает больше править рабами. Если же она содрогнется, если кровь отхлынет от лица ее и она побледнеет, признаем же, что она почитает себя лучшей, чем она есть на самом деле».

Пройдет несколько лет, и Екатерина ответит на это: «Суший лепет!»

Что и требовалось доказать.

В петербургском Зимнем дворце, при любезных беседах и спорах царицы и философа, можно сказать, присутствуют «невидимые духи» нескольких революций. Обсуждаются и угадываются судьбы Европы, судьбы мира.

Дидро, возможно, сам побаивается той истины, которая открывалась ему во всей несомненности.

«Высокие договаривающиеся стороны» объяснились. Расстаются любезно, дружески. Навсегда...

Два памятника

Эпилогом той встречи явились два памятника, воздвигнутые несколько лет спустя. Об одном из них поведал русским читателям уже упоминавшийся молодой путешественник Николай Карамзин: в жестокую зиму

1788 года Людовик XVI купил для парижан дрова, и бедняки в знак благодарности воздвигли возле Лувра огромный снежный обелиск; стихотворцы упражнялись в надписях для такого редкого памятника, смысл которых был в том, что королю монумент из снега более мил, чем мраморный памятник, привезенный издалека за счет убогих. Сочувствуя королю, теснимому революцией, Карамзин в 1790-м вздохнул о снежном обелиске: «Вот памятник благодарности, который доказывает неблагодарность французов».

Дидро нашел бы, конечно, иные слова, но его уже в ту пору не было в живых.

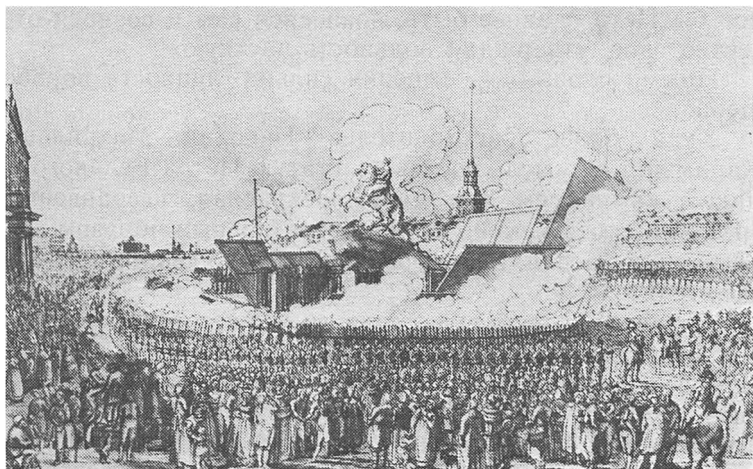
Меж тем в России в 1782 году, к столетию воцарения Петра Великого, открылся наконец памятник императору-просветителю, созданный учеником Дидро, одобренный самим философом...

В день открытия Медного всадника тысячи горожан пришли на площадь, на балконе Сената появляется сама Екатерина II.

Газеты писали: «Помраченное тучами небо, сильный ветер с беспрестанным дождем, который и до того еще всю ночь продолжался, не подавали надежды, чтобы в сей день торжество могло с желаемым успехом происходить. Но вскоре после полудня, как будто бы само небо хотело очевидно показать участие, которое оно принимает в празднестве, уготовленном в честь памяти великого человека, солнце открылось и все время была ясная и тихая погода».

Щиты, закрывавшие *Всадника*, опускаются, и бронзовый Петр впервые взмывает над городом, под залпы крепости и судов, под барабанный бой и военную музыку. Вечером столица ярко иллюминирована, по случаю открытия памятника объявлена амнистия, выпущены золотые и серебряные медали. Любопытно, что некоторые жители еще помнили Петра Великого и могли сопоставить каменный лик с живым; митрополит Платон восклицает несколько дней спустя у гробницы основателя города: «Восстань же теперь, великий монарх, и воззри на любезное изображение твое: оно не истлело от времени и слава его не помрачилась...» Очевидцы боязливо шутили: «А вдруг в самом деле — восстанет!»

Одновременно произносится и немало других примечательных суждений, которые, «отпечатавшись» на бронзе памятника, становятся частью его истории, как



Открытие памятника Петру I (7 августа 1782 г.)

бы вызывая химическую реакцию между ним и временем.

Александра Николаевича Радищева, одного из будущих героев нашего повествования, памятник наводит на очень непростые мысли, которые включаются в рукопись под заглавием «Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске по долгу звания своего». Иначе говоря, друг сам, по службе, «по званию», поехал в сибирский город, а не сослан туда по этапу (как вскоре случится со смелым автором этого «Письма»). Радищев замечает о Петре Великом, что его «наши предки в живых ненавидели, а по смерти оплакивали»: «Крутизна горы* суть препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения; Змея, в пути лежащая,— коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, который он преобразовать вознамерился...»

Разбор Радищева оканчивается мыслью, которую позже подхватят Пушкин и декабристы: «И скажу, что

*Подразумевается Гром-камень под копытами Медного всадника.

мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную».

Иными словами, — империя сильна, личность поработана.

Куда более снисходителен Николай Михайлович Карамзин: «...мысль поставить статую Петра Великого на диком камне сем для меня прекрасная, несравненная мысль, ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором она была до своего преобразователя».

Вскоре прозвучат и слова умнейшего иностранного наблюдателя, госпожи де Сталь: «Петр изображен на камне взбирающимся на крутую гору среди змей, которые хотят остановить коня. Эти змеи, по правде говоря, сделаны для того, чтобы поддержать массивного коня и всадника, но мысль эта неудачна, поскольку, по сути дела, правитель должен опасаться не зависти; и не те, кто пресмыкается, — его враги, а Петр I всю свою жизнь опасался только русских, сожалевших о старинных обычаях своей страны. Тем не менее восхищение, которое он до сих пор вызывает, доказывает, что он сделал России много добра, потому что спустя сто лет после своей смерти деспоты уже не имеют льстецов».

При таких толках и спорах, на глазах таких свидетелей Всадник пустился в долгий исторический путь.

Впереди — 1812-й, когда обсуждались планы — как эвакуировать памятник, чтобы не достался Наполеону; но тогда-то рождается поверье, легенда, пророчество, что, пока Всадник в городе, город неприступен; а затем — великое наводнение, декабристские полки вокруг бронзового Петра; еще позже рождается пушкинская поэма, другие потаенные образы, связанные с памятником — символом долговечности северной столицы...

Два памятника 1780-х годов, парижский и петербургский, снежный и «медный». До Великой революции остались считанные годы, месяцы...

Нам, знающим, когда она произойдет, странно всматриваться в предреволюционный Париж или Петербург, наблюдать беззаботность, чванливость, фальшивый оптимизм правящих: как же они не знают? почему не чувствуют?

«Старое общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, по-

добно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...»

Строки Пушкина, написанные, конечно, тогда, когда «ответ задачи» был уже хорошо известен...

«Подобно отдаленной буре...»

Предвестниками сокрушительного урагана явились в Россию второй половины XVIII века французские книги и их авторы.

Предчувствие урагана влекло в ту же пору не одного россиянина в Париж...

Среди довольно пестрой толпы русских путешественников, восхищенных или возмущенных, о многом догадывающихся или ничего не понимающих, среди всех, кому суждено очень скоро сделаться современниками 1789-го и 93-го, выделяем двоих — абсолютно как будто бы не похожих и потому, может быть, особенно интересных важными чертами сходства.

Речь пойдет о Денисе Фонвизине и Иване Тревогине.

Первый — уже популярный писатель, автор «Бригадира», а вскоре после возвращения из Франции — знаменитейший сочинитель «Недоросля». Второй — обладатель столь же длинного, сколь невесомого титула: «Харьковских новоприбавочных классов французских диалектов адъюнкт и сочинитель Парнасских ведомостей» (иначе говоря, знает по-французски; журнал же «Парнасские ведомости» прекратился после третьего номера).

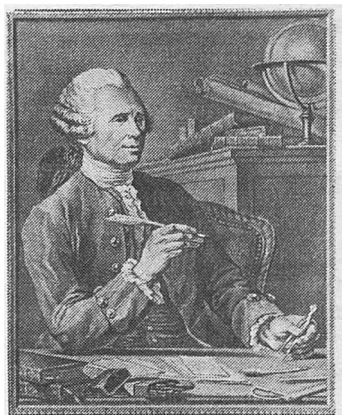
Фонвизин — из потомственных дворян, знаком со знатнейшими персонами, отправляется во Францию на четвертом десятке лет женатым, солидным человеком.

Тревогину едва за двадцать; он — разночинец; воспитывался в сиротском доме, расписывал церкви, пробовал учить, лечить, сочинять, держать чужую корректуру — и всегда без денег...

Денис Иванович пробыл во Франции более года, а вернувшись, литературно обработал свои французские письма 1777 и 1778 годов. В Париже и других городах он повидал многое и многих — от простолюдинов до Вольтера, от Академии и театра до судебных палат...



Д. Фонвизин. Графический портрет начала XIX в.



Ж. Д'Аламбер. Гравюра Б.-Л. Анрикеза с картины Н.-Р. Жоллена.

Тревогин же, спасаясь от столичных кредиторов, осенью 1782-го нанялся в Кронштадте матросом на голландский корабль: «В России столько раз был во всем несчастен... и, не думая уже найти более в ней счастье, поехал оного искать в других землях». После разных злоключений в Голландии явился к русскому послу в Париже князю Барятинскому и затем провел во французской столице несколько месяцев.

Фонвизину Франция не понравилась.

«Господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что в ней много хорошего; но не знаю, не больше ли худого».

«Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний... Божество его — деньги».

«Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват».

«Прибытие Волтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю».

«Из всех ученых удивил меня д'Аламберт. Я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиономию... Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видел я

всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие».

«Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы, в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся».

За эти и другие строки автору «Недоросля» позже достались похвалы от славянофилов и упреки от западников; его первый биограф Петр Андреевич Вяземский негодовал за Париж и лучших людей Франции; один же из первых читателей рукописи Вяземского Александр Сергеевич Пушкин в свою очередь подтрунивал над биографом и полушутя-полусерьезно защищал Фонвизина...

Действительно, как понять подобный взгляд на Францию не какого-нибудь невежественного крепостника, Простакова или Скотинина, но образованнейшего сатирика, не раз опасавшегося гнева и расправы Екатерины?

В разное время были высказаны мнения, что «недостатки» Фонвизина — продолжение его достоинств, и наоборот; что это — у русской литературы, общественной мысли «зубы прорезывались»; что многие лучшие люди не хотели «французского образца», потому что искали русского.

«Предвзятость Дениса Ивановича, — тонко замечает современный исследователь С. Б. Рассадин, — главным образом, не наследие прошлого, а *предвосхищение будущего*».

Гордо не принимая для своей России «божество — деньги», Фонвизин, мы догадываемся, за 100 лет до народников надеется, что его страну «минет чаша сия» — обойдется она без буржуазного мира; во Франции же ворчащий Фонвизин, сам о том не задумываясь, находит важнейшие «слагаемые» завтрашней революции: прекрасные фабрики и мануфактуры; отсутствие вольности, столь необходимой для этих фабрик и мануфактур; ограбленный народ; свободный нрав (по Фонвизину — «безрассудство») этого самого народа...

Белинский в другом столетии не станет придирааться к фонвизинским упрекам, но резонно заметит о его парижских письмах: «Читая их, вы чувствуете уже начало

французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником».

Вот как готовился к 1789-му один из лучших русских писателей.

И — доживет: увидит начало и разгар революции...

Как же «встречает революцию» совсем другой российский человек — Иван Тревогин? Париж для него прежде всего центр науки, просвещения; посол Барятинский находит, что молодой человек «имел несколько знаний и оказывал большое любопытство к большому приобретению оных». Чуть позже в Петербург сообщается, что Тревогин «хочет выучить все библиотеки королевства»; французы находят, что странный русский обладает «редко встречающимся твердым духом: великого просвещения умный человек, с которым можно о многом говорить». Тем не менее посол подозревает, что Тревогин многое скрывает, и собирается отправить его на родину; и тогда отчаянный молодец решается: он сочиняет себе новую биографию, да какую! На карте мира отыскивается огромный и почти никому в ту пору не известный остров Борнео; на нем воображение, обогащенное чтением и мечтанием, легко создает могучее Борнейское или Голкондское царство. Отныне нет Ивана Тревогина: «Божией милостью, мы, Иоанн Первый, Природный принц Иоаннский, царь и самодержец Борнейский и прочая и прочая». Принц «лишился голкондского престола не войною и не врагами, но своими же подданными, злоумышленниками и льстецами, которыми мы изгнаны из нашего отечества в ров злоключений, от коих избавились... по восемнадцатилетнем страдании». Оказывается, во время скитаний Иоанн побывал в турецком плену, затем в России, ныне же в Париже собирает сторонников для возвращения трона. Вскоре составлены уже политические проекты, штаты будущего государства, бумаги «о заведении царства Борнейского» и «об установлении империи знаний»: принц Иоанн хочет создать царство справедливости, без всякого рабства, где главную роль будут играть ученые, которые в конце концов образуют всемирную империю знаний...

Сколько же тут перемешано славных идей XVIII столетия!

Во-первых, просвещение, знание, высокая мудрость, философия...

Во-вторых, утопические идеи справедливого, счастливого царства.

В-третьих, связь этих идей с далекими «неиспорченными» землями (тут, конечно, и Руссо, и путешествия Бугенвиля, Кука, может быть, российских первопроходцев).

Все эти черты тревогинской «фантастики» — из мира высокой культуры, просвещения, из предреволюционного Парижа...

Но рядом нечто совсем иное. Самозванство, легенда о странствиях и чудесном избавлении «благородного принца»: это уже нечто чисто российское, крестьянское... Разве не рассказывал за несколько лет до того о своих скитаниях и чудесном спасении крестьянский «Петр III» — Емельян Пугачев!

И разве не поведал Иван (Иоанн) изумленным французам о российском «государе над казаками», который «вскоре будет в Париже»: тени Руссо и Пугачева неожиданно сближаются.

Французские, европейские и русские утопические миражи, столь ощутимые перед великим взрывом...

А затем — печальный финал.

Для своего Голкондского царства Тревогин заказывает ювелиру гербы и медали, им самим спроектированные; серебро же для своих эмблем он похитил, надеясь вернуть, но — попался и оказался в Бастилии.

Один из последних узников той твердыни, которой осталось меньше шести лет «жизни», — он написал в камере стихи.

Пою гониму жизнь несчастного Тревоги,
Который, проходя судьбы своей пороги,
Неоднократно был бедами окружен,
В темницу брошен и чуть жизни не лишен...

Вскоре 22-летнего «принца» отправляют под охраной в Россию; по пути он объявляет, что отказывается от Борнейского царства, но все равно попадает в Петропавловскую крепость.

Может быть, единственный человек, успевший посидеть и в Бастилии и в Петропавловке!

Символическая ситуация, особенно в середине 1780-х...

Борнейским принцем специально интересуется Екатерина II; ему предстоит «смирительный дом», затем — Сибирь, где он узнает о 14 июля 1789-го...

Вряд ли Фонвизин слышал о странном самозванце;

Тревогин же, стремясь «выучить все библиотеки», конечно, читал фонвизинские комедии. Огромная разница судеб, столь различные взгляды на Францию, несоизмеримые культурные роли в России... Но — и великий сатирик и авантюрист-мечтатель уж подхвачены несущимся и все крепнущим ураганом. Их споры и согласие с французами, русские пророчества, утопические и реальные; Вольтер, Руссо, Пугачев, деньги, вольность, Бастилия, Петропавловка...

Зная, что будет потом, мы с изумлением замечаем, сколь причудливы, непредвидимы посмертные судьбы исторических лиц, идей.

Фонвизину не по душе коренные, революционные перевороты во Франции и России — но, оказывается, французские события он предсказал, российские же революционеры XIX века увидят в авторе «Недоросля» одного из своих предтеч, услышат в его смехе начало того «великого русского смеха» — пушкинского, гоголевского, герценовского, щедринаского, — который сильнее дворцов и армий.

Точно так же мы не можем удержаться от внезапных параллелей, заметив, что о поведении Ивана Тревогина докладывает Екатерине II столичный губернатор Коновницын: сын этого Коновницына — известный генерал, герой 1812 года, внуки же — среди героев 1825-го: двоих разжалуют в солдаты, сошлют, одна же последует в Сибирь за мужем-декабристом Михаилом Нарышкиным...

Россия еще далека от своих революций, но, может быть, близ 1789-го впервые их смутно предощущает...

Разумеется, не вся Россия — лишь немногие русские...

В петербургских дворцах, например, еще царит спокойствие.

Французская революция, только что посетившая русскую столицу в лице господина Дидро, получает новое лестное приглашение от русской императрицы, все еще надеющейся сговориться, ублажить, перехитрить.

Последний визит

Ленинград, угол Невского и Садовой: здание, когда-то именовавшееся императорской Публичной библиотекой, теперь — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вторая библиотека



Императорская публичная библиотека в Петербурге.

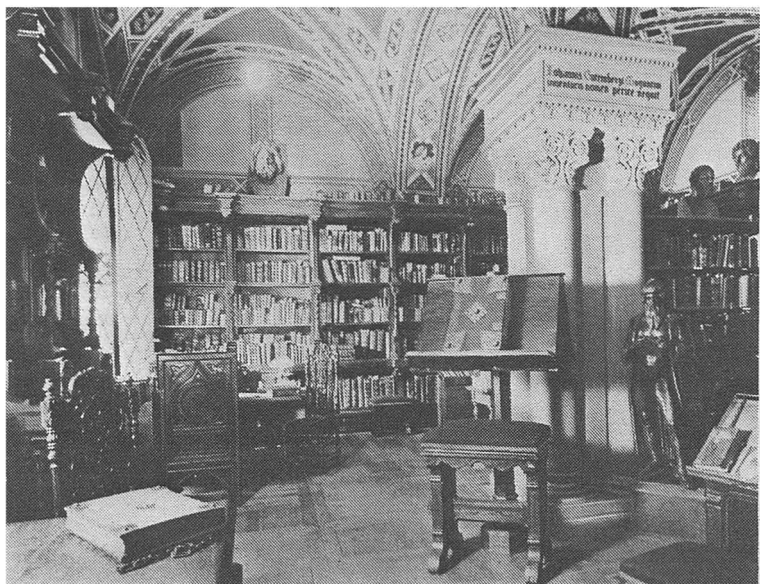
страны, по количеству книг уступающая лишь библиотеке имени Ленина в Москве, и, несомненно, первая по числу старинных книг и манускриптов, ибо все книжные рукописные драгоценности императорской России, все многочисленные культурные трофеи, захваченные русскими войсками во время войн XVIII—XIX веков, — все здесь, на углу Невского и Садовой. Сокровища, к сожалению мало знакомые даже большинству ленинградцев.

В хранилище инкунабул собраны первенцы типографского искусства — книги, появившиеся сразу после изобретения печатного станка, т. е. с середины XV века.

Этот зал называется «кабинетом Фауста» и оформлен в средневековом стиле.

Пестро расписанные крестообразные своды. Две стрельчатые оконницы из цветного стекла. Тяжелый стол и кресла, пюпитр для письма, на нем часы с кукушкой. Красные гербы первых типографщиков. Огромные шкафы, где тысячи фолиантов. Основатель этого зала, один из директоров старой императорской Публичной библиотеки Модест Корф (лицейский одноклассник Пушкина) приказал сделать над входом надпись на латинском языке (она взята из устава средневековых библиотек): «Не повышай голоса в этом месте, где говорят мертвые».

Украшает собрание этих древних книг самая первая из напечатанных: Библия, 1456 год, типограф Иоганн Гу-



«Кабинет Фауста» в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

тенберг. Дальше, за кабинетом,— сумрачный сводчатый зал. Застекленные шкафы с портретами тех, чьи архивы здесь хранятся. Сегодня в Отделе рукописей свыше 300 тысяч, как принято говорить, единиц хранения. Из них три тысячи — наиредчайшие...

Одному из древнейших документов три тысячи лет, и тем не менее он является памятником русско-французских связей: ученый, сопровождавший Наполеона во время похода в Египет, вынул древний папирус из руки древнеегипетской мумии; 30 лет спустя манускрипт был подарен петербургской библиотеке.

Двадцать четыре прекрасные пергаменные древнеперсидские рукописи, но и они несут на себе отпечаток XIX столетия: в 1829 году в Тегеране был растерзан русский посол, великий поэт Александр Грибоедов. Внук персидского шаха, специально прибывший в Петербург с извинениями, доставил и уплату — «цену крови» посла-поэта.

Совсем скромные, ничем не привлекательные на вид

рукописи начала XV века. Но это собственность знаменитого чешского реформатора и гуманиста Яна Гуса, погибшего на костре 6 июля 1415 года... На одной из страниц — подпись самого Гуса.

Пурпурный кодекс VIII века. «Церковная история англос» ученого-энциклопедиста VII—VIII веков Беды Достопочтенного — уникальный источник по истории древней Британии. Такого нет даже в библиотеках Великобритании... Во время визита в Лондон А. Н. Косыгина кодекс путешествовал вместе с ним, и англичане сделали фотокопию.

Больше всего здесь, естественно, русских рукописей и книг: древнейшие сборники XI, XII веков (увы, их сохранилось куда меньше, чем соответствующих старинных книг во Франции: результат неприятельских нашествий, разрушений, пожаров). Среди секретных политических документов XVIII столетия обращают на себя внимание листки, заполненные нервным, почти совершенно неразборчивым почерком Петра Великого (его умеют сегодня читать всего несколько человек в стране); документы, касающиеся суда и расправы над сыном Петра, царевичем Алексеем.

И еще одна узница. В заключении она писала стихи. Начала сочинять их еще в 13 лет, когда из родной Шотландии попала к парижскому двору, в атмосферу музыки, поэзии, искрометных бесед. Король часами разговаривал с этой юной женщиной, восторгаясь ее умом, Ронсар в стихах воспевал ее красоту. В 17 лет она — королева Франции, а в 25 — вечная пленница английской королевы. Покинутая всеми, преданная самыми близкими друзьями, даже собственным сыном, Мария Стюарт двадцать лет живет воспоминаниями и надеждами. Перед нами молитвенник — спутник ее мучительного заточения. На его страницах рукою Марии написаны стихи. Им нет цены: ведь автографов шотландской королевы почти не сохранилось — ее сын Яков I, вступив на английский престол, сжег весь архив матери.

Спешу испить до дна всю чашу мук.
Мне смерть давно милее жизни бренной.
Взгляни, как все изменчиво вокруг,
И лишь одни страданья неизменны... *

*Перевод Ф. Н. Арского.

Под этими строчками узница упрямо ставит подпись: Maria R. (Regina, т. е. королева). До последней минуты она сохраняет царственную гордость, склонив голову только перед плахой.

В тихих залах Публичной библиотеки соседствуют миры и века: редчайшая нотная рукопись Гайдна, рука Шиллера, Байрона, Дарвина, Вашингтона, Пастера...

Бумаги и книги кардинала Ришелье.

Письмо Наполеона Кутузову от 3 октября 1812 года с предложением вступить в мирные переговоры. Листовки Парижской коммуны. В одной из них — проект декрета о бесплатном возвращении из ломбардов заложенных вещей первой необходимости. Другая напечатана на очень тонкой бумаге — ее должны были доставить в провинцию на воздушных шарах.

Можно ли сомневаться, что в таком огромном собрании неплохо представлена первая французская революция?

Скажем более того: она присутствует в бывшей императорской библиотеке столь широко и весомо, что, как увидим, в свое время это вызывало страх у первых хозяев, императоров.

Прежде всего — архив Бастилии, но о том, как он попал сюда и что в нем есть, разговор пойдет особый.

Библиотека Дидро, — о ней уже говорилось и еще будет сказано.

Наконец, — Вольтер.

Один из самых знаменитых людей XVIII века был и самым знаменитым французом в России. *Вольтер, вольтерьянство* — эти слова начиная с 1760 года употребляют кстати и некстати тысячи русских людей; известный авантюрист Казанова, посетивший Россию в царствование Екатерины II, записал: «Сочинения Вольтера для москвитов представляют всю французскую литературу».

Разумеется, это преувеличение, но довольно характерное. Для многих, даже никогда не открывавших сочинения Вольтера, все равно было ясно: Вольтер — это насмешка, безбожие, дерзость, презрение к богам земным и небесным. «Прорицалище нашего века!» — восклицает один из виднейших просветителей и издателей Николай Новиков. Статс-секретарь же императрицы с презрением писал о петербургских торговцах, что «сии людишки вменяют себе в стыд не быть с Вольтером одного мнения».



Ф. Вольтер. Рисунок А. С. Пушкина
в записной книжке.

Сотни писем Вольтера к разным русским вельможам сохранились закованные в роскошные переплеты; коллекционеры за большую цену продавали кусочки подлинных или поддельных его рукописей (один небольшой автограф, между прочим, приобрел и хранил Пушкин). Сверх того, по музеям и коллекциям страны «рассыпано» огромное количество разных изображений «фернейского короля»: здесь и знаменитая скульптура работы Гудона (о чем еще речь впереди), и странный дерзкий образ, запечатленный в мраморе Марией Колло (сотрудницей Фальконе, которая изваяла голову Петра в петербургском памятнике).

Пушкин — прекрасный рисовальщик — не раз чертит пером профиль Вольтера на полях своих рукописей...

Впрочем, русские вольтерьянцы, преимущественно аристократы-насмешники, в сущности немало отличались от французских.

Там, во Франции, дерзость и хохот Вольтера подрывали устои и готовили революцию; в России большинство вольтерьянцев, находя забавными, острыми идеи своего кумира, притом и не думали идти так далеко. Герцен позже скажет печальную фразу о том, что во Франции вольтерьянцы сделались «историческими людьми», а в России — «циническими людьми».

Конечно, эта формула не относится ко всем почитателям Вольтера, но ее горький смысл несомненен. Граф Алексей Орлов (тот, кто извещал Екатерину об убийстве ее мужа), выслушав жалобу одного губернатора, что его понапрасну обвиняют в воровстве, отвечал: «Вот и со мной такая же история: обвиняли, будто краду и тайком вывожу древние статуи из Италии; но как только я перестал их красть,— обвинения сразу прекратились».

Вольтерьянским считали поведение одного просвещенного помещика, который, проповедуя равенство, сажал с собою за стол крепостного лакея и беседовал с ним о Вольтере; однако, когда однажды у помещика не доставало денег, он взял и просто продал лакея-собеседника другому хозяину.

Удивительный образец российского вольтерьянства — это история приобретения вольтеровской библиотеки.

Шесть тысяч девятьсот два тома

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» известила читателей, что «отлично славный нашего века писатель, господин Вольтер, владетель маркизанства фернейского, изнемог напоследок под бременем своих лет и мучительных болезней» и что «он скончался 30 мая 1778 года, в 9 часов ввечеру, восьмидесяти шести лет от рождения, оставя в ученом свете пустоту, которую трудно будет наполнить редкими произведениями разума человеческого... Течение его жизни оставило по себе лучезарные стези, которые навсегда будут сиять в его память. Дарования его были столь превосходны и успехи столь непрерывны, что зависть, во весь его век, не могла с ним примириться».

Во Франции же, как известно, разгорелся скандал: «безбожника» преследовали после кончины, запрещали хоронить, так что мертвеца пришлось посадить в карету меж друзьями и вывезти из Парижа как «обыкновенного путешественника». Воистину, «когда бог хочет кого-либо погубить, он лишает его разума»: казалось, французское правительство всеми силами старалось себя скомпрометировать и, — как будто сговорившись с Вольтером, — выступало в роли главного ускорителя революции...

Пройдут десятилетия, и точно такие же «безумные поступки» будет совершать русское правительство, торопя и



М. Гримм. Гравюра Ласерера с портрета Кармонтеля. XIX в.

приближая свой конец. Однако в XVIII веке здравый смысл в Петербурге еще не потерян — выгоду еще надеются отыскать на путях просвещения...

21 июня 1778 года императрица пишет своему постоянному корреспонденту Гримму, уверенная, что послание тотчас разойдется по Европе: «Получив ваше письмо, я вдруг ощутила всемирную утрату... Но возможны ли где-нибудь, кроме той страны, в которой вы живете, такие переходы от почета к обиде и от разума к безумию? После всенародного чествования через несколько недель лишать человека погребения, и какого человека! Первого в народе, его несомненную славу. Зачем вы не завладели его телом, и притом от моего имени? Вам бы следовало переслать его ко мне... Ручаюсь, что ему была бы у нас воздвигнута великолепная гробница. Но если у меня нет его тела, то непременно будет ему памятник. Осенью, вернувшись в город, я соберу письма, которые писал мне великий человек, и перешлю их вам. У меня их много. Но если возможно, купите его библиотеку и все, что осталось из его бумаг, в том числе мои письма. Я охотно и щедро заплачу его наследникам, которые, вероятно, не знают этому цены... Я устрою особую комнату для его книг».

События развернулись довольно стремительно; Екатерина требует и получает точное изображение фернейского замка, чтобы воспроизвести его в Царском Селе («...мне надо знать... какие комнаты выходят в замке на север, какие на юг, восток и запад. Также важно знать, видно ли Женевское озеро из окон замка и с какой сторо-

ны расположена гора Юра. Еще вопрос: есть ли у замка подъездной двор и с какой стороны?»).

Искусная модель из дерева («длина 3 фута, ширина 2 фута, высота 1,5 фута»). Можно было рассмотреть точные подобию окон, каминов, узоров на полу и на обоях. До воспроизведения Фернея в натуральную величину дело, правда, не дошло (и модель в будущем испытает немало любопытных приключений), но летом 1778 года было множество разговоров об этом замысле.

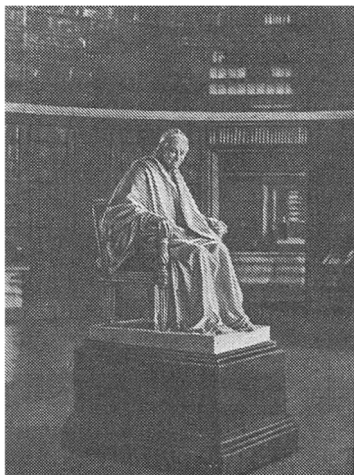
Племянница Вольтера госпожа Дени прелестно лицемерила, делая вид, что дарит библиотеку Вольтера царице, а той, если угодно, представляется возможность «сделать ответный подарок». В конце концов появился на свет смешной документ — расписка госпожи Дени, данная Гримму: «От барона Гримма по особому распоряжению императрицы всероссийской я получила деньги в сумме 135 тысяч ливров, четыре су, шесть денье за библиотеку покойного Вольтера, моего дяди, которую я, зная желание ее императорского величества приобрести ее, взяла на себя смелость принести ей в дар».

Цена была истинно царская, тройная. Французский посол в Петербурге пытался помешать; торопился объяснить своему правительству, что библиотека Вольтера — достояние Франции; однако Екатерина ядовито заметила, что нет никакой необходимости сохранять книги Вольтера в той стране, которая отказала ему самому в могиле.

Тут можно философски порассуждать, что за библиотеку великого француза Екатерина заплатила сумму, которая ежегодно взималась с тысяч крепостных; впрочем, продолжив это рассуждение, следует также заметить, что прославление Вольтера в России — независимо от намерений и планов Екатерины II — усиливало свободомыслие в стране и, стало быть, способствовало грядущему освобождению крепостных. Тех людей, потомки которых когда-нибудь придут рассматривать Вольтеровы книги.

Возможно и другое размышление: покупка библиотеки Россией столь сильно компрометировала Людовика XVI и его двор, что опять же, независимо от воли новой хозяйки книг, все это ускоряло гибель французской монархии...

Так или иначе, 6902 книги с аккуратными экслибрисами Вольтера были упакованы секретарем покойного философа Ваньером в двенадцати огромных ящиках, соответственно двенадцати главным разделам: богословие,



Статуя Ф. Вольтера работы А. Гудона в Круглом зале Публичной библиотеки. Фотография 1878 г.

история Франции, словари и древние авторы, сочинения самого Вольтера, книги на итальянском, английском языках, путешествия, торговля, медицина, литература и т. п.

Осталось доставить книги из Франции в Россию: Вольтер немало посмеялся бы над подробностями и, вероятно, сравнил бы приключения своего мертвого тела с опасными странствиями фолиантов. Сначала предполагался морской путь до Амстердама, но пришлось отказаться; Франция была в состоянии войны с Англией, — и тут уж все перепуталось: Людовик XVI вел эту войну в защиту только что образовавшихся Соединенных Штатов, Англия стремилась молодую республику подавить, — и при этом могла вдруг перехватить книги Вольтера, изгнанные из той самой Франции, которая в этот момент встала на защиту заокеанской свободы...

Началось длинное странствие по суше: тысячи книг, модель Ферне, да сверх того статуя Вольтера работы Гудона.

Наконец караван достиг Любека, где секретарь Вольтера так долго ждал русский корабль, что заболел; лишь на третьем месяце пути книги прибыли в тот город, куда их автора так настойчиво приглашала Екатерина, но — при жизни совершить путешествие, подобно Дидро, не удалось.

Ваньер привел книги в порядок, был щедро вознагражден (пенсия ему платилась до 1793 года!) и покинул

северную столицу: он был не в силах выдержать дурной климат. Русская царица писала Гримму, что Ваньер «рассказал мне столько вещей о моем учителе, что все это только усилило мою горесть по случаю его утраты».

Когда помещения, отведенные Вольтеру, были окончательно приведены в порядок, царица радостно сообщила Гримма: «Статуя Вольтера работы Гудона распакована и установлена в Утренней зале (в беседке парка близ озера); там ее окружают Антиной, Аполлон Бельведерский и много других статуй, модели которых привезены из Рима, но отлитых здесь. Когдаходишь в эту залу, буквально захватывает дух и, о чудо! Гудоновская статуя Вольтера не проигрывает от такого окружения. Вольтер помещен здесь на хорошем месте и созерцает все, что есть прекраснейшего между древними и новыми статуями... С тех пор как там Вольтер, смотреть Утреннюю залу ходят караванами».

Мы почтительно разглядываем корешки изданий, вышедших четверть тысячелетия назад. Хранители Вольтеровой комнаты бережно вынимают тома, открывают, помогают прочесть многочисленные записи Вольтера на полях и титульных листах этих книг. Тысяча сто семьдесят одну страницу составляет специально изданный Академией наук СССР Каталог Вольтеровой библиотеки (сверх того готовится научное издание Вольтеровых помет!).

Полистаем же книги, вообразив Екатерину II и многих придворных, которые разбирают почерк умершего философа накануне, а также после взятия Бастилии.

Как странно в тиши библиотеки, в северной столице, видеть этот спрессованный хохот, эту дерзость, издевательство, отрицание многого, очень многого, от чего русская императорская власть не отказывалась, никогда не думала отказаться.

Преобладают замечания насмешливые, ехидные; в одной из книг на полях стоит пятно, которое, как удостоверяет запись Вольтера, след плевок, посланного «любезному автору». Редко-редко на полях (например, в книгах Руссо) можно отыскать одобрительное «воп» (хорошо), чаще же так: «Пошел вон, ты мне слишком надоел».

Рассматривать надписи на титульных листах — одно удовольствие: «шедевр фанатической глупости» (№ 502),

TIRIDATE.

Parler, qui vous offense? & qui dou-je hais?
Par quelques maux je suis-est-il pu vous haïr?
Comme qui fausse-est-il que ma vengeance éclate?

ABRABATE.

Ah! Seigneur, laissez-je accuser Tiridate?
Pourrai-je sans rembourser; espérant mon malheur,
Comer son injustice, & montrer ma douleur?
Peut-être tous mes maux causer-est-il par sa valeur,
Vous touchaient-ils moins que l'intérêt d'un frère.

ARTABAN.

Vous ne le craignez plus quand vous aurez appris
Qu'à mon retour icy la foudre m'a surpris,
Dans ces discours glacés j'ay méconnu mon frère,
Je n'ay plus retrouvé ce cœur libre & sincère,
Qui jadis peu jaloux des honneurs de son rang,
Faisoit céder leurs droits aux tendresses du sang,
Artaban comme vous, à sujet de s'en plaindre,
Et peut-être sa haine, ou ses soupçons a crainte.

ABRABATE.

Non, Seigneur, ses chagrins ne tombent point sur
vous;
Et c'est contre moi seul que l'arme son courroux:
Mais de quels traits? Grands Dieux qu'il est im-
prévisible!
Cependant, craignez-vous qu'au moment qu'il m'ac-
cable,
Je ne puis à son sort refuser quelques pleurs?
Je le voy pleurer de secrets douleurs.

TRAGEDIE.

Au milieu de la Cour cherchant la solitude,
Nourrissant son esprit de son inquiétude
Indolent aux objets qui distaient ses desirs,
Il se repose à regret, il languit sans plaisir,
Et son cœur se devore du mal qui l'empoisonne,
Confond dans ses dégoûts tout ce qui l'environne.
En vain l'art des humains cherche à guerir ce mal,
Doit-on ne concevoir point le principe fatal.
En vain sur mille Autels je le fais sacrifier; *quelque*
Il n'en soufre pas moins; sa force s'altère; *placée*
Il meurt; & toutefois d'aux son barbare fure, *éprouve son*
Il semble s'apaiser, de me donner la mort. *de vain*

ARTABAN.

Loy qui monstrez point vous l'amitié la plus tendre,
Jadis avec amour eût voulu vous défendre.

ABRABATE.

Il venoit triomphant du jeune Séleucus,
Tous ses Soldats brilloient des rayons des vaincus;
Et des murs de Daria, jusqu'aux bords de l'Euphrate,
Mille bouches portaient le nom de Tiridate.
Nous arrivons, hâtant nos impatients desirs
De faire à nos travaux succéder les plaisirs;
Vôtre charmante sœur l'adorable Frère;
Avois de mon amour reçu le sacrifice, *Amour*
Faire par nos succès, je viens offrir ma loy,
Je parle enfin, j'obtiens le mariage du Roy.
La Princesse obéit, & consent que j'espère,
Quand le sort contre moi souleve votre frère,
Que de tous mes vœux barbare j'ay effrayé,
Refuse de lui céder à l'hymen de la haine.

Пометы Ф. Вольтера на книге «Сочинения Г-на Капистрона».

«вестгот!» (№ 907), «капуцинская галиматья, поддержи-
ваемая полицией» (№ 1339), «без метода, без ума, без
стиля, без надобности» (№ 1438); на книге «Мария Стю-
арт, королева Шотландская, трагедия, представленная
в Париже в первый раз 3 мая 1734 года» Вольтер поме-
чает: «и в последний раз» (№ 2001). Иногда книга так
плоха, что Вольтеру стыдно за век, за просвещенный
XVIII век, в который могла выйти «подобная бессмыс-
лица» (№ 1890). Случается, вместо Вольтера делает записи
секретарь Ваньер. Например, на книге некоего Шампли-
вера делается пояснение, что это — «экс-иезуит, который
занял штаны в Ферне, чтобы предстать пред господином
Вольтером, у которого он надеялся добыть денег; он не
мог выговорить никаких иных слов, кроме «месье, месье»,
и, не получив ничего, написал разные гадости против Во-
льтера и Ваньера» (№ 708).

Книги, множество книг, посвященных истории культу-
ры едва ли не всех народов; в их числе немало материа-
лов о Петре I (там есть панегирик Петру, написанный

Ломоносовым, — № 2161). Некоторые тома, например, сочинения Гольбаха, направленные против религии и церкви, помечены — «книга опасная»; на одном из томов — «приговорен парламентом и сожжен палачом»; наконец, огромное собрание «Вольтерьяны» — собственных сочинений на множестве языков, среди которых и подделки; на одной из них Вольтер пишет подлинное имя «псевдо-Вольтера» и сообщает, что автор был заперт в тюрьму Бисетр «именно за это издание, наполненное ложью ужаснейшей и смешнейшей» (№ 3786).

Книги, «молчащие» в петербургских шкафах, разговаривали во Франции и по всей Европе. Позже Екатерина будет жалеть, что не смогла спрятать в Петербурге все тиражи столь опасного автора. Но это — позже. Пока же императрица скорбит только о том, что ни Гримм, ни племянница Вольтера не смогли вернуть подлинники ее собственных писем к философу, публикации которых она боится «как огня». Она пишет, настаивает, запрещает печатать, — но предреволюционный Париж не очень-то боится окриков с Невы. Письма попадают в руки не кого иного, как автора «Женитьбы Фигаро» господина Бомарше, который быстро их публикует. Царица сильно гневалась, запретила свободное распространение 67-го тома вольтеровского собрания, куда попала переписка, но было уже поздно.

Пройдут годы, и внук Екатерины, Александр I, разрешит публикацию и перевод тех писем в России, правнук же царицы, Александр II, однажды получит из Франции эффектный подарок — подлинники 74 писем Екатерины к Вольтеру...

Но вернемся в 1780-е.

Библиотека Вольтера, можно сказать, последнее явление в России французской революции, перед самым ее началом.

Вскоре Екатерине II, ее дворянству, миллионам крестьян быть современниками величайших парижских событий.

Трoзa



МЫ ПОКИДАЕМ «комнату Вольтера», проходим несколько десятков шагов по коридорам Ленинградской Публичной библиотеки — и попадаем «в Бастилию». То есть в гости к Петру Петровичу Дубровскому.

Служил при русском посольстве в Париже скромный чиновник Дубровский. Родился он в Киеве, там окончил духовную академию и был направлен во Францию. Несколько десятилетий провел он за границей и все эти годы страстно и неутомимо собирал рукописи. Коллекция состояла из целых документальных комплексов V—XVIII веков: подлинные письма ученых, писателей, королей, государственных деятелей насчитывались в этом собрании не единицами и даже не десятками — тысячами. Эразм Роттердамский, Вольтер, Руссо, Лейбниц... Дубровскому удалось собрать дипломатическую и административную переписку французского правительства на протяжении почти столетия. По сути, в его руках оказалась часть государственного архива Франции, первоклассные источники, «золотые россыпи», как назвал эти документы один французский ученый.

Ценнейшую часть собрания Дубровского составили рукописи из старейшего книгохранилища Франции — Сен-Жерменского монастыря. Каким образом все это собрал, добыл русский дипломат — до сих пор во многом тайна. Наверное, предприимчивые монахи потихоньку расхищали библиотеку и продавали книги на сторону; Дубровский же денег не жалел, все свое жалованье тратил на коллекцию и в результате оказался совершенно без средств. В 1804 году он предложил вдовствующей императрице Марии Федоровне купить его собрание — слава о нем давно разошлась по России и Европе. Французские знатоки признавали, что многие бумаги, собранные Дубровским, неминуемо пропали бы в огне революции...

Журнал «Вестник Европы» в 1805 году писал: «Наши

соотечественники, знатнейшие особы, министры, вельможи, художники и литераторы с удовольствием посещают скромное жилище г. Дубровского и осматривают богатейшее сокровище веков...»

Во дворце согласились на предложение коллекционера.

Как раз в эту пору было решено учредить в Петербурге общедоступную библиотеку; пока же для нее готовили здание, Александр I специальным рескриптом от 27 февраля 1805 года повелел основать «особенное депо манускриптов». Первым его хранителем стал Дубровский: такое условие он оговорил при продаже рукописей.

Наконец, в 1814 году, Публичная библиотека открыта; любой желающий мог ею пользоваться. Правда, в отдел редкостей выдавался только разовый билет, и каждому посетителю указывался час, в который он будет допущен (причем в день полагалось допускать не более 4 человек!).

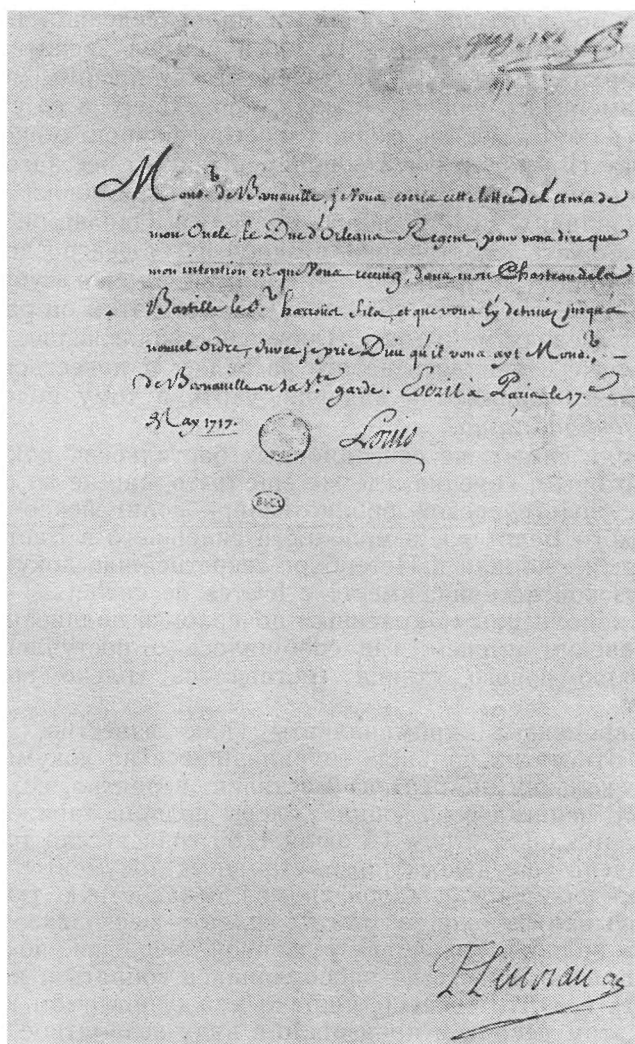
Если же посетитель был человеком осведомленным, умел задавать вопросы и успокаивать осторожность хранителей, то ему удавалось увидеть архив Бастилии!

25 тысяч рукописных книг и более 600 отдельных документов пропутешествовали с Сены на Неву, чтобы скрыться в недрах императорской библиотеки под шифром «собрание № 288».

Дела, секретные дела Бастилии. «Досье» на привилегированных узников, один из которых жалуется на портного: каналья поставил пуговицы на камзол, совершенно не подходящие по цвету!

Жалоба адресована не кому-нибудь, а самому начальнику полиции. Дело в том, что начальник тюрьмы самолично почти ничего решать не мог, — даже чтобы постричь заключенного, требовалась санкция высшего начальства. Естественно, переписка между администраторами невероятно обширна.

Одну из просьб начальника тюрьмы о предоставлении прогулки заключенному дополняет такая фраза: «Узник уже 25 лет не выходил из своей камеры». Это уже заключенный другого рода — тот, кого презрительно именовали «бунтовщиком», из небольшой группы лиц «низкого звания». Правда, в последний день своей многовековой «биографии» Бастилия была почти пуста; среди немногих узников, между прочим, находился фабрикант Ревильон, запертый в крепости... по собственной просьбе: обманутые рабочие грозили убить хозяина, но он предпочел до-



Распоряжение об аресте Ф. Вольтера и заключении в Бастилию, подписанное Людовиком XV. 17 мая 1717 г.

бровольное заточение. Однако и малонаселенная Бастилия для всего Парижа — главный символ деспотизма...

В архиве Бастилии оказались, между прочим, мемуары знаменитого узника Латюда, проведенного в ее стенах 35 лет; попал же он сюда, известив фаворитку короля маркизу Помпадур о готовившемся против нее заговоре. Заговор оказался мнимым, но Латюд упорствовал в своих показаниях. Его бросили в Бастилию. Однако он ухитрился бежать, спустившись с одной из башен по лестнице, связанной из тряпок... Его поймали, он снова убежал. Опять поймали, опять убежал... Обо всем этом он рассказывает в своих мемуарах. Длительное заключение, однако, все же отразилось на его рассудке: в повествовании то и дело появляются видения, черти и тому подобные *действующие лица*.

Среди самых же сенсационных бастильских документов, которым, конечно, где же еще быть, как не по соседству с вольтеровской библиотекой, — полицейское досье на самого Вольтера, в молодости сидевшего в Бастилии.

Как же попали в Петербург секретнейшие документы французской истории, вместе с *lettres de cachets* — бланками, заполненными красивым почерком и подписанными королевским именем, где сообщалось о поступлении в Бастилию нового узника (оставалось только вписать имя)?

Современные криминалисты, как известно, очень ценят отпечатки пальцев, сохранившиеся на документах. На нескольких бумагах из Бастилии, вероятно, сохранились «отпечатки революции»: следы подошв парижанина или парижанки, утром 14 июля 1789 года весело топтавших вчера еще недоступные, страшные документы.

Каждому свое... Народ громил ненавистную тюрьму; выбрасывал из окон и топтал архив, — несколько тысяч листов валялись около разрушенной твердыни, пока революционная власть не распорядилась собрать и конфисковать все, что уцелело. Однако между штурмом крепости и этим декретом произошло с виду незаметное событие: очевидно, 15 июля Петр Петрович Дубровский (или его доверенное лицо) прибыл в карете на площадь Бастилии... И подобрал разбросанные листы. Страсть коллекционера, конечно догадывавшегося, какое значение для истории будут когда-нибудь иметь его усилия.

Карета Дубровского увозит его в русское посольство, где ожидает новых вестей и составляет подробный отчет для императрицы сам российский посол в Париже...

Донесение № 66

Русскому послу Ивану Матвеевичу Симолину, выходящу из немецко-шведского рода, было уже около 70 лет, и за свою жизнь он видал виды; около полувека занимал разные дипломатические должности в Копенгагене, Вене, Стокгольме, Лондоне. Наконец, с 1784 года, в высочайшем чине действительного тайного советника, он сменяет Барятинского на почетном и, по мнению многих, приятнейшем посту посла в Париже. Депеши, адресованные обычно вице-канцлеру (министру иностранных дел), изредка самой императрице, составляются в обширном доме посла на бульваре Монмартр и сообщают о событиях предреволюционной Франции. Но вот донесения делаются все тревожнее; все чаще посол меняет шифр...

Одновременность в тот век была, понятно, куда более «медленной», чем в нынешний: без радио и телеграфа, без самолетов и железных дорог отсутствовало то удивляющее нас чувство сиюминутности, сопричастности, которое появляется у человека XX столетия, когда он узнает, что именно сегодня или вчера, несколько часов назад или в данный момент там-то и там-то произошла революция, катастрофа, землетрясение... Иное дело, если известие доходит спустя недели или месяцы. Тогда событие представляется куда более чужим, сторонним, и ему, событию, нужно очень и очень «постараться», чтобы все-таки потрясти, расшевелить далеких читателей так, как будто все случилось у них на глазах.

14 июля (по старому календарному стилю — 3 июля), разумеется, никакие известия о парижских событиях в Петербург еще не проникают, так же как и в следующие дни и недели.

Революция есть, но ее пока как будто и нету. И эта разница во времени между французским громом и русским эхом продолжится еще десятилетия, пока военная волна, идущая из Франции, не столкнется прямо, лицом к лицу, с русским сопротивлением. Там, под Аустерлицем и Бородином, дата французского события и его русского узнавания будет одна и та же...

Пока же по дорогам Европы специальный курьер везет толстый пакет с секретным донесением Симолина: написано в Париже 19 (8) июля 1789 года, достигнет Петербурга через 19 дней, 27 июля (7 августа).

Донесение № 66 с приложением нескольких парижских журналов и газет:



И. Симолин. Миниатюра 2-й половины XVIII в.

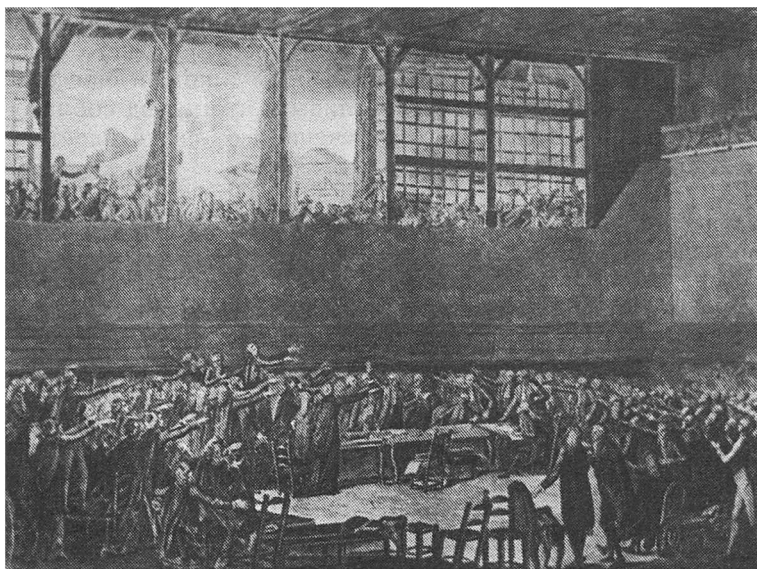
«Революция во Франции свершилась, и королевская власть уничтожена. Восстание города Парижа, к которому умы, казалось, были подготовлены, разразилось на другой день после отъезда г. Неккера. В следующие дни оно продолжало разрастаться, как вы, ваше сиятельство, увидите из прилагаемого «Журнала» о происходившем здесь с субботы до пятницы; к нему я беру на себя смелость присоединить несколько печатных изданий, во всех подробностях излагающих событие, которого Европа никак не ожидала. Это восстание сопровождалось убийствами, вызывающими содрогание...

Жестокость и зверство французского народа проявились при всех этих событиях в тех же чертах, как и в Варфоломеевскую ночь, о которой мы еще до сих пор с ужасом читаем, с тою только разницей, что в настоящее время вместо религиозного фанатизма умы охвачены политическим энтузиазмом, порожденным войною и революцией в Америке.

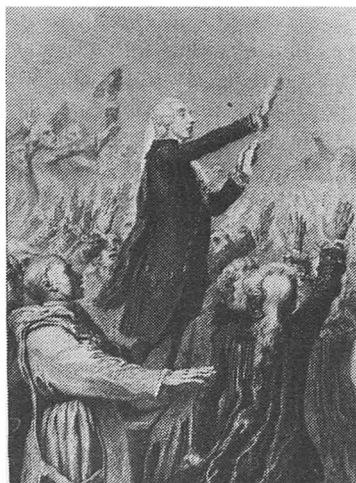
Если бы король отказался подчиниться требованиям Постоянного муниципального комитета, народ, по всей вероятности, сверг бы его...

Я счел своим долгом не медлить с отправкой курьера с известием о событии столь большой важности при любых обстоятельствах и имеющем в настоящее время особое значение для нашего двора...

Все поражены при виде того, как в течение тридцати шести часов французская монархия была уничтожена и



Клятва в Зале для игры в мяч. 17 июня 1789 г. Гравюра. 1810-е гг.



Фрагмент.

ее глава вынужден соглашаться на все, чего разнузданный, жестокий и варварский народ требует от него с такой дерзостью и таким повелительным тоном, и еще считать себя при этом очень счастливым, что народ соблаговолил удовлетвориться его отречением от своей власти и от своих прав.

В Пале-Рояле, который является очагом мятежа, было сделано в воскресенье вечером предложение провозгласить герцога Орлеанского регентом Франции. Герцог немедленно отправился в Версаль засвидетельствовать публично перед королем и его братьями, что хотя он и любит свободу, но не принимает участия в столь нелепом предложении, и с тех пор он не выезжает из Версаля...

Его величество утвердил назначение маркиза де Лафайета в звании командира буржуазной милиции Парижа, с чином полковника... Его величество одобрил также мысль воздвигнуть на развалинах Бастилии памятник Людовику XVI и присвоить полку Французской гвардии, перешедшему на сторону революции и тем ускорившему ее проведение, наименование Национальной гвардии».

Положение посла деликатное: еще несколько месяцев назад он довольно сочувственно описывал разгорающиеся французские события, созыв Генеральных штатов, критические речи депутатов. Возможно, боялся прослыть недостаточно просвещенным в глазах Екатерины, «подруги Дидро и Вольтера»; с другой стороны — не угадывал огромных последствий начинающихся событий и полагал, что для российской политики в Европе и на Востоке будет не худо, если Франция сосредоточится исключительно на своих внутренних делах. Позже Екатерина II даже заподозрила старого дипломата (совершенно несправедливо!), что он «поддался влиянию парижских демагогов»...

Через несколько дней после доставки во дворец депеши Симолина — события, двигавшиеся со средней скоростью 50 километров в сутки, достигают наконец и столичных газет.

14 (3) июля — 18 (7) августа 1789 года

Сначала — «Санкт-Петербургские ведомости», вторник, 3 июля по старому стилю — 14 июля по новому, европейскому, стилю 1789 года.

Новости из Вены о болезни императора Иосифа II — от 13 июня; из Лондона, о заседании парламента, — от 12 июня. Известия из Турции (с которой Россия уже три года находится в состоянии войны) — от 2 мая. Наконец, самые долгие известия — из Нью-Йорка: «генерал Вашингтон, президент новой конфедерации, прибыл сюда 22 апреля и принят с великими изъявлениями радости. Третьего дня поставлен он в сие новое достоинство — звание президента, — при котором случае говорил речь».

Все, в общем, спокойно: объявления о продаже муки, вина, персидского жеребца, «крупной лучшей клубники», итальянских макарон.

Ротмистр Рахманинов поместил объявление о бегстве своего дворового человека Исая Александрова; тут же сообщаются приметы раба: «лицом бел, волосы на голове светло-русые, стрижены в кружок, на бороде, у самой почти нижней губы, рубец, от роду ему 20 лет, бороду бреет». Поймавшему — вознаграждение десять рублей.

В русской столице утром 13 градусов, в полдень — 18, вечером — 15.

Просвещенное время обнаруживает себя многочисленными объявлениями книготорговцев. От имени «председателя Российской Академии наук, ее сиятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой», а также от других издателей грамотным русским предлагаются: «Плоская и сферическая тригонометрия», «Исторические рассказы» о Карле Орлеанском и Ганнибале; в семи томах Гомер по-французски, в восемнадцати книгах труды аббата де Сен-Пьера. Продаются географические карты, «где показаны новейшие открытия мореплавателей, положение земель, островов и других мест, а также означены и путешествия капитана Кука» (на тех картах нет Антарктиды, едва намечена Австралия, белые пятна в Африке, Южной и Северной Америке).

Предлагается также немало русских книг: «Деяния Петра Великого», «Собрание русских песен с нотами»; и на каждом шагу переводы почитаемых иностранцев: «на Невском проспекте у книгопродавца Клостермана продаются сочинения господина Вольтера, в том числе история о смерти Жана Каласа»*; «в Миллионной улице: „Смерть и последние речи Жан-Жака Руссо“».

*Одна из работ Вольтера, прогремевшая на всю Европу — защита невинно осужденного и казненного гугенота Каласа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВѢДОМОСТИ No 63.



Во вторникъ Августа 7го дня, 1789 года.

ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ, АВГУ-
СТА 7го ДНЯ.

*Продолженіе извѣстій о дѣйстви-
хъ Финляндской Арміи.*

28го Іюля по утру Генералъ-
Майоръ Денисовъ по данному ему
ею Главнѣкомандующаго Арміею
приказанію, перешелъ на непріятель-
скую сторону со сѣмъ двадцатью
Козаками и сѣмъ баталіономъ егерей,
нападъ на передовые Шведскіе по-
сты, и сбилъ оныя по недолгой не-
пріятельскій, прогнавъ къ самой ба-
шарѣ, съ которой непріятель упи-
ралъ слѣдъ за Козаками и душилъ
егерей, съ такою скоростію свезъ
свою пушку, что не успѣлъ влѣзъ
въ лафетныхъ передковъ; при ко-

шоромъ случаѣ захвачены въ плѣнъ
1 полковой лѣкарь и трое рядо-
выхъ, съ нашей же стороны ранены
только 1 Офицеръ и 7 егерей.

Въ Меселѣ въ ночи съ 28 на
29 Іюля находящійся подъ коман-
дою Генерала - Майора Сухтелена
Донскаго полку Полковникъ Поз-
дѣевъ принявъ оплошность непрі-
ятельскаго поста противъ деревни
Гуруксала стоящаго, переправилъ
на ту сторону рѣки Кюмени
вплывъ тридцать человекъ Козаковъ,
которые удари на непріятеля,
прошчасъ его разогнали, и побѣдъ
нѣкоторыхъ на нѣмъ, да взявъ
въ плѣнъ одного егеря, возврати-
лись обратно на свою сторону, не
пошеривъ ни одного человека.

«Санкт-Петербургскіе ведомости». 7 августа 1789 г.

биз и Босній: но ни въ одномъ нѣтъ болѣе 50,000. — Принцъ Котурскій съ войсками своими подался ближе къ Валахін.

Ошавшему получасъ мы пріѣхали въвѣстїя, что жана въ нынѣшнемъ году будеть гораздо плобильнѣе, нежели ожидали. Цѣна хлѣба и шерсть уже становилась ниже. **АВСТРИЙСКІЯ НІДЕРЛАНДЫ. ИЗЪ БРИССЕЛЯ, ОТЬ 20ГО ЮЛЯ.**

Съ нѣкотораго времени разсѣивающа въ Областихъ нашихъ возмущившіяся сочиненія: но какъ имъ шло оныхъ, ни шъ, конъ нечищаемъ, доселѣ еще не навѣстны, что Его Величество Императоръ назначилъ 16,000 Гульденовъ въ награжденіе тѣмъ, которые таковыхъ злодѣевъ открывають будуще.

Удавшийся изъ Франціи по повелѣнію Короля г. Некеръ нѣмѣльщеникъ пребывающа въ Спа. Посланнаго изъ Версалля нарочный, прїѣхавъ шрѣмъ для въ здѣшній городъ, оштрафленъ немедленно отъ находящагося здѣсь Французскаго Резиденца шуда же; а вчера и самъ Резидентъ предпріалъ пушкъ свой въ г. Некеру, дабы просить его именемъ Короля и общаго Чинаго Государственныхъ Собранія о возвращеніи во Францію.

ФРАНЦІЯ.

ИЗЪ ПАРИЖА, ОТЬ 7ГО ЮЛЯ.

У насъ слѣдующъ одинъ важнѣйшій происшествіа за другичи. Для возстановленія къ живущему Нарядъ спокойшья, Его Величество

Короля рѣшился, войска отъ здѣшней Столицы ошлалить, г. Некера возвращишь, и всѣхъ вновь набранныхъ Министровъ отъ должности увольнить. Сиважныя перемѣны соровадалась слѣдующимъ обстоятельствомъ:

Въ прошедшій понедѣльникъ, 13 числа по утру, Парижъ полюбенъ уже былъ не Столицѣ славающейся благолѣпїемъ Правовъ Франціи, но непріятельскому городу пріемишному къ буйные и вооруженные: — всѣ видны были сѣды ихъ неубутливости. Всѣ оруженныя мастеровъ лавки еще ночью были разломаны, и спояли по утру уже пусты. — Французскія Гвардіи и нѣкоторые друтія войска, ошложась оавъ Государа, вступили въ службу Мѣщанства, кошорое какъ изъ оныхъ, шакъ и собственнаго своего воинства, соснавило особливую городъ Парижа военную силу, кошорая возрасла до 116,000. Ся новая Армія раздѣлена по разнымъ частямъ города, получила Восначальниковъ, и нѣмѣль особливую казну для произвожденія салдаинамъ жалованья, работникамъ платы, и проч. Нужныя къ тому деньги даны Мѣщанствомъ. — Въ шомъ же день, т. е. въ понедѣльникъ по утру, толпы вооруженной черни, посѣщая разные монастыри и дома, искали хлѣбныхъ запасовъ; и находя оныя отбирали. Нѣкоторые изъ монаховъ принуждены были

Самая оптимистическая книга, предлагаемая русскому читателю в день взятия Бастилии, называется «Проект всеобщего замирения в Европе».

Но где же французские новости?

Они на третьей странице, всего с месячным опозданием, но — «от собственного корреспондента», который заставляет беспокоиться читающую публику, рисуя предысторию сегодняшних событий: «Поскольку все переговоры о восстановлении между тремя сословиями единомыслия доселе остаются бесплодными, то мещанство объявило в своем собрании, что приглашает первые два сословия к окончанию сего дела и приведению через это сейма (то есть Генеральных Штатов.— Н. Э.) в действие, в последний раз!»

В русской столице, таким образом, видят июньскую накаляющуюся Францию и наверняка рассуждают: «А что же там происходит сегодня, сию минуту?»

В этот день, 3 (14) июля, Екатерина II в Царском Селе объявляет «камер-траур по кончине Его королевского высочества дофина Людовика на три недели с разделением, а именно — первые одиннадцать дней дамам носить ленты, а кавалерам чулки черные, а последние десять дней дамские ленты цветные, а кавалерам чулки белые»: из Парижа пришла весть о смерти старшего сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты, того мальчика, который, уходя из мира, передал свою судьбу новому наследнику, младшему брату Людовику — Карлу (Людовику XVII), — судьбу еще более печальную...

Проходит месяц и четыре дня. Перед нами «Санкт-Петербургские ведомости» от 7(18) августа 1789 года.

По-прежнему — тон спокойный: на первых страницах сообщения о военных действиях в Финляндии, где русские берут верх над шведами; радостные известия о блистательной победе, одержанной семнадцать дней назад русской армией под командованием Суворова над сильно превосходившими турецкими силами при деревне Фокшаны...

Два известия достигли газетных страниц после одинакового, 35-дневного, путешествия «с места события». Одно — с востока, из сибирского города Тобольска; другое — с запада, из Парижа.

Сибирская информация напоминала о победном шествии просвещения: «...сего июля 3 (14) числа в здеш-

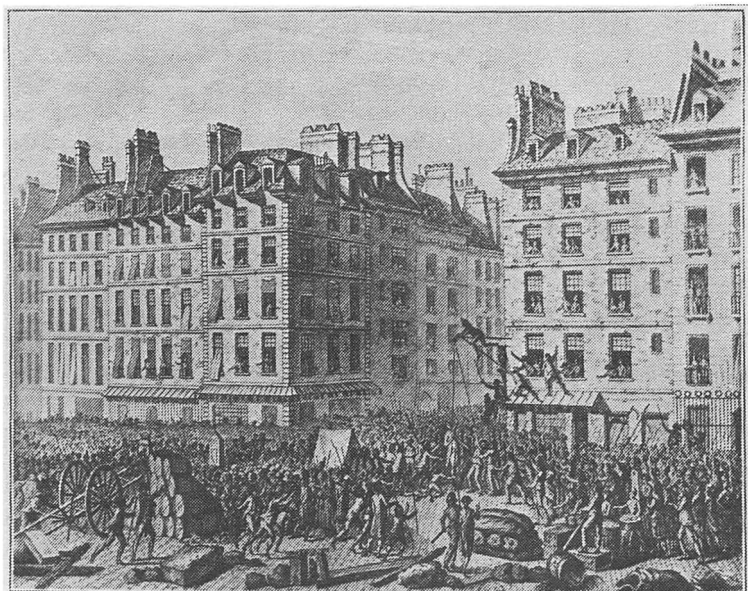


Штурм Бастилии 14 июля 1789 г. Гравюра по рис. Д.-О. Раффе. 2-я четверть XIX в.

нем главным народном училище в присутствии генерал-губернатора, епископа, чиновников губернии и при многочисленном стечении граждан происходило первое открытое испытание. Ученики показали довольные успехи, граждане же изъявили глубочайшее благоговение и благодарность к виновнице сего радостного для них зрелища».

Виновница же, императрица Екатерина II, уверенно скажем, придала куда большее значение «западной информации»: «В прошедший понедельник 13 числа поутру Париж подобен уже был не столице славящейся благолепием нравов Франции, но неприятельским городам, приступом взятым. Повсюду встречались люди буйные и вооруженные. Французская гвардия и некоторые другие войска отложились от государя и вступили в службу мящанства».

Далее — огромный репортаж о штурме Бастилии: «Рука содрогается от ужаса, описывая происшествия, при коих могли быть в таком пренебрежении долг государю и долг человечеству. Но надо окончить».



Мученическая смерть государственного советника Фулона и парижского интенданта Бертье на Гревской площади 23 июля 1789 г. Гравюра Берго по рис. Приё.

Следуют выразительные подробности, в частности — об отрубленной голове коменданта Бастилии Делоне; но притом от русских читателей не скрывали, что «бунт освободил всех, в Бастилии содержавшихся, из них один сидел уже сорок лет, архивные же бумаги отчасти изорваны, а отчасти разбросаны по площади».

О бастильских бумагах уже говорилось: как знать, может быть, отчаянный коллекционер Дубровский причастен к этой корреспонденции?

Первая информация о начавшейся революции. Сколько еще впереди... Правда, в следующих номерах русские читатели находят новости, казалось бы успокоительные. «Теперь наслаждаемся мы совершенным спокойствием, — сообщалось из Парижа. — Всяк производит торги свои и промыслы так, как и прежде».

Победивший народ подносит ключи города Парижа Людовику XVI, так же как двести лет назад — Генриху IV: «Тогда сердца народа побеждены были государем, а

ныне — сердце государя народом побеждается». Подразумевается, что Людовик пошел на уступки вооруженным парижанам (ему ничего другого не оставалось!).

Впрочем, проницательный читатель мог многое понять из другого, шуточного как будто, парижского известия: «Театры наши с 21 июля опять отперты; но зрителей собирается весьма мало, потому что мы давно теперь видим трагедии на улицах...»

Лето 1789-го.

Ежегодный справочник извещает российских подданных, что самым удаленным от столиц русским городом является Петропавловский порт на Камчатке: «До С.-Петербурга 10 748 верст, до Москвы — 9918».

Такие названия, как Енисей, Байкал, Аральское море, Амур, звучали не менее загадочно, чем ныне — Плутон, метagalaktika, квазар. Впрочем, российский месяцеслов рассуждает о недавно открытой седьмой планете Уран, «и может статься, что за Ураном есть еще планеты, к системе нашей принадлежащие, которые тихими стопами около Солнца обращаются». Знаменитый астроном Жан Лаланд вскоре напишет из Парижа княгине Дашковой, возглавляющей Академию наук: «Ученые сведения, которые Вы поручили мне сообщать, в настоящее время очень бедны. Политика поглотила все общественные интересы... Возрождение Франции с ее конституцией и финансами составляет для нас величайшую эпоху, но я боюсь за невыгодные последствия для науки, потому что начинают уже поговаривать об уменьшении пенсий ученых сословия...»

В эти дни тяжелобольной Денис Иванович Фонвизин (осталось три года жизни) пытается вылечиться целебными водами близ Риги; год назад ему не разрешили журнал «Стародум», сейчас он пробует сочинять комедию с главным героем по имени Иван Нельстеев.

Другой же наш знакомец, Иван Тревогин, побывал в Сибири (начальство, впрочем, учло, что тем самым он значительно приблизился к острову Борнео, и специально предписало держать его подальше от любой российской границы); известие о разрушении столь знакомой Бастилии Тревогин встречает в Перми, где пытается прожить уроками французского языка и рисования. Жизнь его была, мягко говоря, нелегкой и оборвалась в марте следующего, 1790-го.

Июль — август 1789-го

В эту примерно пору под влиянием знаменитых, «зажигательных» сочинений аббата Рейналя поэт-аристократ Дмитрий Горчаков пустился в далекие странствия, которые были бы смелее борнейских планов Иоанна Тревогина, если бы не совершались только мыслию и рифмою:

Ужели ты забыл, как страждущий бенгал
Средь изобильных стран от глада помирал;
Иль бедный малабар души твоей не тронет,
Когда под тягостью оков лисбонских стонет;
И яростный яван, держа ужасный крид *,
Законом иступлен, тебя не устрашит?
Взгляни в Америку, в ту света часть богату,
Куда влечет корысть сердца, покорны злату.
Не тамошний ли им несчастливый народ
Ужасной заразил болезнью смертных род?
Таитская страна! Престол всегдашня лета!
Вотще пространными морями ты одета!
Преграда слабая корысти — океан.
Заехал и к тебе ужасный Ариман **.
И алчны жители Тамизы и Секваны ***
Умели влить тебе антильской скорби раны.

В XX веке подобные рассуждения связали бы с кризисом колониальной системы, борьбой «третьего мира» за независимость; в конце же XVIII грядут события, революции, после которых только и развернется в полную силу европейский капитализм и будут созданы огромные колониальные империи, управляемые «с Тамизы и Секваны»...

Взглянув на мир, возвратимся в Петербург.

14 (3) июля 1789 года, согласно камер-фурьерскому журналу (дневнику придворных происшествий), — балы, приемы, церемонии.

Это, впрочем, поверхность явлений. Куда более интересные вещи можно узнать из дневника статс-секретаря императрицы Александра Храповицкого, куда попадают предметы достаточно секретные, даже интимные.

14 (3) июля 1789 г.: «Ее величество... изволила мне отдать записки для изготовления указов, чтоб Боборыкина — в конную гвардию, Фитингофа — в камер-юнкеры,

* Крис, малайский кинжал.

** Дух зла.

*** Темзы и Сены.

Платона Александровича Зубова — в полковники и флигель-адъютанты».

Как видим, исторический день взятия Бастилии — счастливый для нового фаворита Зубова, который в 22 года уже полковник и флигель-адъютант, а далее еще и не то будет...

Несколько дней спустя Храповицкий фиксирует, что царица отметила по каталогу «французских книг на 4 тысячи, видно для Зубова».

Просвещение фаворита — дело государственное.

18 (7) июля. «Велели список колодников, чтоб десяток простить за победу над шведами».

На другой день, 19 (8) июля: «Разговор о переменах во Франции. Получено известие, что третье сословие самовольно составило из себя собрание национальное».

О Бастилии новости еще не дошли, но в Петербурге уже хорошо понимают, что — началось...

Недавно царица беседовала с французским послом графом Сегюром и заметила: «Ваше среднее сословие слишком многого требует; оно возбуждает недовольство других сословий, и это разъединение может повести к дурным последствиям. Я боюсь, что короля принудят к большим жертвам, а страсти все-таки не утихнут».

Анализ точный, пророчества царицы сбудутся. Единственное, что может вызвать улыбку, — тот «выговор», что Екатерина как бы адресует через Сегюра третьему сословию: тут ощущается самодержавная привычка — цыкнуть, приказать, распорядиться. Из России, где буржуазии «почти не видно», нелегко вообразить французское третье сословие, которое не обуздать...

В это время Державин подносит оду, которую читает царице вслух:

Еще же говорят неложно,
Что будет навсегда возможно
Тебе и правду говорить...

До сих пор правда была терпимой, но вскоре ей придется нелегко.

27 (16) июля: «Приехал курьер с известием, что скоро сведали в Париже о перемене министров, а особенно Неккера, то народ взволновался, взяли подозрение на королеву, разбили Бастилию; Национальная гвардия пристала к народу. Король приходил в собрание депута-



Сегюр. Литография Дюкарма по рисунку начала XIX в.

тов, из коих несколько отправились в Париж для усмирения народа, но тут и утвердили свою милицию, над коею начальник Лафайет».

Главное известие наконец пришло в Россию. Екатерина вместе с Храповицким верно схватывает главное: на чьей стороне сила, кто вооружен? Недаром в короткой записке дважды говорится о Национальной гвардии. Царица столь взволнована, что через день требует к себе примчавшегося из Парижа курьера Павлова, чтобы сообщить о парижских событиях послу Сегюру, которого собственное испуганное начальство не торопилось известить о случившемся. Разумеется, Сегюр пишет в Париж, а ловкие петербургские дешифровщики тут же перлюстрируют дипломатическую почту и подносят ее царице; Екатерина, ничуть не стеснясь, берется за чтение вместе с Храповицким и с изумлением находит достаточно теплое письмо Сегюра... Лафайету!

Екатерина: «Может ли так писать королевский министр?»

Храповицкий: «Они друзья и были вместе в Америке. Да они двоюродные».

Первый урок самодержице насчет обаяния революции: по ее понятиям, граф Сегюр и маркиз Лафайет должны быть горою за Бурбонов; но они вместе дрались недавно за свободу Соединенных Штатов, они мечтают о просвещенном прогрессе в своей стране — и разве не о том же толкует уже много лет царица?

Меж тем Екатерина смеется над австрийским императором, который поздравил Людовика XVI «со счастливой революцией», снова и снова примеряет парижские события к себе, понимая и не понимая, может быть не желая понять...

Храповицкий, 24 (13) августа: «Разговор о Франции. Со вступлением на престол я всегда думала, что ферментации там быть должно; ныне не умели пользоваться расположением умов. Лафайета взяла бы к себе и сделала своим защитником».

27 лет спустя Екатерина II вспоминает *свою революцию*, 1762 год, когда на ее стороне были Орловы и другие «российские Лафайеты». Царице кажется, что уже тогда она предвидела нынешние французские события («ферментацию» — то есть брожение); Екатерина уверена, что, если б она находилась в Париже, то сумела бы воспользоваться «расположением умов»; тут, кажется, ирония, даже презрение к Бурбонам, которые того не умеют.

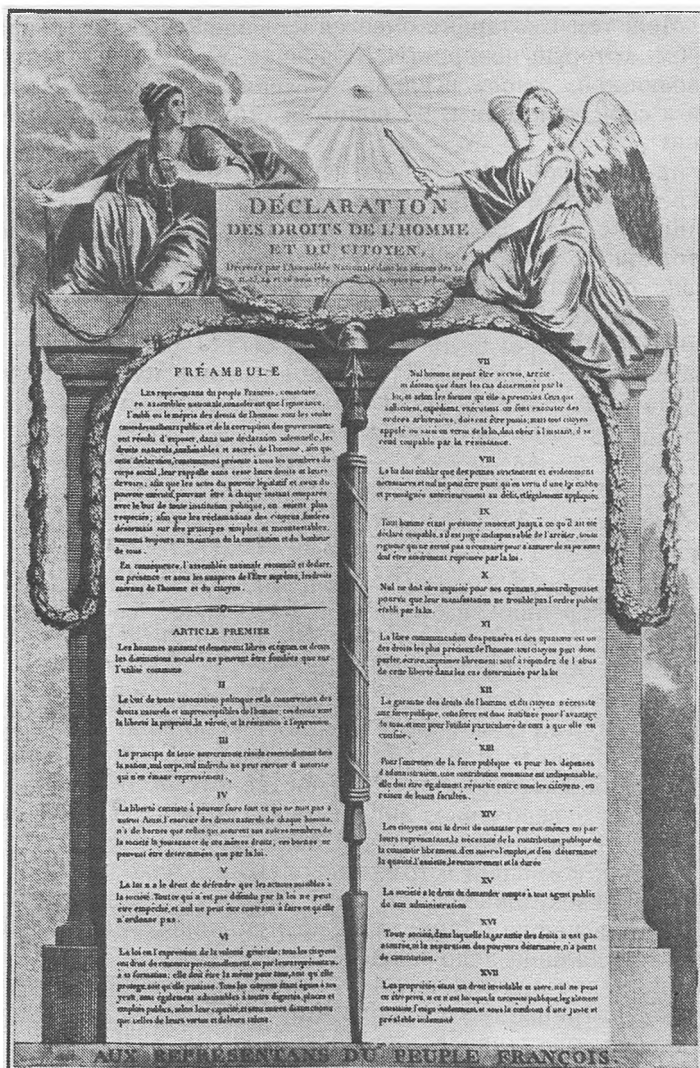
«Но что такое король? — восклицает Екатерина. — Он всякий вечер пьян, им управляет кто хочет, сперва Бретейль, партии королевиней, потом принц Конде и граф д'Артуа и, наконец, Лафайет...»

Создается впечатление, что очень неглупая русская императрица не хочет даже самой себе признаться в глубоких, серьезных причинах происходящего: спервоначалу — очень много говорит о пьянстве как источнике беспорядков, о вероятных английских интригах. О бунтовщиках: «Я считаю этих людей больными...»

Здесь и сомнения в том, насколько все закономерно, и боязнь, невозможность в одну минуту отказаться от столь привычного облика просветительницы, и ожидание того, как дальше дело пойдет...

Лишь два месяца спустя Храповицкий запишет слова императрицы: «Это вроде Карла I», т. е. французская революция вроде английской, когда казнили Карла I...

Меж тем граф Сегюр объявляет Екатерине, что собирается в отпуск, домой, а царица пытается его удержать: «Ваше расположение к новой философии и к свободе заставит вас держать сторону народа; мне это будет досадно, потому что я останусь аристократкой, это уж мой долг. Подумайте-ка; Вы найдете Францию больную, в лихорадке».



Декларация прав человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Сезюр: «Точно, я этого боюсь, государыня; но поэтому и обязан возвратиться туда».

Так глядели на события из дворца. Каковы же чувства, первые отклики других русских современников?

Сохранилось от этих дней любопытное письмо: Михаил Муравьев, просвещенный деятель, поэт, историк, пишет из Петербурга своим близким родственникам Луниным, которые находятся в сельской глуши, в Тамбовской губернии.

Вот текст послания, любопытный и по содержанию, и по авторскому настроению: «Я разделял отсюда ваши сельские забавы, путешествие в Земляное, обед на крыльце у почтенного старосты и радостные труды земледелия, которыми забавлялся помещик... Воображаю — маленькие на подушках, или на полу, или на софе. Мишенька что-нибудь лепечет: сладкие слова, папенька и маменька. Никитушка учится ходить, валяется. У Сережи в голове ищут, Фешинька *speaks english**.

Все мои надежды на мисс Жефрис, и я опасаясь, чтоб Мишенька не стал говорить прежде матушки и прежде дядюшки, который довольно косноязычен... Читаются ли английские книги, мучат ли вас «th» и стечения согласных, выговаривает ли Мишенька «*God bless you***». Английские книги (Стерн, Филдинг etc) идут к вам в Тамбов очень долго. Неужто тамбовские клячи не хотят быть обременяемы английскою литературою из национальной гордости?..

Александра Федоровича Муравьева убили крестьяне...

Город теперь занят удивительной переменою, происходящей во Франции. 7 июля там было восстание целого вооруженного мещанства при приближении войск, которыми король или Совет его хотели воспрепятствовать установлению вольности. Бастилия скрыта. Король на ратуше должен был все подписать, что требовалось Народным собранием... В Царском Селе праздники по случаю побед над шведом. Наши знамена взвиваются на струях дунайских, Василию Яковлевичу Чичагову пожалованы голубая лента и 1400 душ. Теперь владычество морей принадлежит России, как владычество сна и чепухи... Мы видим победителей и градобрателей, и они воздыхают по счастливому преимуществу ничего не делать...

* Говорит по-английски (англ.).

** Благослови вас господь (англ.).

Я желаю мира, но это так стыдно, что иной подумает, что я трус.

Третьего дня представляли в Эрмитаже «Правление Олега», великолепнейшее зрелище: 700 актеров, то есть большая часть солдат преображенских... На маскараде танцевал я со старшей Голицыной, известной в Париже «*Venus en soléе**». Вчера — на английском балу, позавчера — именины до смерти, сегодня мы обедали в Красном кабачке, и может быть, письмо сие иметь будет некоторый остаток впечатления, которое обед сей произвел над нами... В театре сегодня надеюсь увидеть трагедию «*Pierre le cruel***». Счастливые люди, которых занимают такие бредни,— скажет Сергей Михайлович. Гаврила Романович Державин кланяется вам. Вы знаете, сколь живое участие он в вас приемлет... Коновницын послан наместником в Архангельск, Лопухин в Вологду, Каховский — в Пензу, Кутузов — в Казань, Рылеев — в здешние губернаторы. Державин, Храповицкий, Васильев, Вяземский — в сенаторы...

А Мишенька и Никитушка — на палочках верхом...

В Швецию отправляется послом Игельштром, и скажут, что король пожаловал его графом и кавалером Серафима. Вы видите, что каждого возраста есть игрушки. Каждый имеет свою палочку, на которой верхом ездит... Будьте очень богаты, чтобы я вам помог прожиться. Я научу играть в карты Мишеньку и влюбляться Никитушку...»

Любопытное послание.

Французские новости, как видим, переданы между прочим, с неверной датой восстания. Куда большее место занимают в письме новости литературные, театральные, светские, служебные; победы над шведами звучат куда громче, чем падение Бастилии. Письмо Муравьева отличается спокойная уверенность, что в общем все идет на лад, что нужно делать свое дело и со временем просвещение и нравственность преодолют рабство и невежество... Правда, крестьяне убили родственника, Александра Федоровича Муравьева, но это, наверное, горькое и досадное исключение: просвещенный человек может и должен жить в согласии со своими рабами, как это, очевидно, у милых Луниных.

* Гневная Венера (фр.).

** «Пьер жестокий» (фр.).

В Париже 14 июля 1789 года чернь штурмует Бастилию — на берегу крохотной русской речки Ржавки Миша Лунин гарцует на палочке и учит первые английские слова. Какая связь? Внешне — ничего общего... Знал бы Михаил Муравьев, что и в жизни маленького Миши, и в биографии двух детей автора письма, которые родятся только через несколько лет, — в их судьбах огромную, роковую роль сыграет революция во Франции, не сразу, через десятилетия — но сыграет...

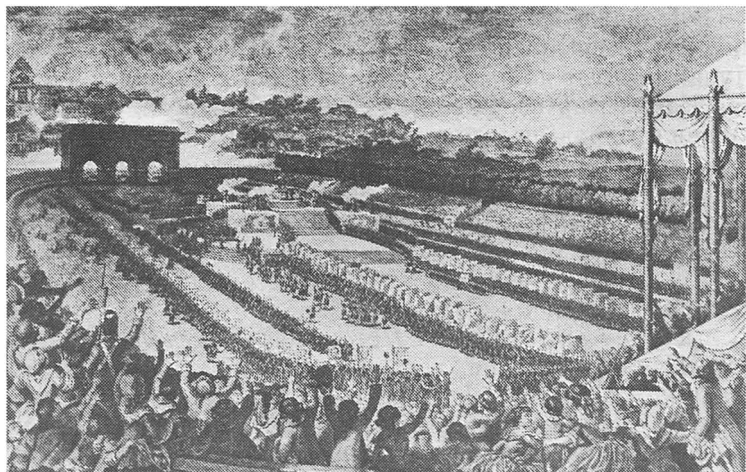
Пока же из Франции идут новости, слухи, движутся депеши.

Симолин из Парижа в Петербург, 9 октября 1789 года: «Новое восстание, трагические и гибельные последствия которого неисчислимы, повергло Париж и Версаль в ужас. В понедельник утром 5-го этого месяца несколько сотен торговков, величаемых теперь «дамами рынка», рассеялись по городу и принудили идти за собою попадавших им навстречу женщин...

Женщины хотели ворваться в апартаменты королевы, против которой они, по-видимому, имели злодейские намерения. Один гвардеец королевской охраны, стоявший в карауле, начал стрелять, убил и ранил нескольких женщин и одного гвардейца из буржуазной гвардии. Этому гвардейцу и еще одному отрубили головы, посадили их на пики и отправили в Париж. Я их встретил на полдороге от Версаля; пять других гвардейцев охраны сделались жертвами народной ярости и были бы также убиты, если бы сам король не попросил пощадить их. В четыре часа утра с понедельника на вторник толпа этих бешеных женщин, среди которых, как говорят, были переодетые мужчины, взломала ударами топора несколько дверей со стороны оранжереи, чтобы проникнуть в комнату королевы, где она почивала; ее величеству пришлось поспешно спасаться, почти в одной сорочке, в комнату короля...

Папский нунций встретил в Севре процессию с отрубленными головами, его карета была остановлена. Он почувствовал себя дурно и вернулся обратно. Эта же процессия пропустила меня, не остановив и не сказав ни слова».

6 ноября 1789 года: «Недостаток муки начинает снова чувствоваться в Париже. Во вторник и среду была давка у дверей булочных, хотя они делали семь выпечек вместо пяти, как обычно, и вчера я не имел хлеба ни для себя, ни для своих домашних».

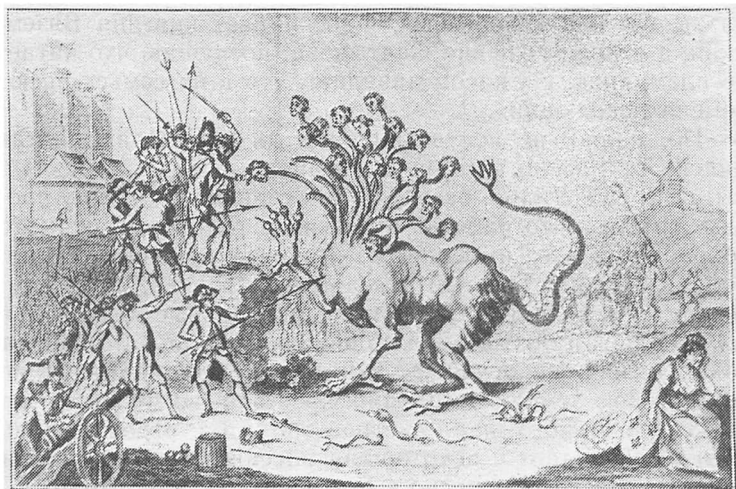


Праздник Федерации на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 г. *Гравюра Эльмана по рис. Монне.*

9 июля 1790 года: «Марсово поле представляет собой уже несколько дней самое необычное зрелище. Амфитеатр, возводимый по всей его окружности, оставался незаконченным, несмотря на непрерывную работу от 12 до 15 тысяч рабочих. Граждане, из опасения, что эта большая работа не будет выполнена к назначенному сроку, взялись однажды вечером за заступы и лопаты, чтобы помочь рабочим. На другой день стечение народа стало еще многочисленнее, можно было видеть людей всех сословий, всех возрастов, нарумяненных женщин в шляпах, украшенных перьями, кавалеров ордена св. Людовика, священников, монахов,— все они поспешили принять участие в этих работах.

Таким образом, более 40 тысяч человек занято теперь сооружением этого обширного амфитеатра».

Тираж двух главных русских газет, санкт-петербургских и московских «Ведомостей», не превышал обычно тысячи экземпляров; но к началу 1790 года у петербургской газеты уже две тысячи, а у московской — четыре тысячи: рекордные цифры! В других городах газет нет (заведутся только через полвека), но десятки людей переписывают новости и посылают друзьям в города, городки, деревни... И вот уж помещики в лесной глуши об-



«Поверженная тирания». Карикатура эпохи Революции.

суждают парижские события; и на Волге — вблизи тех мест, где скачет на палочке пятилетний Миша Луний; и в штабе русских войск, сражающихся против Турции. А затем рукописные газеты переходят через Урал и углубляются в невообразимые пространства Сибири: знал бы Париж, как горячо и постоянно обсуждаются его новости в столице Западной Сибири Тобольске, городе, все же более удаленном от русской столицы, чем Франция; там, в Сибири, как раз в эти годы усилиями прадеда Менделеева, отца композитора Алябьева и других достойных людей выпускается журнал с эффектным названием, упоминающим две реки — ту, на которой стоит Тобольск, и знаменитую греческую, священную реку вдохновения, — журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Реверансы просвещенной монархине там естественно соседствуют с комплиментами французским свободолюбцам.

Мало того, в столичных лавках кое-где из-под полы продаются издания, пришедшие прямо из Парижа, — письма графа Мирабо, десятки острых карикатур. Случалось, несколько торговцев подписывались на одну газету, и единственный грамотный среди них читал вслух, остальные же только внимали; «глаза устают от чтения

газет, так они интересны», — восклицает княгиня Вяземская, а старая графиня Салтыкова, послушав, что читает ее племянник, с ужасом заявляет, что в их семье «зреют семена революции»...

Но, полно, не преувеличиваем ли мы? Франция так далеко от России, исторические проблемы столь различны: ведь еще Дидро, беседуя с Екатериной II, между прочим заметил, что рабство крестьян в той форме, как это сохранилось в ее империи, во Франции отменил еще король Людовик Толстый в начале XII века; положим, Дидро преувеличивал, жесткие феодальные отношения сохранялись и позже, но в общем философ прав: уже два века русский сеньор может купить, продать, заложить не только свою землю, но и своих крестьян; во Франции же ничего подобного нет — устройство этой страны лишь внешне совпадает с некоторыми российскими чертами: и там, и там абсолютизм, но в России куда более тиранический; и там, и там крестьяне зависят от владельцев, но в очень разной степени. Зато в России совсем нет такой большой промышленности с вольнонаемными рабочими, как во Франции, и почти нет третьего сословия.

Очень разные страны: в одно время они существуют как бы в разных эпохах...

И тем не менее посол Сегюр хорошо помнил: «Хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня».

В ту же пору Семен Воронцов, русский посол в Англии, написал императрице, что Пугачев, не читая французских книг, осуществлял ту же программу, что и французские бунтовщики...

Несходство — и сходство.

Дело в том, что сегодня, двести лет спустя, мы, пожалуй, при всем желании не способны почувствовать, что значила для Европы, России, для всего мира революция во Франции.

Нам возразят — разве после 1789 года не было революций, по масштабу еще больших? В 1848 году запылала вся Европа; Октябрьская революция в 1917 году потрясла мир. Все так! Но в XIX и XX веках люди как бы при-

выкли к революциям; на жизнь одного поколения их приходилось иногда по нескольку...

Иное дело Франция: нидерландская и английская революции за сто и двести лет до того были замечены куда меньше, ибо — иной масштаб, да и Европа еще не созрела, чтобы оценить новизну тех переворотов; правда, американская революция за несколько лет до французской прозвучала внушительно — но все же за океаном; все же — борьба с иноземными захватчиками.

14 июля 1789 года прогремело тысячекратным эхом, потому что взрыв состоялся в Париже, средоточии культуры и мысли, «столице мира».

Худо-бедно, после падения Римский империи 1300 лет в Европе существовал один и тот же строй: времена менялись, рыцарские латы уступали место камзолу, примитивные суденышки — многопарусным кораблям, но все же второе тысячелетие в любой европейской стране существовали короли, сеньоры, зависимый народ...

Так было всегда, и Франция была одним из самых красочных образцов «тысячелетнего царства». И вдруг — французская революция; и мир ахнул: оказывается, можно и так!

Разница цивилизаций, даже такая, как между Россией и Францией, мало теперь значила по сравнению с общим ожиданием перемен: они, разумеется, будут неодинаковыми, в зависимости от обстоятельств, — но будут! 70 лет спустя Александр Герцен запишет: «Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну 90-х годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями».

Что же будет дальше, как пойдут события во Франции и других краях?

Перелистывая сотни газетных листов, книги, письма, читая стихи Гете, Шиллера, внимательно наблюдающих за каждым изгибом революции, мы видим и слышим: многие умнейшие люди надеются, очень надеются, что, если на земле уже век просвещения, а революция началась в стране просвещеннейшей, то скоро, очень скоро все на свете устроится; са iга!

Иначе говоря, прольется *немного* крови — как в Париже 1789—1790 годов, — и короли уступят, разумные люди получают доступ к власти, расцветут наука, промыш-

ленность, торговля: человечество, как предсказывали мудрецы, приблизится к идеальному миру.

Революция с одними положительными результатами, без отрицательных, темных сторон!

Иван Симолин, по должности обязанный предсказывать дальнейший ход «французской болезни», 26 марта 1790 года извещает Екатерину II: «Только провидение может предугадать, когда Франция сможет снова занять свое место среди держав Европы. Если судить по сложившейся обстановке, то, конечно, это не произойдет в настоящем столетии, если бы даже контрреволюция, кажущаяся невозможной при существующем положении дел, перевернула все, что совершено за это время. Все в этом королевстве дезорганизовано, извращено, уничтожено, и расстройство финансов сулит банкротство фактическое, если даже о нем не будет объявлено».

Мы не имеем претензии к 70-летнему послу за то, что он не предвидит, как через два-три года армии санкюлотов разгромят коалицию всех европейских держав вместе взятых. Он иначе воспитан, русский посол: в его жизни, у десятков предшествующих поколений ничего подобного не встречалось.

И разве не столь же уверенно и пренебрежительно многие французские, английские, американские эксперты будут толковать о слабости, безнадежном положении только что победившей революции 1917 года в России?

Подобно Симолину мыслил ряд русских аристократов; впрочем, один из них, князь Александр Голицын, все же предсказывал обратное — что в случае принятия конституции и установления нового строя во Франции «нельзя беспристрастному человеку не признаться, что это государство будет наисильнейшее и придет на высочайшую степень цветущего состояния».

В России спорили, вырывали друг у друга газеты, с особым интересом читали известия, что «парижские жители поют и танцуют, а парижанки убираются опять пощегольски»; что в одежде «пунцовый цвет все еще господствующий», а молодые парижские модницы появляются «в платках и уборе по-крестьянски»; впрочем, на эти моды обрушилась та самая просвещенная княгиня Дашкова, которая 20 лет назад спорила с Дидро о рабстве. «Теперь,— писала она,— когда Париж, прежний источник мод, есть только скопище разбойников, каторжников и бунтовщиков; когда все знатные и благомыслящие сей



М. Робеспьер. Гравюра по рис.
Д.-О. Раффе. 1-я половина XIX в.

Л. Сен-Жюст. Гравюра Л. Фламана
с пастели начала XIX в.



Ж.-П. Марат. Репродукция с гравю-
ры Карона. 1-я половина XIX в.

град оставили, кто моды там издает? Кому хотите подражать? Рыбачихи суть одни дамы в Париже, женский пол представляющие, и чернь, в пагубное заблуждение приведенная, царствует».

Дашкова, однако, не всеильна. Для многих мыслящих людей Германии, Италии, Польши, Испании и России вопрос о том, что будет дальше во Франции,— отнюдь не французский, а их собственный: если все случится, как они хотят, как они предсказывали,— значит, живут правильно, смысл жизни понятен. Если же нет...

И конечно, не случайно в это самое время один русский мыслитель отправляется за границу, в Париж, за главным ответом; а другой россиянин, которому кажется, что ответ уже ясен, приносит себя в жертву...

Путешественник

Странная судьба у книг Николая Михайловича Карамзина, с которого началось наше повествование.

После возвращения из революционного Парижа он примется печатать «Письма русского путешественника». Писателю приходилось выполнять труднейшую задачу — соединить воедино свои впечатления 1790 года (время путешествия) и последующих лет (время публикации, когда уже были известны многие события, что произошли после 1790 года). Молодой литератор, происходивший из небогатой дворянской семьи и живший за счет собственного литературного труда, талантливо справился с различными трудностями, сохранив живость рассказа, искренность, максимально возможную объективность...

Позже Карамзин приобретет в России новую славу своими литературными сочинениями, а еще более — своими историческими трудами, 12-томной «Историей государства Российского».

Посмертная слава Карамзина то усиливалась, то слабела: порою критики отвергали его сочинения, оспаривая позднейшие консервативные взгляды автора; в иные годы, наоборот, читатели были склонны подойти к воззрениям Карамзина исторически, многое ему «прощая» за большой литературный талант, восхищаясь его яркой личностью.

Сегодня у нас в стране происходит, пожалуй, очередной «карамзинский бум»: 200 лет спустя этот писатель, обычно уступавший по своей известности главным русским классикам, вдруг заново оказался нужен, интересен множеству читателей. Поразительный факт — «Письма русского путешественника» в 1980-х годах переиздавались несколько раз общим тиражом более миллиона экземпляров, и тем не менее, этой книги нет в магазинах.

В чем дело? Почему столь свежими, актуальными кажутся наблюдения и рассуждения Карамзина, 23-летнего молодого человека, отправившегося два века назад в Европу наблюдать, учиться, думать?

Дело, по-видимому, не в фактах, но в авторской личности, и мы можем гордиться, что в роковые месяцы великой революции Париж посетил столь оригинальный, талантливый русский наблюдатель.

Черновых рукописей, первоначальных дневниковых записей того путешествия не сохранилось: Карамзин

предпочитал уничтожать свои бумаги, не раз опасаясь обыска, ареста в России; лишь недавно Ю. М. Лотман и другие исследователи установили, что о многих своих встречах и симпатиях писатель умолчал; при всей умеренности своих прогрессивно-просветительских взглядов — доверял сердцу, и тот, кто представлялся ему добрым, хорошим, мог занять там свое место даже вопреки острым политическим разногласиям. Только узкому кругу друзей Карамзин рассказал нечто, опубликованное через полвека (и то за границей). Оказывается, «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера, и даже его скромному домашнему обиходу, составляющему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи».

Составляя список вероятных французских знакомых Карамзина, Лотман называет Кондорсе, Рабо де Сен-Этьена, Жильбера Ромма, Лавуазье, Неккера, Сийеса, Талейрана, госпожу де Сталь, Шамфора, Фоше, Бонвиля, наконец, Робеспьера...

На страницах «Писем русского путешественника» революционная Франция представлена четырьмя месяцами 1790 года. Сначала Лион, Макон, Фонтенбло: «В 30 часов переехали мы 65 французских миль; везде видели приятные места и на каждой станции — были окружены нищими! Товарищ наш француз говорил, что они бедны от праздности и лени своей и потому недостойны сожаления; но я не мог спокойно ни обедать, ни ужинать, видя под окнами сии бледные лица, сии разодранные рубища».

И вот Париж. Многие, очень многие русские путешественники отзываются о столице Франции как бы в три приема: сначала ожидание встречи с легендой, мечтой; затем — разочарование от того, что город отнюдь не идеален: «Скоро въехали мы в предместье св. Антония, но что же увидели? Узкие, нечистые, грязные улицы, худые дома и людей в разодранных рубищах. „И это Париж? — думал я. — Город, который издали казался столь великолепным?“»

Наконец, последняя стадия — знание, понимание, новое восхищение (впрочем, не всегда — вспомним Фонвизина).

Париж, веселый Париж 1790 года: 1 130 450 жителей, в том числе 150 000 иностранцев.

Бастилии уже нет.— Войны, террора еще нет.

«В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними: *Vive la nation!** Молодой человек исполнил их волю; махал шляпою и кричал: *Vive la nation!* Хорошо, хорошо! сказали они: мы довольны. Ты добрый француз; ступай куда хочешь. Нет, постой, изъясни нам прежде, что такое... нация?

Рассказывают, что маленький дофин, играя со своей белкою, шелкает ее по носу и говорит: Ты аристократ, великий аристократ, белка! Любезный младенец, беспрестанно слыша это слово, затвердил его.

Один маркиз, который был некогда осыпан королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал им: *Que faire? J'aime les te-te-troubles*** . Маркиз заика».

Веселые разговоры, весельчак маркиз. Однако затем Карамзин вставляет несколько строк, проникнутых знанием того, что будет дальше, что станет с маркизом: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и самого злодейства.

Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться непременною действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть

* Да здравствует нация! (Фр.)

** Что делать? Я люблю мяте-те-тежи (фр.)

провидению; оно, конечно, имеет свой план; в его руке сердца государей — и довольно».

Маркиз-заика, чью судьбу «предсказывает», а на самом деле задним числом знает Карамзин, — это, очевидно, Кондорсе, принявший яд («цикуту»), чтобы избежать эшафота, уже приготовленного для него Робеспьером.

Карамзин предостерегает всех «бунтовщиков» — и его предостережение страшно не понравится 30 лет спустя одному молодому человеку; мы еще расскажем об этом споре; пока же рано, ибо молодой человек, сын того Михаила Муравьева, который столь весело писал Луниным в Тамбовскую губернию, — этот сын еще и не появился на свет...

И снова карамзинский Париж 1790 года. В городе работает 600 кофейных домов, но уже пустеют салоны, постепенно удаляются в эмиграцию аристократы.

В церкви толпа наблюдает короля и королеву: «Иные вздыхали, утирали глаза своими белыми платками; другие смотрели без всякого чувства и смеялись над бедными монахами, которые пели вечерню. На короле был фиолетовый кафтан; на королеве, Елизавете* и принцессе черные платья с простым головным убором».

Комментаторы поясняют, что и фиолетовый, и черный цвет — знак траура... Наследник престола, дофин, «в темном своем камзолычке, с голубою лентою через плечо, прыгал и веселился на свежем воздухе! Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп; все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую!»

«Любит кровь...» — фраза неожиданно двусмысленная...

В столице революции еще можно увидеть пьесу из русской жизни о любви императора Петра к прекрасной крестьянке Екатерине, которая в конце делается императрицей («вельможи» падают перед ней на колени — радостные восклицания гремят в воздухе: «Да здравствуют Петр и Екатерина!» Государь обнимает супругу, занавес опускается).

Пройдет два года, и никакие театральные русские императоры не будут выходить на парижскую революционную сцену; меж тем неподалеку разыгрывается куда бо-

* Елизавета — сестра Людовика XVI.

лее грозный, занимающий весь мир спектакль — Учредительное собрание, завершающее подготовку первой французской конституции. В том театре русский путешественник — среди постоянных зрителей; слушает, между прочим запоминает шутки; шутки самих французов о причинах революции.

Аббат Н. (имя которого до сих пор не расшифровано) — постоянный проводник Карамзина в прогулках по Парижу — сочиняет прелюбопытное эссе о Франции XVIII века (если только все это не сочинение самого Карамзина).

«Аббат Н. признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во время Людовика XIV веселились, например, в доме известной Марионы Делорм, графини де-ла-Сюз, Ниноны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои; где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразень, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено* блистали остроумием, сыпали аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса. „Жан Ла (или Лас)**,— продолжал мой аббат,— Жан Ла несчастною выдумкою банка погубил и богатство и любезность парижских жителей, превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили... о цене банковских ассигнаций, и дома, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились — Жан Ла бежал в Италию — но истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство грации, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты, академические интриги и энциклопедисты, каламбуры и магнетизм, химия и драматургия, метафизика и политика. Красавицы сделались авторами и нашли способ... усыплять своих любовников. О спектаклях, опере, балетах говорили мы наконец математическими посылками, и

* Французские поэты, писатели, эссеисты.

** Джон Ло (Жан Ла) — финансист начала XVIII века, организовавший во Франции выпуск необеспеченных бумажных денег, что привело государство к финансовому краху.

числами изъясняли красоты Новой Элоизы*. Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели — и я не знаю, к чему бы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции“».

Нереволюционер Карамзин в революционной Франции. Но он достаточно тонок и умен, чтобы понять, сколь многое из любезной ему французской культуры явилось увертюрой, предысторией революции.

Карамзин уверенно рассуждает о Тарпейской скале и цикуте, ожидающей «маркиза»; но революция, Робеспьер клянутся именем Руссо, — а разве способен молодой, чувствительный русский путешественник отречься от любимейшего писателя?

«Жан-Жак Руссо прославил один кофейный дом, Le Café de le Régence, тем, что всякий день играл там в шашки. Любопытство видеть великого автора привлекало туда столько зрителей, что полицеймейстер должен был приставить к дверям караул. И ныне еще собираются там ревностные жан-жакисты пить кофе в честь руссовой памяти. Стул, на котором он сживал, хранится как драгоценность. Мне сказывали, что один из почитателей философа давал за него 500 ливров, но хозяин не хотел продать его».

Позже, отыскивая в самых крайних проявлениях революции таинственное движение истории, заставляя себя не поддаваться ни чувству восхищения перед прогрессом, ни чувству страха перед средствами революции, Карамзин написал строки, которые по цензурным причинам не смог включить в русское издание своих «Писем».

«Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее *вижу*, но Руссо ее *предвидел*. Прочтите примечание в «Эмиле», и книга выпадет из ваших рук**». Я слышу декламацию и «за» и «против», но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Я признаюсь, что мысли мои об этом недостаточно зрелы. События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что

* «Юлия, или Новая Элоиза» — роман Ж.-Ж. Руссо.

** Руссо писал (в своей книге «Эмиль, или О воспитании»): «Мы приближаемся к эпохе кризисов, к веку революции».

революция уже окончена! Нет! Нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием. Опускаю занавес».

Наступает час прощания с Францией; молодой и мудрый путешественник, кажется, предчувствует, что больше эту страну никогда не увидит: по тем временам, тем дорогам и тем обстоятельствам такие поездки — дело нешуточное. Правда, несколько лет спустя, приходя в отчаяние от европейских и русских дел, Карамзин задумает новые многолетние странствия — в Южную Америку, Азию; однако в конце концов найдет другой способ: перемещениям в пространстве предпочтет путешествие во времени и сделается великим русским историком...

Карамзин прощается:

«Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной; смотрел на твоё волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры — и не спорил... Я не умел описать всех приятных впечатлений своих, не умел всем пользоваться, но выехал из тебя не с пустою душою: в ней остались идеи и воспоминания! Может быть, когда-нибудь еще увижу тебя и сравню прежнее с настоящим; может быть, порадуюсь тогда большею зрелостию своего духа или вздохну о потерянной живости чувства. С каким удовольствием взойшел бы я еще на гору Валерианскую, откуда взор мой летал по твоим живописным окрестностям! С каким удовольствием, сидя во мраке Булонского леса, снова развернул бы перед собою свиток Истории, чтобы найти в ней предсказание будущего! Может быть, тогда все темное для меня изъяснится; может быть, тогда еще более полюблю человечество; или, закрыв летописи, перестану заниматься его судьбою...

Наконец, скажу вам, что, выключая мои обыкновенные меланхолические минуты, я не знал в Париже ничего, кроме удовольствий. Провести так около четырех месяцев есть, по словам одного английского доктора, выманить у скупой волшебницы Судьбы очень богатый подарок. Почти все мои земляки провожали меня, и Б., и барон В. Мы обнялись несколько раз прежде, нежели я сел в дилижанс. Теперь мы ночуем, отъехав верст 30 от Парижа. Душа моя так занята прошедшим, что вообра-

жение мое еще ни разу не заглянуло в будущее; я еду в Англию, а об ней еще не думаю».

Карамзин возвращается домой, в Россию, другим человеком: добрый, мягкий, чувствительный, он прошел целый огромный курс истории, стоивший многолетних спокойных размышлений; позже Тютчев скажет:

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые,
Его призвали всеблагие, как собеседника на пир.

Друзья, не видевшиеся с Карамзиным всего полтора года, изумлялись происшедшим в нем переменам, и вот их отзывы:

«Я всякий день его вижу, но вижу не того, который поехал от меня. Сердце его сто раз было нежнее и чувствительнее...»

«Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла французская революция?»

Последние строки, принадлежащие известному мыслителю и масону Алексею Михайловичу Кутузову, конечно, очень замечательны. Во многих людях в разных странах происходила в ту пору *французская революция* — со всеми ее подъемами и спадами, надеждами и разочарованиями, с ее добром и кровью...

Летом 1790 года, когда Карамзин возвращался морем в Петербург, число жертв французской революции было еще не очень велико: несколько убитых защитников Бастилии, отрубленные головы королевских охранников. Французская революция, происходившая в немалом числе российских людей, также не могла обойтись без жертв. Первой из них, по удивительному совпадению, сделался ближайший приятель Алексея Кутузова, которого мы только что цитировали; расправа с ним произойдет именно за книгу, посвященную ему самому А. М. К. Случится же это печальное событие как раз в те дни, когда Карамзин снова вступит на русскую землю.

«Многих виселиц достоин...»

В любом, наверное, крупном советском городе имеется сегодня улица Радищева; портрет этого человека известен любому школьнику. Меж тем, размышляя над его биографией, мы удивляемся, как много было у него дан-

ных, чтобы стать не тем, кем стал; и с каким неукротимым упорством он выбирал судьбу.

Известия о взятии Бастилии совпали с его 40-летием: по тогдашним понятиям, это был куда больший возраст, чем теперь. Он старший сын богатейших приволжских помещиков, которому предназначалось наследство в виде сотен крестьянских душ; впрочем, родители были люди добрые (не здесь ли корень дальнейших причудливых событий в биографии их сына?) — во время Пугачевского восстания, когда всех помещиков в том краю хватили и вешали, родителей Радищева их крепостные сберегли: измазали им лица сажей, одели в крестьянскую одежду...

Отец и мать, естественно, дали сыну образование — в 13—15 лет он уже знал Вольтера, Руссо, владел несколькими языками. Такие люди поначалу были очень нужны Екатерине II, и юный Александр Радищев вскоре попадает в число ее пажей. То была должность, о которой мечтали сотни дворянских фамилий; многие затем занимали государственные посты, делались губернаторами, министрами. У нас нет никаких данных, говорящих о том, будто Александр Радищев с первых минут возненавидел Екатерину, стал мечтать о революции или о чем-нибудь подобном: наоборот, умная, просвещенная императрица, по всей видимости, ему импонировала, вызвала желание помогать в деле усовершенствования России.

Вместе с несколькими другими способными дворянскими юношами Радищева отправляют затем в Лейпциг, для достижения высочайших ступеней знания, необходимых государству. В Германии он становится европейски просвещенным человеком (кстати, именно в эти годы в Лейпцигском университете обучается и Гете). 22-летний Радищев возвращается в Россию, быстро продвигается по службе, награждается орденом и затем возглавляет главную в империи петербургскую таможенную. Люди, занимавшие подобные места, обычно легко сколачивали миллионное состояние, и, возможно, поэтому за Радищева охотно отдали Анну Рубановскую, знатную девицу, обучавшуюся в Смольном институте, которому, как известно, особо покровительствовала Екатерина II.

Миллионером Радищев, однако, не стал, так как служил с честностью, для России столь необычной, что вызывал гнев и недоумение большинства чиновников. Служба зато позволила ему познакомиться с разными



А. Радищев. Миниатюра.

сферами русской жизни, разгадать механизм бюрократического всевластия, стать свидетелем публичной продажи крестьян, тяжкого обряда насильственного превращения их в солдаты (лишь половина здоровых молодых мужчин доживала до конца 25-летней службы). Свое негодование, которым Радищев делился с несколькими друзьями (в их числе Алексей Кутузов), он пытался смягчить надеждами на то, что просвещение со временем все улучшит.

Внезапно он теряет любимую жену и теперь отвечает за будущность четверых детей-сирот...

Однако именно тогда, когда обстоятельства, казалось бы, допускали лишь бунт внутренний, Радищев находит, что это было бы бесчестно и безнравственно. Свою главную книгу он пишет в течение почти 20 лет, в 1770—1790-х годах.

Много лет спустя специалисты заспорили о причине, толкнувшей Радищева на героические самоубийственные поступки. Одни настаивали, что он целиком находился под впечатлением тяжелой российской действительности и совершенно не зависел от западного влияния; другие резонно указывали, что всякий мыслитель связан многими линиями и со своим народом, и с мировой культурой. Влияние Дидро, Рейналя, Мабли и других горячих просветителей не только не принижает значение подвига — наоборот, доказывает, что Радищев находился на уровне мировой мысли, лучших мыслителей.

«Путешествие из Петербурга в Москву»: 700 верст, разделяющих две русские столицы, путешественник в ту пору преодолевал примерно за трое суток. По дороге он

проезжал мимо 25 почтовых станций,— и книга Радищева как раз разделена на 25 глав.

25 глав — 25 историй, отрицающих оба столпа, на которых держится российский строй,— крепостное право и самодержавие: пророчество, что революция у ворот, и *некто* (сам Радищев или другие) вот-вот ускорит «мах времени» — и тогда рухнет российская Бастилия.

Высказывалась гипотеза, будто Радищев, публикуя столь смелые страницы, надеялся на «просвещенную мягкость» Екатерины, прежде разрешающей печатать довольно острые вещи, особенно переведенные с французского. Однако свой труд писатель завершает как раз в ту пору, когда царица перестает быть добродушной.

Книга была в основном готова еще в начале 1789 года, за несколько месяцев до штурма Бастилии. Радищеву удалось обмануть петербургскую полицию, не привыкшую разбираться в подобного рода литературе: бегло перелистав книгу и не придав значения какому-то «путешествию», полицмейстер выставил на ней цензурное разрешение; Радищев же и после того еще добавил несколько отрывков, которые, мы угадываем, родились уже под гром парижских событий; одновременно в 1789—1790-м, будто чувствуя, что недолго осталось жить на воле, он завершает еще несколько трудов. В частности, без имени автора вышло в свет то самое «Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске», где были смелые мысли о царе Петре. В самом конце брошюры читатели находили прелюбопытные строки: «Но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сядя на престоле»; к этим словам Радищев добавил примечание: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли».

Иначе говоря, единственное исключение из правила — Людовик XVI!

Автор как бы подмигивает русскому читателю, хорошо понимающему, отчего столь уступчив король Франции; рядом же воздается куда более искренняя хвала другим людям: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народной. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожи-

дают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние горше самой смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Питт; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие».

Рядом с древними свободолюбцами (Цицерон, Демосфен) и знаменитыми английскими политиками прямо прославлен первый трибун революции, ненавистный царице Мирабо; но, понятно, Радищев говорит и о себе: это ему предстоит сейчас выйти на «лобное место», — и как можно быть *посредственным*?

Более того, даже Мирабо и Национальное собрание он критикует «слева» за то, что они все же препятствуют распространению особенно мятежных революционных сочинений, вынудили, например, Марата временно уйти в подполье: «Народное собрание поступает столь же самодержавно, как прежде их государь... О Франция, ты еще ходишь близ бастильских пропастей!»

Июньским днем 1790 года в книжной лавке петербургского купца Зотова выставлено на продажу 26 экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву»; имени автора на титульном листе не было. Сверх того еще несколько экземпляров Радищев разослал друзьям и нескольким просвещенным вельможам: том был напечатан в домашней типографии тиражом примерно в 600 экземпляров.

Несколько дней спустя по городу пошел слух о странной, необыкновенно смелой книге. Полиция не успела спохватиться, как полицмейстера уже вызвали к царице. Книга лежала на столе Екатерины II, услужливо доставленная кем-то из придворных. Начав читать, царица сразу поняла, в чем дело, и потребовала разыскать автора...

Экземпляр с пометами Екатерины II сохранился; царица сразу же отметила наиболее опасные места. Там, где автор взывает к освобождению крестьян, — она пишет на полях: «Никто не послушает!»

Иначе говоря, дворяне не поддержат радищевскую идею.

Чуть ниже Екатерина замечает: «Автор клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства... Сие думать можно, что целит на французский развратный нынешний пример... Царям грозитя плахою».

Чем дальше, тем царица злее: прочитав строки о *славных парижских ораторах*, делает помету, явно отно-

сящуюся и к ненавистному ей французу, и к дерзкому русскому: «Тут помещена хвала Мирабо, который не единой, но многих виселиц достоин».

Царица просто не знает, с кем еще можно сравнить ненавистного *путешественника*; многое им взято «из разных полумудрецов сего века, как-то: Руссо, аббат Рейналь и тому гипохондрику подобные»; мало того, Радищев «хуже Франклина», наконец, — «бунтовщик хуже Пугачева!»

Высшая власть заметила к этому времени и «Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске». Начальственная рука начертала резолюцию: «Давно мысль его (Радищева) готовилась ко взятому пути, а французская революция его решила себе определить в России первым подвизателем».

Екатерине только непонятно, зачем автор идет на столь верное самоубийство? 30 июня 1790 года Радищева арестовывают и доставляют в крепость: четверо детей ждут решения участи отца; сестра умершей жены, Елизавета Рубановская, чуть не каждый день проникает в крепость с дорогими подарками следователю и тюремщикам. Радищев ждет...

Из записей императрицы мы видим, что у нее были три версии, объясняющие, почему столь благополучный, солидный человек повел себя так странно. Во-первых, сумасшествие; во-вторых, обида, что раньше, когда был пажом, имел доступ ко двору, а теперь не имеет. По третьей гипотезе, Радищев искал способ прославиться, получить писательскую известность.

По совету опытных друзей Радищев соглашается с третьим объяснением: да, все дело в ущемленном честолюбии... Разве мог он объяснить недоумевающим судьям, что можно иметь крепостных и желать, чтоб их не было; можно быть знатным и мечтать об отмене привилегий; можно пользоваться щедротами абсолютизма и отрицать его право на существование? Судьи не поймут, не поверят: в России было много буйных, своевольных дворян, свергающих одних царей и возводящих на престол других; однако ни один до сей поры не отрицал права «благородного сословия» на существование. Этого, правда, хотел Пугачев, но он ведь — неграмотный мужик.

Не было даже статьи, по которой можно было осудить Радищева, он ведь первый в русской истории революцио-

нер (не считая, конечно, «революционера на троне», царя Петра).

Долго думал специальный суд, как наказать Радищева, и в конце концов придумали необыкновенную формулу: надо бы приговорить к смертной казни; но так как, по мнению судей, одной казни за такие преступления мало, — а как увеличить наказание, они не ведают, то передать общее рассмотрение вопроса императрице.

К «смертной казни» путем сожжения была приговорена и радищевская книга.

Несколько недель писатель ждал смерти, пока наконец не узнал, что по случаю мира со Швецией его «прощают» и ссылают в Восточную Сибирь сроком на десять лет.

Сопровождаемый громом новых известий, идущих из революционной Франции, Радищев в цепях едет на восток, и дорога продлится около года.

Меньше пятнадцати экземпляров его книги чудом сохранится в библиотеках России и Запада; зато по стране пойдут списки, десятки и сотни копий «Путешествия». Любопытно, что к некоторым рукописям переписчики добавляли сверх того тексты, пришедшие из революционной Франции: так и переходили из рук в руки эти причудливые гибриды российского и французского вольнодумства...

Революции едва год от роду; первые жертвы принесены. Очень многие впереди.

Последние донесения

Иван Симолин отправил всего около тысячи донесений из Парижа в Петербург; но чем дальше, тем яснее, что уж слишком «щекотливые» подробности он обязан сообщать Екатерине II; и скоро она не вытерпит, прекратит, отзовет.

6 мая 1791 года: римский папа Пий VI осудил революцию в специальной булле; революция на это отвечает, и посол свидетельствует: «Римский двор неудачно выбрал момент для своих угроз и метания молний против новой доктрины. Он будет очень удивлен, узнав о расправе, уже учиненной над буллой в прошлый вторник в саду Пала-Рояля. Там установили изображение Пия VI — большой манекен, одетый в белый стихарь, обшитый кружевами, в



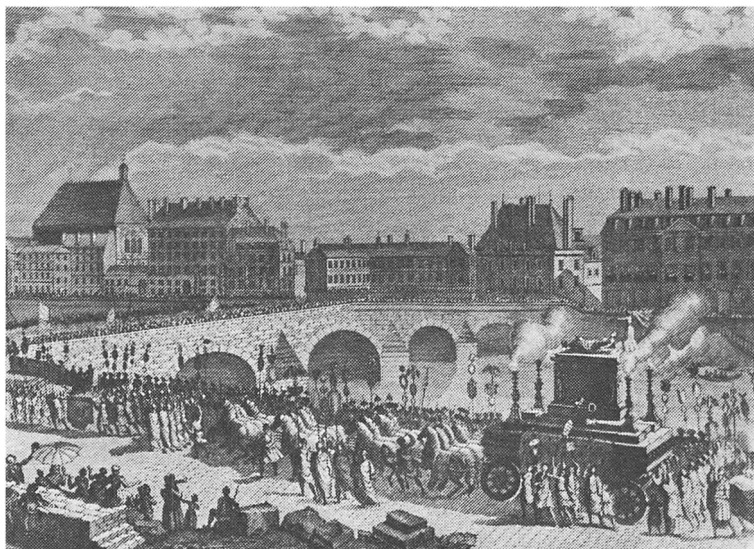
«Пробуждение третьего сословия». Карикатура эпохи Революции.
Эстамп.

красную мантию, окаймленную белым мехом, с такой же шапочкой на голове и в малиновых туфлях. На пальце у манекена было пастырское кольцо и на его груди — наперсный крест. Один из присутствующих прочел обвинительную речь от имени нации против представленного здесь папы...

Здесь манекен понесли к цирку, там к нему прикрепили две надписи: одну спереди — со словом *фанатизм*, другую сзади — со словами *гражданская война*; вместо пастырского кольца манекену вложили в руку кинжал. В то время как складывали костер из соломы, люди, вооруженные палками, наносили ими удары по голове манекена и, наконец, он был сожжен вместе с буллой при радостных криках собравшихся».

Симолин из Парижа, 15 июля 1791 года: «В понедельник состоялось перенесение праха Вольтера. Процессия отправилась в 4 часа с площади Бастилии, и был установлен следующий порядок шествия.

Впереди отряд национальной кавалерии, депутация от якобинского клуба, школ, секций, братских обществ и т. д., и т. д.



Похороны Вольтера. Гравюра. 1810-е гг.

Далее несли один из камней Бастилии с высеченным на нем профилем Мирабо. Затем — на носилках золоченую статую Вольтера, окруженную триумфальными знаменами наподобие того, как у римлян. За статуей — собрание сочинений Вольтера в ларце, имеющем форму ковчега.

Наконец, двигалась колесница с прахом Вольтера, запряженная шестнадцатью конями белой масти по четыре в ряд; на колеснице был установлен саркофаг с навевающими скорбь изображениями старости и смерти.

Национальное собрание, департамент Парижа, муниципалитет, Академия, писатели сопровождали колесницу, окруженную почетным эскортом лиц, одетых, в подражание грекам, музами и жрецами Аполлона.

Носилки со статуей Вольтера, изображенного сидящим в кресле, остановили в первый раз у дверей Королевской музыкальной академии. Г-н Шерон увенчал статую лаврами, г-жа Понтейль сделала то же, поцеловав ее.

Г-н Байи шел за колесницей под гром аплодисментов, расточаемых Вольтеру; каждое проявление общественно-

го энтузиазма он принимал с выражением растроганности, признательности и учтивости, так что можно было подумать, что он заблуждается и принимает их на свой счет.

В четверть 8-го колесница остановилась против дома г. де Виллета. Облако цветов покрыло ее; пели гимны, бросали гирлянды и венки.

Другая остановка — у театра Французской комедии; опять те же почести, та же пышность.

Наконец, довольно поздно процессия прибыла к церкви св. Женевьевы. На этом последнем переходе ее промочил дождь, что набожные люди истолковали по-своему.

Чувства, вызванные проведением этого праздника, различны. Те, кто всегда порицают все, что не они придумали, утверждают, будто этой церемонии, жалкой в своих деталях, не хватало цельности, торжественности и достоинства; что смешение современного с античным, поскольку это имело место, придавало шествию смешной вид и что Вольтер был бы более почтен, если бы его останки были просто положены, как останки Декарта, в последний приют, предоставленный ему его родиной».

История перенесения праха Вольтера в Пантеон известна по многим воспоминаниям; однако каждый рассказ, даже самый пристрастный, имеет свою ценность, неповторимость. В частности, любопытно наблюдать (и здесь, и в других донесениях), как старик Симолин, с юности привыкший почитать Вольтера и помнящий, что Екатерина называла того своим учителем, не всегда может найти должный тон между почтением, уважением, — и необходимым по нынешним временам возмущением французскими делами: того, что ждут от него в Петербурге.

Революция продолжается, продолжают и донесения.

Париж, 18 июля 1791 года: «В пятницу 15-го, когда кончилось заседание и депутаты хотели покинуть зал, они были окружены огромной толпой, теснившейся к дверям. Наиболее достойных членов встретили оскорблениями и угрозами. Многие вынуждены были вернуться в зал, другие прошли боковыми выходами. Фонарь! Отрубленные головы! Пики! — казалось, все ужасы, на которые способна разгоряченная чернь, готовы были возобновиться.

В это самое время Марсово поле заполнилось гражданами, возбужденными против самого духа Национального собрания и выставлявшими лишь два требования: обновление состава законодательного собрания и обновление исполнительной власти. Эта скромная петиция сопровождалась очень явно выраженным желанием возвести Робеспьера на трон Генриха IV. Г-н Робеспьер — король французов!»

Париж, 16 сентября 1791 года. Открывается Законодательное собрание: «Речь, с которой г-н Туре, руанский адвокат, занимавший кресло председателя, обратился к королю, была в высшей степени неуместна и заслужила всеобщее неодобрение... Незадолго до прибытия короля он предупредил Собрание, что достоинство законодательного корпуса требует, чтобы каждый депутат сел и надел шляпу, когда король начнет произносить свою присягу. Преувеличенная поспешность, с которой сам он сел, так удивила монарха, который этого совершенно не ожидал, что он с некоторым жестом презрения тотчас также сел; это так поразило Собрание, что в ту же минуту раздался гром аплодисментов, и все, хотя и продолжая сидеть, остались с непокрытой головой...

Общественное настроение в этот первый момент довольно благоприятно. Если их величества воспользуются этим — не упустят случая появляться на спектаклях и тотчас же используют предоставленную им свободу выезжать по желанию в свои загородные дворцы, то народ легко убедится в искренности их намерений, и они с успехом используют всеобщий энтузиазм.

Принцесса Елизавета, высокомерная ханжа, не может себя заставить признать новое положение вещей и не проявлять своего недовольства, которое достигло такой степени, что королева вынуждена была третьего дня запретить своей маленькой дочери беседы с ней наедине».

Послу, кажется, очень хочется, чтобы Франция успокоилась. Сколь он ни предан своей императрице, но понимает узость, глупость, ханжество королевского двора и как бы советует быть хитрее, гибче...

Однако события слишком стремительны. Все чаще Симолин прибегает к шифровке своих депеш; в частности — пересылая в Петербург 30 ноября 1791 года записку сторонника королевской власти, известного мореплавателя адмирала Бугенвиля (того, чьи рассказы о «райской жизни» на островах Тихого океана вдохновляли

мечты Руссо и других утопических просветителей): «События чередуются и набегают одно на другое, как волны моря. Каждый день замечателен тем, что он вскрывает назревший кризис, и те шесть месяцев, которые нам предстоит пережить с настоящего момента до середины будущего года, будут решающими для французской монархии, а может быть, и для Европы. Любой план, предложенный неделю назад, уже требует изменений в некоторых своих частях, и каждая истекшая неделя повлечет за собой необходимость видоизменения плана, который мы представили бы сегодня. Выйдем за пределы замкнутого нашего горизонта и постараемся взглянуть с птичьего полета на создавшееся положение. Необходимо рассмотреть его с точки зрения внутренних и внешних дел...

Я вижу в настоящий момент во Франции только одну главенствующую партию — партию республиканцев, или якобинцев, потому что все клубы, носящие это название, придерживаются теперь республиканских принципов, и вследствие отхода, разочарования или бездействия других партий, эти якобинские клубы управляют Собранием и Францией».

Бугенвиль, опытный моряк, верно сравнивает революцию с морем; он же хорошо различает, каким курсом движутся главные события: надежды Симолина и других, что руль будет слушаться короля, иллюзорны. Твердо произнесено то слово, которое вскоре распространится по миру и войдет в русский язык навсегда, как будто оно в нем изначально было: *якобинцы!*

Последние недели и месяцы проводит императорский посол в столице революции.

Париж, 2 января 1792 года: «Вчера, в день Нового года, был обычный прием при вставании короля, прием у королевы и у принцессы Елизаветы; затем парадный обед. Герцог Орлеанский появился в Тюильрийском дворце, когда их величества были у обедни. Все сторонились от него, как от зловонного животного; публика встретила его чуть ли не свистом и оскорблениями, когда он вошел в галерею, где был сервирован обед у короля.

Люди, которых называют оборванцами, бывшие его приверженцы, теперь относятся к нему с крайним презрением».

Герцога, родственника короля (и между прочим отца одного из будущих королей Франции, Луи-Филиппа), во дворце презирают за то, что он примкнул к революционе-

рам, даже к якобинцам, и называет себя теперь гражданин Филипп Эгалите (то есть «Равенство»).

Королю, королеве и гражданину Филиппу Эгалите еще удастся прожить только что встреченный 1792-й год, но никому из них не пережить 1793-го.

Разумеется, русский посол имел ясные инструкции — всячески помогать монархии, и мы не станем утверждать, что он не старался. Другое дело, что для удачи его стараний не хватило...

Депеши Симолина, изданные 50 лет назад советскими историками, открывают, что еще весной 1790 года он сумел завербовать тайного агента прямо в недрах министерства иностранных дел, тот доставил шифр, который употребляло французское посольство в Петербурге при переписке со своим начальством, а также особый шифр, которым министр пользовался для переписки с Петербургом. Мало того, расторопный чиновник вскоре прислал Симолину вообще все тайные шифры, связывавшие Париж с посольствами в других странах. Предатель просит 10 тысяч ливров, и Симолин торопится послать чиновника Машкова как бы в отпуск в Петербург, чтобы поскорее и надежнее доставить туда эту сенсационную информацию...

А несколько дней спустя — другая радостная для царицы новость. «Посредством денег, — извещает посол, — можно получить все от депутатов, управляющих Францией»; согласен брать русские деньги популярный депутат епископ Оттенский, господин Талейран; более того, «господин де Мирабо не недоступен для этой приманки».

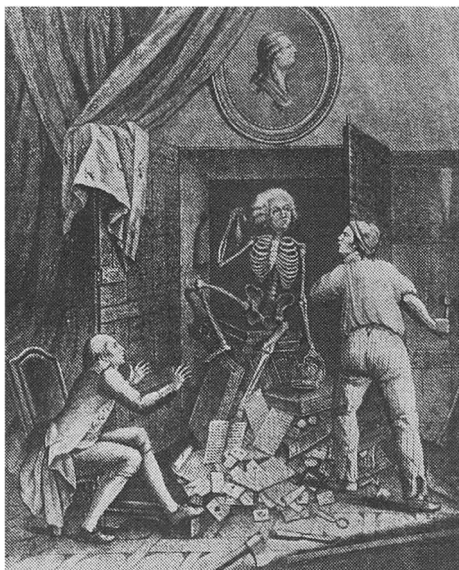
На полях сохранившейся депеши Симолина против этих слов собственноручная помета Екатерины II: «Проявить щедрость, если он не умер».

Мирабо успел получить «тайные деньги» только от французского короля, смерть помешала послужить Екатерине, мечтавшей (на полях книги Радищева) о множестве виселиц для этого человека.

Продавались отдельные революционеры, не продавалась революция.

Зато в Петербурге, благодаря обретенным секретным шифрам, стали накапливаться тайно прочитанные французские дипломатические депеши из русской столицы в Париж.

Граф Сегюр меж тем покидает свой пост; вместо него остается молодой поверенный в делах Эдмон Женэ. Ори-



Призрак Мирабо в сейфе Тюильри. Гравюра.

гинальные, странные черты этой личности весьма характерны для романтической эпохи надежд и переворотов. Молодой человек «из хорошей семьи»: его сестра — приближенная королевы Марии-Антуанетты; он сам прославился, в 14 лет переведя (с комментариями!) историю Эрика XIV — трагического, странного шведского короля XVI столетия, затем Женэ — секретарь одного из братьев короля; в возрасте двадцати с небольшим лет он — второе лицо во французском посольстве при дворе Екатерины II, затем — фактически представляет в Петербурге революционную Францию. Вскоре царица узнает, что молодой дипломат присягнул новому Парижу, что он жертвует немалые деньги национальной гвардии: притягательная сила революции огромна.

Царица со смешанным чувством тревоги и злорадства читает депеши Женэ своему министру, которые легко расшифровываются петербургскими «мастерами». Тревога, потому что Женэ пишет в Париж строки дерзкие, зажигательные: «Я люблю свободу, ненавижу насилие и правила моего поведения основываются на гражданской присяге». Екатерине особенно любопытно было узнать, что французу смешны постоянные наблюдения за ним немелых агентов полиции; что его удивляет смелость мо-

лодых офицеров, которые, узнав о подписании конституции Людовиком XVI, приходят в посольство расписаться в книге посетителей: «Я думал, что эти порабощенные люди не осмелятся даже бросить взгляд на человека, которого двор счел демократом... но я ошибся: малознакомые мне люди приветствуют меня и при встрече ласково со мною разговаривают».

Позже Екатерина узнает из отчетов Женэ подробности, которых не могли ей сообщить собственные полицейские; например, о нежелании многих воевать с Францией: «Люди говорили с энтузиазмом, что, если их сыновья, братья или родственники будут взяты на войну против французов, они будут заклинать их всем, что им дорого, чтобы они стреляли в воздух».

Женэ, которого не пускают ко двору, сообщает между прочим, что любимый внук Екатерины, 15-летний Александр, одобряет парижские преобразования (и что бабушка сама разъяснила будущему Александру I достоинства конституции, но «велела молчать!»). Более того, Женэ толкует о трех возможных типах грядущей «русской революции»: во-первых, если к власти придет мрачный, гонимый сын Екатерины, Павел I (в его печальной судьбе Женэ не сомневается); во-вторых, «революция аристократическая», при которой самодержавие будет ограничено и возникнет анархия, как в Польше; третья возможность — «крестьяне, среди которых Екатерина необдуманно распространила идеи свободы в то время, когда она так же афишировала принципы современной философии, как теперь принципы деспотизма, — крестьяне более готовы, чем думают, сбросить иго своих господ-тиранов».

Оставим в стороне некоторые горячие преувеличения, например насчет влияния на крестьян французских философских идей, но легко вычислим понятное беспокойство Екатерины.

Злорадство же царицы — месть за «неприятное чтение» — основано на том, что неопытный и легкомысленный дипломат прямо называет своих тайных агентов по именам и сообщает такие подробности секретных разговоров императрицы, что Екатерине не стоит никакого труда отыскать виновных.

То ли дело сама царица, которая нарочно послала свое письмо одному из французских принцев через Берлин, твердо зная, что немцы тайно распечатают, про-

чтут и узнают, как презрительно отзывается Екатерина об их страхе перед революционной Францией...

Мы наблюдаем любопытное психологическое противостояние престарелого Симолина и 25-летнего Женэ; старого служаки, усталого монархиста, — и горячего республиканца, патриота. Сказать по правде, революционная власть в Париже куда меньше притесняла российского посла, нежели Екатерина — французского. Особенно хотелось императрице унижить, обидеть дипломата, — но как же это сделать, если, по его убеждениям, всяческие знаки невнимания, отказ в придворных приемах ничего не стоят?

Однажды царице показалось, что представился случай поиздеваться над революционной дипломатией: с негодованием она узнает, что ее собственные предсказания насчет прежнего посла Сегюра сбылись; уехав в Париж, граф исполняет разные дипломатические поручения революционного правительства. Тут уж сама императрица берется за перо и пишет замечательную инструкцию по дипломатической части, оскорбительнее которой, ей казалось, ничего не придумать: «Я прочла в газетах и в просмотренных мною письмах, будто г. Сегюр отправляется с поручением в Берлин, и мне пришло в голову, как бы не прислали его сюда. Но так как он один из тех, и даже один из первых, которые отреклись от дворянства, то его не надо принимать. Первый способ, каким его можно было бы отправить обратно, — объявить ему в Риге, что якобы есть распоряжение не пропускать его, второй способ — это, позволив ему приехать, сказать ему затем, что буржуа не представляются ко двору, если же он привез товары, то пусть торгует, но в качестве посланника короля-пленника я не хочу и не могу его принять».

Залп пропал даром; Сегюр в Россию ехать не собирався; отказавшись от титула, он уцелел при всех бурных перипетиях французской революции, позже снова стал графом и благополучно прожил до 1830 года.

Екатерина нервничает, злится. И на революцию, и на роялистов. Среди петербургских записей ее статс-секретаря и других приближенных, в ее собственных письмах заметна злость на нерешительных, безыдейных, нерасчетливых сторонников короля. «Можно ли помогать такому монарху, который сам свою пользу не понимает?» — восклицает императрица; позже она вручит графу д'Артуа (брату Людовика XVI, будущему королю Карлу X) мил-

лион рублей и шпагу с бриллиантом, на металле которой надпись на русском языке: «С богом за короля!»; шпагу освятит в одном из петербургских храмов митрополит Гавриил. «Я бы вам не дала шпагу,— сказала императрица,— если б не была уверена в том, что вы предпочтете погибнуть, нежели отказаться ею воспользоваться»; и что же могло быть символичнее, чем заклад этой знаменитой шпаги прусским ростовщикам для оплаты новых роскошных одежд королевского брата!

«Эти люди,— гневалась Екатерина,— хотели, чтобы зажаренные жаворонки сами летели б им в рот... Они все съели и ничего не сотворили».

При всем при этом царица предпочитает, чтобы против Франции активно *действовали* все же другие государи. «У меня,— признается Екатерина своему секретарю,— много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы *они* были заняты и мне не мешали».

Предприятия — это планы раздела Польши, Турции; и все получится, если «они», то есть Австрия и Пруссия, отвлекутся на якобинцев.

Однако тут возник прелюбопытный диспут между повелителями разных империй.

Среди множества лживо-вежливых, туманных высказываний мы выделим два особенно откровенных.

Екатерина II: «Отделенная от Франции громадными преградами, я могла бы, приняв некоторые меры предосторожности и в особенности благодаря счастливому характеру народов, находящихся под моим скипетром, спокойно ждать завершения событий...»

Иначе говоря, Россия не восстанет, Франция далеко,— и лучше бы ее непосредственным соседям проявить больше активности.

Вице-канцлер Австрии Кобенцль: «Если французы перейдут Рейн, в ту же минуту все деревни от Бонна до Базеля будут за них и объединятся, чтобы убивать князей, графов и дворян, которые попадутся им под руку».

Иначе говоря, с французами опасно, страшно связываться; если у подданных Екатерины II более «счастливый характер», если у них иммунитет против «заразы»,— то именно ей следует проявить больше энергии!

Так, во взаимных упреках и подозрениях, нехотя объединялись дворы, которые за несколько лет до того были

сильно разделены различными куда менее существенными политическими проблемами. Теперь же речь шла о существовании их самих.

Екатерина в конце концов не может не вмешаться.

Паспорт госпожи Корф

Летом 1791 года королевское семейство пыталось бежать из Парижа, но в Варенне, близ границы, беглецов перехватывают и возвращают. Париж встречает «своего» монарха приказами — «казнить тех, кто оскорбит короля, и тех, кто осмелится его приветствовать». Предоставим, однако, слово Ивану Симолину, который тщательно шифрует свое донесение (и, между прочим, прилагает брошюру почтаря Друэ, опознавшего короля, — редчайшее издание, о котором полтора века не упоминали даже французские библиографические справочники): «Взрыв, который я предчувствовал, разразился скорее, чем я предполагал. План содействия выезду короля из дворца со всей королевской семьей был задуман и выполнен очень умно и в большой тайне, но не увенчался успехом. Монарх был арестован в двух милях от границы и препровожден в Мец; можно только содрогаться при мысли о несчастиях, которые грозят королевской семье, особенно королеве, рискующей стать жертвой жестокого и кровожадного народа».

Затем раскрывается любопытная история, смысл которой, впрочем, до конца неясен и сегодня; выяснилось, что королевская семья имела документы баронессы Корф (самой *баронессы*, роль которой играла воспитательница детей короля, *горничной*, то есть самой королевы, *лакея* — короля, а также — троих слуг и двоих детей). Когда это стало известно, Симолину пришлось объясняться с министерством иностранных дел французской революции. Посол признал, что «баронесса Корф — русская, уроженка Петербурга, вдова барона Корфа, полковника, состоявшего на службе императрицы, убитого при штурме Бендер в 1770 году»; получив паспорт, баронесса Корф написала затем послу, что она в ужасе, так как нечаянно сожгла полученный документ. Симолин признался, что выдал ей второй паспорт, принес французским властям извинения и назвал свой поступок «необдуманным».



Арест Людовика XVI и его семьи в Варенне. Лубочная картинка начала XIX в.

Многие специалисты считают, что все это — маскировка: посол хорошо знал, что делал, приготовив два паспорта для «Корфов». Однако — как знать? — возможно, интрига шла помимо посольства, ибо там стены имели много ушей. Так или иначе, но Симолин подробно написал в Петербург об истории с паспортами и о своих извинениях. И в ответ получил крепкий выговор:

«Ее императорское величество не одобряет своего рода оправданий, с которыми вы сочли нужным обратиться по поводу выданного по вашей просьбе паспорта, назвав употребление, которое ему было дано, когда его передали в руки короля, *необдуманным*.

Этот эпитет весьма мало приложим к обстоятельству, о котором шла речь, и если бы вы даже предоставили такой паспорт с действительным намерением оказать содействие христианнейшему королю и тем способствовали бы его безопасности, то такой поступок был бы во всех отношениях приятен ее императорскому величеству».

72-летний посол не привык получать выговоры из дворца и, в оправдание, шифрованно извещал Петербург, что министр иностранных дел Франции граф Монморен и он сам, Симолин, «едва не стали жертвами народной ярости и что только усиленная охрана спасла графа Монморена от фонаря, а его дом от разграбления. Что касается меня, то на собрании в Пале-Рояле была вынесена резолюция, подтвержденная на другой день собравшимися в Елисейских полях, — схватить меня и расправиться со мной, как с сообщником по организации бегства короля. Молодой граф Мусин-Пушкин и его друг по путеше-

ствию, услышав это постановление, требующее крови, прибежали ко мне, чтобы предупредить меня об угрожающей мне опасности. Один разумный человек из толпы восстал против жестокости такого намерения и против нарушения международного права, которому был бы, таким образом, нанесен ущерб в моем лице. Ему ответили: „Что его императрица может нам сделать?“»

Вполне вероятно, что удавшееся бегство королевской семьи ускорило бы победу левых во французской революции, усилило бы ярость и сплочение парижских низов, которые не сомневаются, что ни русская императрица, ни другие монархи *ничего им не смогут сделать...*

Получив головомойку, Симолин понимает, что любое его действие в пользу Людовика XVI и Марии-Антуанетты будет встречено в Зимнем дворце с одобрением. Однако он никак не может с глазу на глаз побеседовать с королевскими особами.

Меж тем 14 сентября 1791 года король подписывает конституцию, и посол буквально разрывается на части: должен ли он приветствовать этот королевский акт, принятый явно против королевской воли?

Ему удастся немного, но это немного представлено в Петербург с особой помпой: «Письмо ее императорского величества маршалу де Бройли от 29 октября появилось в парижских газетах. Его содержание, стиль, благородство и тонкость восхищают всех, утешают и питают надежды истинных друзей монархии и, следовательно, не нравятся республиканцам».

Легко догадаться, что письмо Екатерины II, где восхвалялись доблести французского дворянства, опоры Людовика XVI, в лучшем случае могло появиться в каком-нибудь монархическом листке (не случайно посол так и не смог приложить к своему донесению какого-либо печатного доказательства!).

Нам же этот эпизод любопытен по одному из его третьестепенных последствий, но притом столь характерному! Имя лояльного к французской монархии маршала Бройли, корреспондента царицы, отныне весило в России очень много; поэтому русское правительство охотно принимало на свою службу даже самых дальних отпрысков этого знатного рода. Среди них оказался представитель пьемонтской ветви Сильвестр де Броглио: шесть лет он учился в Царскосельском Лицее вместе с Пушкиным, затем получил офицерский чин, вернулся в Италию и... сра-

зу же принял участие в революционных событиях 1820-х годов — в Пьемонте и Греции (где, по всей видимости, и сложил голову).

Это небольшое отступление — о характерных судьбах века...

Однако вернемся в Париж конца 1791 года.

В глазах Екатерины II король Людовик XVI еще раз «теряет лицо», когда 14 декабря в Собрании будто бы искренне угрожает европейским державам, — если они будут продолжать свой натиск против революционной Франции...

Русский же посол все-таки сумел отличиться перед своим начальством по-настоящему.

Королева — императрице

Полвека назад в 29—30-м томе «Литературного наследства» был помещен полный текст, а также факсимильное воспроизведение письма Марии-Антуанетты к Екатерине II: четыре странички (королева извиняется за необычный формат листков, за то, что оканчивает письмо «без всяких церемоний», так как не знает этикета).

Тут была целая детективная операция. 2 января 1792 года Симолин докладывает в Петербург: «Недавно, когда я был приглашен на карточный вечер к королеве, она сделала мне честь подозвать меня и сказала, что желала бы побеседовать со мной, но не решается, так как окружена шпионами, которые непрестанно следят за ней; потом она добавила, что восхищается величием души императрицы и ее благородным и великодушным обращением с французским дворянством» (наверное, опять же подразумевалось письмо царицы к маршалу Бройли).

Отъезд Симолина в отпуск (а по сути, — его отзыв) создал возможность для прощального посещения русским послом королевской фамилии под вполне благовидным предлогом. Получив ряд секретных писем и пакетов, Симолин не решился доверить тайну даже шифрованной корреспонденции. Он наскоро завершает парижские дела, оставляет своему поверенному ключи к шифрам, а также явки, связи с подкупленными чиновниками; не берет много вещей, так как этим обнаружил бы, что — не вернется. Лишь за пределами Франции, из Брюсселя, Симолин по-

сылает наконец отчет в Петербург, но, ввиду его особой важности, обращается не к своему непосредственному начальству, а прямо к Екатерине II:

«Ваше величество...

В воскресенье королева предупредила меня через одного из своих секретарей, пользующегося ее доверием, что на другой день в шесть часов вечера она пришлет его за мной, что он проведет меня к ней и что мне можно быть во фраке и пальто. Ее величество приняла меня в своей спальне, и после того, как сама заперла наружную дверь на задвижку, она сказала мне, что не в силах выразить те чувства признательности к вашему императорскому величеству, которыми она и король проникнуты за вашу дружбу и благородный и великодушный образ действий; что они тронуты доказательством моей преданности и участия к ним, о чем всегда будут помнить. Она прибавила, что я застал ее за составлением писем, которые она предполагает написать вашему императорскому величеству и императору, своему брату. Она дала мне прочесть их, говоря, что, если я найду нужным что-нибудь к ним добавить, она это сделает... Она почтила меня рассказом о бегстве из Тюильри, — по ее мнению, они были преданы одной из камеристок, — затем рассказала о том, что произошло с ними начиная с 21 июня. Были моменты во время этого рассказа, когда глаза королевы помимо ее воли наполнялись слезами. После часовой беседы вошел король; он оказал мне честь, сказав, что хотел бы повидать меня наедине перед моим отъездом; он подтвердил все то, что мне ранее сказала королева, причем вкратце повторил некоторые факты. Королева сказала, в присутствии короля, что ваше императорское величество счастливы во всех своих начинаниях во время своего славного царствования и что она питает в душе уверенность, что вы будете так же счастливы в великодушной защите дела всех государей. Король одобрил ее слова и дал мне понять, что вся их надежда на вас... С другой стороны, можно смело поручиться, что, если такое положение вещей продлится еще два года, королевская власть будет уничтожена и во Франции не будет больше короля.

Король, пробыв у королевы около часа, удалился, проявив ко мне большую благосклонность и выразив желание вскоре увидеть меня вновь. Я ему ответил, что самым счастливым моментом моей жизни будет тот, когда я

смогу повергнуть себя к стопам их величеств. Прежде чем король вышел из комнаты, он и королева заметили, что они вынуждены искать и находить утешение и участие у иностранцев, ввиду исключительности своей судьбы, и оба признали, что дворянство и парламент разорили Францию и что банкротство неизбежно...

Я затрудняюсь передать вашему императорскому величеству все сказанное во время беседы, продолжавшейся около трех часов...

На мое замечание, что, быть может, причиной или поводом осторожности императора* в принятии решений является опасность, которой могла бы быть подвергнута ее жизнь и жизнь королевской семьи, она ответила, что король и его сын нужны нации, что она за них нисколько не боится, а что касается ее самой, для нее все безразлично, лишь бы они были спасены, и что она меньше боится смерти, чем жизни среди унижений, когда ей каждый день приходится пить чашу оскорблений, горечи и желчи.

Я выехал из Парижа во вторник 27 января (7 февраля) и прибыл сюда в четверг 29/9-го. После беседы с бароном де Бретейлем и графом Ферзенем**, ознакомившими меня с очень интересными письмами и документами, самым спешным делом было для меня отправить моего давнишнего слугу, преданность которого испытана, с настоящей важной депешей и наказом ему ехать с такой скоростью, какая только будет возможна в зависимости от погоды и времени года».

Любопытнейшее письмо требует некоторых комментариев.

Слуга посла по фамилии Кригер, посланный сначала с секретными бумагами в Вену, а позже отправленный в Париж за вещами Симолина, был во Франции арестован и после 9-месячного заключения гильотинирован якобинцами.

Среди бумаг, вывезенных Симолиным, находились не только письма Марии-Антуанетты к Екатерине II, но и секретная переписка королевы с некоторыми деятелями французской революции, готовыми прийти ей на помощь (например, Барнавом); эти тексты были обнаружены и обнародованы лишь в 1930-х годах!

* Подразумевается австрийский император.

** Приближенные Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Королева описывает Екатерине свое отчаянное положение, закликает императрицу не верить, что конституция принята добровольно...

Екатерина начала отвечать (черновик сохранился), но затем оставила свое намерение: не было надежных средств доставки; к тому же европейские державы никак не могли сговориться против Франции — требовалось время, которого, собственно говоря, не было...

Десять помет для памяти оставила Екатерина II на полях большого симолинского письма, которое мы только что привели: а в одном месте — опять не выдержала: принялась учить уму-разуму не только своего посла, но и тех, кто ему пытался внушить «ложные мысли»: «А вот я, например, не знаю, каким образом дворянство и парламенты разорили Францию; Людовику XVI и Марии-Антуанетте это внушают, чтобы отдалить от тех, кто служит поддержкой трона, и от той влиятельной партии, которая могла бы им помочь. Теперь они отстранили всех, кому следовало бы окружать трон, и заявляют, что около них одна сволочь». То есть я бы (Екатерина) нашла бы выход...

Тут настала пора завершить этот рассказ «моралью».

Во-первых, четверть века спустя, когда Александр I, внук Екатерины, восстановит Бурбонов на троне Франции, он неодобрительно заметит о них: «Ничего не забыли и ничему не научились». Как видно, царственный внук не был согласен с бабушкой; он полагал, что существуют серьезные, глубокие исторические уроки революции.

Однако для того чтобы русский монарх заговорил таким образом, понадобились долгие кровавые годы...

Мораль вторая — из Плутарха: «Победители угодны богам, побежденные любезны Катону». Конечно, Людовик XVI и Мария-Антуанетта не были древними римлянами; они ускорили революцию, наверное, больше, чем десяток злонамеренных философов. Они виноваты, их гибель закономерна; и столь же закономерны вздох, грусть мыслящего человека. Грусть о цене прогресса, которая всегда кажется чрезмерной; вздох о том, что в расправах над побежденными таились как успех, так и гибель революции: начав казнить, не могли остановиться...

Эта грусть, эта горечь — один из важных уроков великой революции.

Читатели и зрители, знакомясь с книгой Лиона Фейхтвангера «Вдова Капет» и разными инсценировками, сделанными по ее мотивам, сталкиваются с правотой и неправотой судящих и судимых. Учатся мыслить и чувствовать.

Жаль угнетенных французов, доведенных до крови; жаль тех, кто довел и поплатился. История же идет вперед...

Еще несколько слов о после Симолине. После 13-дневного путешествия он прибывает из Брюсселя в Вену и сообщает Екатерине II о тамошних настроениях. Симолин, между прочим, сказал канцлеру Кауницу: «Считаю французскую революцию по природе своей не имеющей примера в мировой истории... Она должна прервать обычную политику держав, чтобы объединить их на сохранение французской монархии».

Канцлер отвечал: «Я размышлял о делах Франции с хладнокровием, которым меня наградила природа. Я не понимаю, чего желают король и королева Франции: восстановления ли старого порядка вещей, что невозможно, изменения ли новой конституции, что может быть сделано только постепенно. Иностранные державы ни юридически, ни фактически не могут непрошено вмешиваться во внутренние дела независимой нации, а их самих об этом не просят.

Национальное собрание, чувствуя невозможность вступления во Францию ста тысяч человек, на что нужно пожертвовать столько же миллионов деньгами, как будто ничего не боится».

В апреле 1792 года Симолин наконец добрался до Петербурга и сделал Екатерине II подробный устный доклад о французских делах. Статс-секретарь царицы записал 17 апреля: «Сего утра с Симолиным, из Парижа приехавшим, Ее Величество разговаривали более часу... Шутили на счет Франции и, показав мне в окно на идущих солдат, сказали: „*Ils n'ont pas de piques patriotiques*“*. Я примолвил: „*Ni des bonnets rouges*“**».

Хорошо и спокойно — без патриотических пик и красных колпаков, при «счастливом характере народов, находящихся под скипетром».

* У них нет патриотических пик (фр.).

** Так же как красных колпаков (фр.); речь идет о пиках Национальной гвардии и фригийских колпаках — революционных символах.

Хорошо, спокойно, страшно.

Старик Симолин снова отправляется на Запад; несколько лет проведет в Бельгии и Германии, «на переднем крае монархического фронта», несколько раз будет спасаться бегством от наступающих санкюлотов; на 80-м году жизни окончит дни, развозя бесконечные секретные бумаги по дорогам Европы.

Перед тем как навсегда покинуть Париж, Симолин приказал всем русским, которые там живут, сделать то же самое...

Господин Очер

Среди двух десятков русских подданных в Париже, список которых составил Симолин, лица под такой фамилией не значилось.

В секретном донесении упоминалось несколько знатных особ: «князь Борис Голицын с семьей» — старший сын очень известной русской знатной дамы Натальи Петровны Голицыной (которая проживет 97 лет и будет «зарисована» Пушкиным в его «Пиковой даме»). Князь Борис вскоре вернется в Россию, где станет писателем, генералом и сложит голову на Бородинском поле.

Еще несколько знатных и незнатных лиц, можно сказать, представляющих все слои российского населения: несколько скульпторов и живописцев, бессильных выехать в основном из-за отсутствия денег; среди них Павел Соколов, автор известных работ, ныне украшающих Ленинград и его окрестности, а также профессор скульптуры Козловский (только недавно занимавшийся покупкой за 50 тысяч рублей двух статуй Микеланджело из дворца герцога Ришелье для дворца Екатерины II: революция помешала).

Рядом со сравнительно привилегированными художниками — удивительные фигуры русских простолюдинов.

38-летний Рязанов, крепостной графа Шувалова, который, согласно официальной справке, «покинул своего господина при его отъезде отсюда; тогда же поступил на службу к покойному г. графу де Верженну, министру иностранных дел, которому он служил в качестве камердинера-парикмахера до его смерти; во время революции поступил в парижскую Национальную гвардию».

Любопытно было бы проследить судьбу парижского национального гвардейца из русских мужиков; как и 40-летнего Зарина, который, покинув своего хозяина графа Бутурлина, также в свое время поступил на службу к графу де Верженну (видно, французский аристократ предпочитал русских слуг), после смерти же графа Зарин жил на ренту, оставленную ему этим господином. От того же графа Бутурлина ушел крепостной Ларивон (это всего лишь имя, но крепостные ведь очень часто не имели фамилий); прожив, как и уже названные его товарищи, около 14 лет в Париже, он в начале 1790-х служил у герцога Орлеанского (и опять можем гадать, куда занесут его бури революции, как отразятся на судьбе Ларивона якобинские пристрастия его хозяина Филиппа Эгалите, окончившиеся гильотиной). Двое русских, 30-летний Ковальков (бывший крепостной князя Трубецкого) и 50-летний Тимофей, солдат-дезертир, значатся парижанами, женатыми на француженках, имеют детей, каждый открыл во Франции свое дело...

Еще и еще бывшие крепостные, а ныне парикмахеры: один из них, Иван Соломонов, «крепостной господина Нашокина», значит, владельцем капитала в 12 тысяч ливров; другой, некий Филипп, записался во французские солдаты; наконец, 22-летний Семен, «после того как в Гамбурге ушел от своего господина, приехал морем в Бордо и поступил на службу к англичанину, которого вскоре обворовал и затем бежал в Монпелье, где чуть было не был повешен также за воровство. Возвратившись в Париж, был на службе у одного депутата Национального собрания, обворовал его и уехал в провинцию».

Не боялись, как видно, русские знатные господа ездить за границу с крепостными слугами: действительно, те редко убегали, не зная языка, тоскуя по родным местам. Но все же — убегали, и тогда начинались причудливейшие биографии, финальная часть которых канула в Лету.

Список этот, представленный Екатерине II, почти ее не встревожил: одни скоро вернутся, других никогда не вернуть.

Труднее всего с «господином Очером»...

Если идти по Невскому проспекту к Неве, то французская революция не замедлит о себе напомнить. В Пуб-



Строгановский дворец в Петербурге.

личной библиотеке, как мы знаем, — книги Дидро и Вольтера, архив Бастилии; пройдя два квартала по этой же стороне, видим классический Казанский собор, творение Андрея Воронихина: замечательный архитектор был крепостным знатнейшего вельможи и воспитывался вместе с законным наследником этого вельможи, тем самым «господином Очером»...

Еще несколько шагов по Невскому — и огромный старинный зеленый дворец, выдержанный в лучших образцах барокко: во внутреннем дворике тишина, старинные статуи. Один из самых знатных аристократов России, владелец тысяч крепостных и ряда уральских заводов, Александр Сергеевич Строганов ежедневно садился здесь за стол вместе с сотней-другой лиц; каждый прилично одетый человек мог войти и отобедать не спросясь. Рассказывали, что некто обедал таким образом более 20 лет и, когда однажды не пришел (по-видимому, умер), никто не мог назвать его имени.

В том доме была одна из лучших в Европе библиотек, изумительнейшая картинная галерея, нумизматическая коллекция — более 10 000 монет. Строганов был постоянным карточным партнером Екатерины и частенько ворчал на царицу за «плохую игру».

Сочетанию такой власти и богатства с оригинальным, вольтерьянским характером, как мы знаем, удивляться не



Жильбер Ромм. Анонимная литография.

приходится. Более того, подобные люди подыскивали своим детям особенно просвещенных, свободомыслящих воспитателей. Пример подавала Екатерина II, пригласившая к своему любимому внуку Александру швейцарского просветителя, в будущем президента Швейцарской федерации Лагарпа; очевидцы рассказывали, что очень часто учитель и ученик спорили о лучших формах правления в России, причем Лагарп предпочитал конституционную монархию, тогда как Александр решительно стоял за республику.

Александр Строганов пригласил к своему сыну Павлу француза Жильбера Ромма, человека глубоких знаний и не менее глубоких левых убеждений.

Век спустя великий князь Николай Михайлович, много занимавшийся русским прошлым, вместе с историком, коллекционером и государственным деятелем А. Б. Лобановым-Ростовским приобрели во Франции бумаги Ромма и Строгановых, а затем в специальном издании представили обитателей зеленого дворца на Невском.

Маленький, шуплый, но сильный духом, верой в просвещение и свободу, Жильбер Ромм писал о своем *Павлуше, Поле*: «Я хочу сделать из него человека, и он будет таковым, когда я его выпущу из своих рук».

Ромм учился говорить по-русски вместе с воспитанником (первым языком мальчика был, конечно, французский); вместе они дважды объездили Россию, каждый день поднимаясь чуть свет, постоянно закаляя тело и



Отец и сын Строгановы.
Рисунок А. Воронихина.

дух; когда Ромма представили царице, она понравилась ему прежде всего тем, что «встает рано, сама разводит огонь в камине и работает по 6 часов в сутки».

Юрий Тынянов незадолго до своей смерти, в 1942 году, написал основанный на огромном знании материала рассказ «Гражданин Очер» — о молодом Строганове, о его воспитателе, а также об Андрее Воронихине...

«Старый Строганов попросил Ромма дать ему точное указание, что он намерен делать, как сына воспитывать и скоро ли думает он кончить это воспитание. Как бы время не перегнало.

И Ромм ответил:

— Время никого перегнать не может. Опередить может только раз.

Старику давно уже не нравилось это воспитание. Его споры с сыном все учащались. Они не то чтоб спорили,

но почти не говорили друг с другом, тихо, ощерясь, выжидая. Бледное, тонкое лицо Павла было неподвижно. Старик начинал пугаться сына. Он его не понимал...

Ромм сказал ему, что чувство воспитывать не берется, да это вряд ли и возможно, а берется сопровождать Павла до тех пор, пока не воспитает в нем разума. Разум — закон — справедливость. Так называемые чувства могут воспитать маркизы, а он, Ромм, для этого прост. Он математик, и самое краткое расстояние между двумя точками есть линия прямая. После предварительного обучения надлежит путешествовать и осмотреть места, с которыми Павел будет связан; наконец, поехать за границу на четыре года...

Но Ромм, удивленный тем, как побледнел Павел, когда он сказал о рабстве, сказал Павлу: „Катон брал в воины только тех, кто от гнева краснеет. Он не принимал в оное звание тех, кто от гнева бледнеет. Вы сегодня побледнели. Итак, вы не бледнейте от гнева или не будете воевать. Катон это знал: он сам воевал“».

И вот — Павел Строганов с учителем в Париже, и еще не известно, кто больше увлечен революцией. Симонин в свое время навел справки и докладывал царице: «Меня уверяли, что в Париже был, а может быть, находится и теперь молодой граф Строганов, которого я никогда не видел и который не познакомился ни с одним из соотечественников. Говорят, что он переменял имя, и наш священник, которого я просил во что бы то ни стало разыскать его, не мог этого сделать. Его воспитатель, должно быть, свел его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба, которому он, кажется, подарил библиотеку... Даже если бы мне удалось с ним познакомиться, я поколебался бы делать ему какие-либо внушения о выезде из этой страны, потому что его руководитель, гувернер или друг предал бы это гласности, что я должен и хочу избежать. Было бы удобнее, если бы его отец прислал ему самое строгое приказание выехать из Франции без малейшей задержки.

Есть основания опасаться, что этот молодой человек почерпнул здесь принципы, не совместные с теми, которых он должен придерживаться во всех других государ-

ствах и в своем отечестве и которые, следовательно, могут его сделать только несчастным».

Мы точно знаем, что в Якобинском клубе Павел Строганов значился под именем Очера — в честь далекого уральского завода, принадлежавшего его семье. Там, на границе Восточной Европы и Азии, в Очере, трудились крепостные рабы, порою прикованные цепью; здесь Очер — якобинское имя, символ свободы.

Гражданин Очер — ярый революционер. Ему всего 18 лет, но у него почетный революционный диплом с изображением революционного фригийского колпака и надписью «*Vivre libre ou mourir*»*. Во время народных празднеств он сопровождает знаменитую Теруань де Мерикур, юную красавицу, которая носит огромную шляпу, — за поясом два пистолета, в руке сабля. Сопровождает и, кажется, добивается благосклонности.

Революция, любовь, любимый учитель, отправивший старику Строганову в Россию около 150 революционных брошюр (отчет о воспитании наследника!); зная, что Жильбер Ромм вскоре придумает новый революционный календарь, что это по его проекту 22 сентября 1792 года станет 1 вандемьера первого года Республики, мы можем догадаться, сколь красноречиво он убеждал ученика: оканчивается целая историческая эра, начинается совершенно новый мир...

Наверное, учитель и ученик были счастливы.

В рассказе Тынянова:

«— Гражданин Очер! Вы еще любите запах мускуса?

— Я люблю его — это запах новобрачных.

— Гражданин Очер! Забудьте его! Это запах врагов.

Попрыскавшись мускусом, они бродят по Парижу и ждут часа. Патриоты прозвали их мускусными, мюскаде-нами.

— Гражданин Ромм, мускус более для меня не существует. Я презираю запах мускуса».

Екатерина II на депеше Симолина написала распоряжение, чтобы Александр Строганов вызвал сына, а Жильбера Ромма — в Россию не пускать.

Учитель и не собирался больше в Петербург: его место было в Париже. Ученик же вместе с Воронихиным отправляется в обратный путь, и, как мы догадываемся, не из страха навлечь немилость царицы или лишиться кре-

* Жить свободным или умереть (фр.).

постных рабов. Два чувства руководят молодым человеком: во-первых, любовь и уважение к отцу; во-вторых, благословение учителя: Ромм, конечно, пожелал воспитаннику нести свет в свою страну...

Павел Строганов вернулся, расставшись с Роммом, с Теруань де Мерикур (в 1793-м, подвергшись нападению разъяренных парижских простолюдинов, «керосинщиц», она потеряет разум). В России Строганов не создал якобинского клуба, но и не предал учителя: стал одним из достойнейших людей своей страны, но о том речь впереди.

Известна и судьба создателя революционного календаря: Ромм — депутат Конвента, голосующий за казнь Людовика XVI, в 1795-м участвует в героическом, безнадежном заговоре якобинцев против термидорианцев. После неудачи — коллективное самоубийство заговорщиков: каждый наносит себе смертельную рану и передает кинжал следующему; трое заколовшихся еще дышали, когда их все равно внесли на гильотину; Ромма среди них не было — его удар как всегда точен.

31 декабря 1905 года Лев Толстой записал: «Читал о Ромме, был поражен его геройством в соединении с его слабой, жалкой фигуркой... Я думаю, что это чаще всего бывает так. Силачи чувственные, как Орловы, бывают трусы, а эти напротив».

1792 год. Союзные армии вступают во Францию; практически прерываются все отношения Петербурга с Парижем; возвращаются русские путешественники; приняты чрезвычайные меры...

Однако из Парижа в Петербург приходит сильнейший из врагов.

Страх

Страх усиливался с каждым днем. Царица велела дать ей карту Франции, с тем чтобы видеть, как продвигаются в глубь страны армии союзных монархов. Она сначала считала, что «достаточно захватить во Франции две или три халупы, чтобы все остальное рухнуло бы само собой».

Сохранилось несколько писем 1792 года, где русские аристократы обменивались мнениями насчет исхода начавшейся войны. Вот лишь некоторые строки:

«Одно воззрение на прусские и цесарские штыки заставит трепетать парижских сумасбродов».

«Французы будут побиты, ибо армия их без всякой дисциплины, не имеет офицеров и ничего нужного к ведению войны».

«Каждый день ждем сообщений первойшей важности, когда союзные войска будут наконец в Париже».

Впрочем, чтобы не было «лишних толков», газетам приказано как можно меньше писать о ходе событий: «сокращенно сообщать о смутах, во Франции ныне царствующих, и не упускать прибавлять известия или примечания, насколько их колобродство им самим вредно».

В Петербурге, Москве и провинции в результате таких распоряжений стали распространяться самые невероятные слухи — от немедленного вступления немцев в Париж до полного их разгрома...

Последнее оказалось более достоверным. К величайшему удивлению и потрясению знатоков, осенью 1792 года союзные армии разгромлены под Вальми и Жемаппом; санкюлоты вступают на территорию Бельгии и Германии!

Нам сейчас нелегко понять, какое невероятное впечатление произвели эти известия: ведь обученная армия, сначала рыцарская, потом наемная, всегда была во много раз сильнее наспех вооруженной толпы; этот факт как будто подтвержден множеством примеров, опытом всех династий. И вдруг... «Кто бы мог подумать или предвидеть,— писал один из князей Голицыных,— чтобы славный и искусный в Европе полководец (герцог Брауншвейгский), предводительствующий храбрыми и в дисциплине испытанными многочисленными войсками, принужден был отступать перед войсками, составленными из бродяг и сволочи, без повиновения командующим неизвестным генералам?»

То, что заметил великий Гете после битвы при Вальми,— *«Здесь начинается новая глава мировой истории»*,— Екатерина II и другие противники революции скорее почувствовали, чем поняли.

Были даже попытки объяснить неожиданный поворот событий вмешательством «высших сил»; императрица, пытаясь уразуметь, в чем тут секрет, однажды призвала дворцовых музыкантов и велела им сыграть марш Рейнской армии, «Марсельезу», ноты которой были только что получены из Парижа. Когда оробевшие музыканты и пев-

цы грянули «Allons enfants de la Patrie»*, царица сначала слушала, потом ей стало не по себе, и она быстро вышла.

Было хорошо известно, что Екатерина вообще не очень чувствительна к музыке; во всяком случае, ни одно сочинение, исполняющееся во дворце в течение многих десятилетий, такого впечатления не произвело.

В эту же пору юный кадет, будущий декабрист Федор Глинка, услышав прославленный мотив и слова, отнюдь не оробел — перевел на русский то, чего особенно страшились во дворце.

Страх...

Кроме грозного марша Рейнской армии устрашали неслыханные формулы, гремящие лозунги, быстро перелетавшие через Европу до самых отдаленных краев; слова, тем более впечатляющие, что французский язык ведь, по существу, родной для правящей России, — не нужно дожидаться перевода, чтобы вздрогнуть и оторопеть. И вот многократным эхом разносится: «Мир хижинам, война дворцам!»; «Аристократов — на фонарь!»; «Гражданин! Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?»

В эту пору некоторые здравомыслящие русские дворяне начинают учиться ткацкому, сапожному или (как офицер, будущий знаменитый генерал Раевский) переплетному делу, чтобы не пропасть от голода, когда придут якобинцы: в том, что придут, сомнений почти не было. Где было предвидеть даже умнейшим аристократам, что якобинцы действительно явятся, но... из их собственной среды; что через треть века дочь генерала Раевского добровольно поедет в Сибирь, чтобы разделить судьбу своего мужа, Сергея Волконского, князя, генерала, добровольно превратившегося в «русского якобинца». Но это потом — много позже... А пока что —

Страх...

Боялись реальных вещей и призраков. 1 марта 1792 года скорострительно умирает австрийский император Леопольд II; две недели спустя на балу в Стокгольме заговорщик убивает шведского короля Густава III. Позднейшие историки решительно не находят в двух этих эпизодах «французской интриги»; однако в Петербурге

* «Вперед, сыны отчизны» (фр.) — первые слова «Марсельезы».

тут же распространился слух, будто якобинцы рассылают специальных людей для истребления всех европейских монархов. Сразу нашлись «осведомленные люди», утверждавшие, что на очереди — Екатерина II и что мэр революционного Парижа Петион держал пари: к 1 июня императрицы уже не будет в живых. Дальше — больше: царица, вообще женщина не трусливая, пишет, что «боится сойти с ума от этих событий, которые потрясают нервы». Из Берлина даже пришло секретное сообщение, называвшее имя предполагаемого убийцы — «француз Бассевиль».

По этому поводу Екатерина пишет распоряжение начальнику петербургской полиции: «Если найдете Бассевилля, то если сыщутся при нем склянки или порошки, оные стараться как бы нечаянно не разбить и не рассыпать... И особенно, чтобы никто не открывал, ибо может быть вредно». Повсюду обыскивали французов, удвоили наблюдение за французским посольством, и вскоре окончательно выставят из России поверенного в делах Женэ.

Великий страх нарастает, и мы, конечно, точно знаем главные календарные даты этого нарастания...

10 августа — 22 сентября — 21 января...

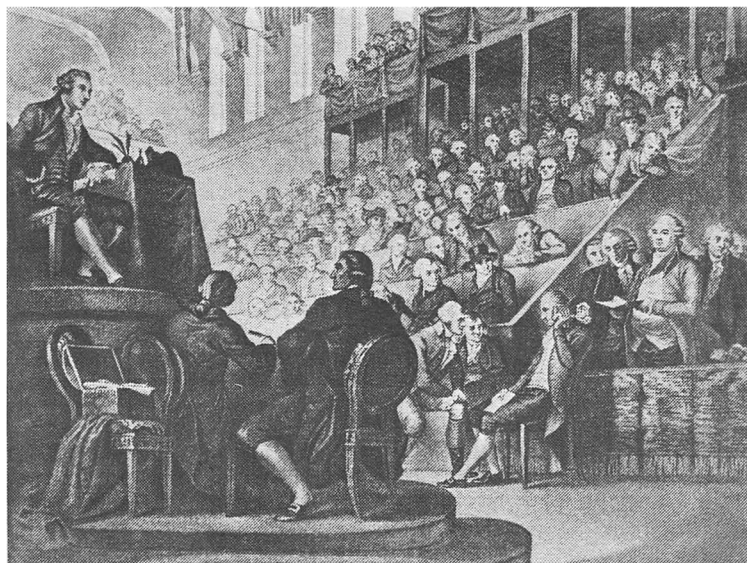
Свержение монархии, провозглашение республики...

Екатерина — Храповицкому: «Нечто вроде Карла I... Это чудовищно!»

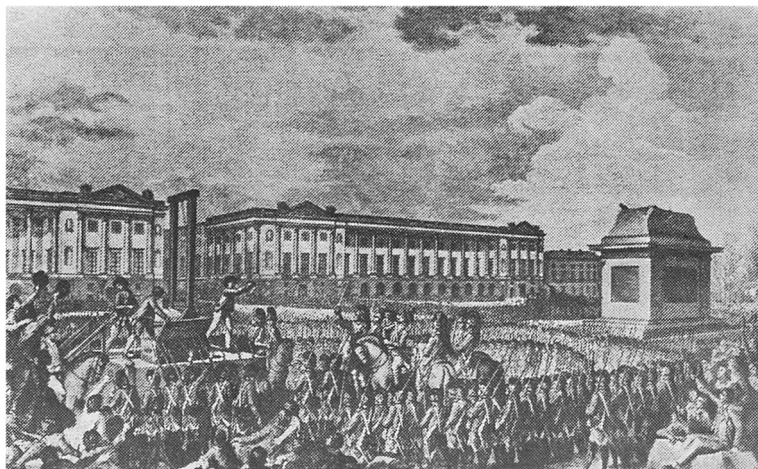
Сегодня, разглядывая карту Европы и мира, мы находим лишь остатки монархических режимов. Кажется, только в Саудовской Аравии сохранился строй, близкий к абсолютизму. Рассказывают, будто свергнутый в 1952 году египетский король Фарук горько пошутил: «Скоро в мире останется только пять королей: четыре карточных, а также никому не мешающий король английский». Действительно, короли, императоры, султаны почти совершенно вышли из игры; меж тем еще в 1870 году, то есть сто с небольшим лет назад, единственными европейскими республиками были Швейцария и крохотное Сан-Марино. Из крупных же государств мира — только Соединенные Штаты, которые, впрочем, «не в счет», ибо образовались, так сказать, на чистом месте.



Штурм Тюльрийского дворца в Париже 10 августа 1792 г. *Лубочная картинка начала XIX в.*



Людовик XVI перед судом Конвента 26 декабря 1792 г. *Гравюра Вандрамини по рисунку Пеллигрини.*



Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. Гравюра Эльмана по рисунку Монне.

Для жителей XVIII века республика была понятием, знакомым преимущественно из учебников древней истории: республика Афинская, Римская, впрочем, в конце концов не устоявшие перед монархическим напором.

И вот рушатся тысячелетние понятия, возвращаются «древние времена». Это ощущение неслыханной новизны, очевидно, и привело к тому, что с помощью гражданина Ромма даже старая эра отменяется, и первая Французская республика выходит на историческую сцену «1 вандемьера 1 года» (любопытно, что ни до, ни после самые могучие революции все же не отменяли привычного летосчисления!).

А затем — республиканский Конвент, суд над Людовиком XVI; 21 (10) января 1793 года монарх обезглавлен. Через три недели, 10 февраля (30 января), известие достигает России.

В тот же день русскому двору предписан шестинедельный траур; издан специальный указ о высылке французов из России, «исключая тех, которые под присягою отрекутся от революционных правил». Парижу посланы проклятия в самых сильных выражениях.

Храповицкий продолжает вести свой дневник: узнав, что короля лишили головы 10 января (по старому сти-

лю), Екатерина вдруг замечает что 18 лет назад, именно 10 января, была отсечена голова Пугачева: странное сближение, может быть, мысль об историческом возмездии...

2 февраля: Царица «слегла в постель... больна и печальна»; внезапно — «оборот к собственному ее правлению, с вопросом у меня о соблюдении прав каждого». Храповицкий заверяет Екатерину, что с этим в России все в порядке (иначе говоря, французская месть не грозит).

5 февраля. Продолжение разговора о «парижском варварстве»; царица говорит: «Равенство — это чудовище, оно хочет быть королем...»

9 апреля. Внезапная надежда, что в Париже все кончится: прославленный революционный генерал Дюмуре изменил — слухи, будто армия повернула штыки, вот-вот вернется старый режим, — и граф д'Артуа, жалуется Екатерине, что при новом короле, малолетнем Людовике XVII, регентство, наверное, будет в руках королевы Марии-Антуанетты...

Рано, однако, делить власть: придется подождать еще 22 года.

18 апреля: «Дюмуре не преуспел, и государыня сказать мне изволила, что и прежде то думала...»

Много лет спустя, уже при Советской власти, «Процесс Людовика XVI» был опубликован по-русски. Издатели, смотревшие на дело с революционной точки зрения и сравнивавшие казнь французского короля с недавним расстрелом императора Николая II, тем не менее заметили, что Людовик держался на процессе вяло, признал право Конвента судить его и не воспользовался возможностью, пусть самоубийственной, отрицать это право, ссылаясь на «божественные прерогативы монарха»...

Екатерина II, судя по некоторым косвенным сведениям, тоже говорила нечто подобное и была недовольна поведением Людовика. При ней уже убивали монархов — Петра III, Иоанна Антоновича (Ивана VI). Однако это было как бы «дело семейное», потаенное, прикрываемое для народа разными фальшивыми объяснениями. Теперь же речь шла об открытой казни короля в одном из главных государств мира. Правда (мы уже вспоминали выше), за полтора века до того лишился головы англий-

ский король Карл I и более десяти лет просуществовала Британская республика, — но разве может сравниться это того события с этим? Европа 1649 года, повторим, еще была слишком далека от того, чтобы переводить английскую революцию на свои языки. За полтора века «переводческое искусство» усовершенствовалось...

Казнь Людовика — некий рубеж: до того, как уже говорилось, очень многие просвещенные русские, даже весьма знатного происхождения, видели немало хороших сторон во французских событиях; любопытство было в немалой степени замешено на симпатии. Теперь же общество вздрогнуло; не все, конечно, — но многие...

Слово «якобинец» именно с этих дней займет свое место в русском языке. Из разных городов идут доносы: например, на одного зрителя, который аплодировал в театре тираде «без равенства нет дружбы». «Только якобинец, — жаловался доносчик, — может приветствовать столь дерзкие слова». Когда один помещик пожалел своих крестьян и не взял с них принесенных денег, тут же прослыл якобинцем. Гаврила Романович Державин — не только знаменитый поэт, но и крупный чиновник, занимавший министерские должности, — еще прежде этих событий блестяще переложил стихами 81-й псалом — о царях, которые падут так же, как «последние рабы». Теперь же его вызывают на допрос — «для чего и с каким намерением пишет он такие стихи?»

Державина спасло лишь заступничество фаворита императрицы Платона Зубова.

1793 год: там и сям начинается сожжение французских книг и одновременно выходят брошюры, о содержании и стиле которых можно судить уже по одним их заглавиям. В Москве — книжонка под названием «Ах, как вы глупы, господа французы!»; некий генерал Волков сочиняет целую поэму «Дух гражданина и верного подданного, в стихотворчестве никогда не упражнявшегося, на старости злодеяниями французских бунтовщиков воссмятенный». В 1793 году в Петербурге вышла книга «Дифирамб, изображение ужасных деяний французской необузданности, или Плачевная кончина царственного мученика Людовика XVI».

Паника доходит до того, что власти и вельможи уже порою не различают, кто враг и кто друг. Так, схвачен и упрятан в тюрьму купеческий сын Попов, который распространял письма в том духе, что во Франции события

ужасные, кровавые и не дай бог России узнать что-либо подобное; однако необходимо торопиться, «не терять времени, пока писатели-иностранцы не догадались сделать наших воинов, их отцов и братьев фуриями». Попов больше всего боится крестьянского восстания, когда мужики узнают, что нигде людей не продают так, как в России; он предостерегает, уговаривает пойти на уступки, ослабить или отменить крепостное право, тем самым «погасив малую искру, пока не возгорелось великое пламя».

Впрочем, дух ломки, революции вообще сродни России; разве сокрушительную перестройку старого мира, учиненную в начале XVIII века русским царем Петром, Герцен позже не сравнит с деятельностью французского Конвента?

Просветители против просвещения

Несколько десятилетий, пусть непоследовательно и лукаво, императорская власть России делала ставку на просвещение. Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо — многолетние «союзники» Екатерины II. Задача, мы говорили, простая и ясная: просветить страну без «дурных последствий» этого самого просвещения.

Еще в первые месяцы французской революции царица умно одергивает нелюбимого сына и наследника Павла: тот, узнав о трудном положении, в которое попал Людовик XVI, говорит, что он на месте французского короля разметал бы чернь пушками; мать резко возражает сыну, что «только чудовище может так думать», ибо пушками ничего нельзя исправить.

Вполне разумный, просвещенный взгляд. До поры до времени...

Но — страх, уже проявившийся в осуждении Радищева и других мерах против «заразы».

И вот, на старости лет, царица в определенном смысле начинает войну против... самой себя! То, что разрешалось, поощрялось, одобрялось в течение десятилетий, теперь заподозрено и осуждено; решается вопрос: какая из двух цариц сильнее — молодая или нынешняя? Кто кого одолеет — прежние книги, журналы, переводы, переписка с философами — или страх перед якобинцами?

Николай Иванович Новиков не был революционером наподобие Радищева и вовсе не мечтал о коренном пере-



Н. И. Новиков. Миниатюра с портрета работы В. Л. Боровиковского.

вороте, свержении существующего строя; однако он незыблемо верил в пользу просвещения и к тому же был привержен, с годами все более, к масонским, религиозно-мистическим взглядам; не сомневался, что просвещать ближних требует религиозный, нравственный долг. В начале царствования Екатерины II он издавал несколько журналов, где остро, талантливо потешался над невеждами, жестокими и отсталыми помещиками, над поверхностными подражателями французской моде. Может быть, именно оттого, что он не имел «задней мысли» — опрокинуть трон, — Новиков был особенно смел, выискивая и высмеивая противников повсюду. Однажды он обрушился на журнал «Всякая всячина»: это было довольно опасно хотя бы потому, что все знали о личном участии императрицы в подготовке материалов этого издания. Разумеется, имя Екатерины II не стояло на обложке, но именно это позволило Новикову пуститься в рассуждения о непоследовательности, противоречивости, глупости некоторых статей «Всякой всячины»; вдобавок Новиков отмечал, что госпожа «Всякая всячина», как видно, плохо владеет русским языком, ибо слишком уж часто ставит глаголы в конце фразы (намек на родной немецкий язык тайной издательницы журнала). Пожалуй, ни один подданный русских царей никогда не позволял себе подобных печатных дерзостей против самодержавного монарха. Предшественники Екатерины II быстро расправились бы с «безумцем», но царица как бы не обратила внимания; в ту пору находила более выгодным поощрять просветителей-смельчаков...

Но пришли 1790-е годы. К этому времени Николай

Новиков уже успел внести огромный вклад в культуру: одна треть всех русских книг, изданных в царствование Екатерины II, была выпущена в свет именно его типографией и издательством: переводные романы, стихи, огромное число документов по отечественной истории, книги по науке, путешествия... Позже Александр Герцен заметит: «Новиков был одной из тех личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму,— одним из тех проводников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих идей».

1790-е годы: наступает злой час для Новикова. Вполне возможно, что Екатерина вспомнила старые обиды; с другой стороны, ее пугали тайные масонские связи просветителя; по тогдашним настроениям — «у страха глаза велики» — очень легко было приравнять их к якобинским. Несколько раз царица намекала московскому генерал-губернатору Прозоровскому о необходимости заняться Новиковым; губернатор отвечал, что готов исполнить любой приказ, императрица же сердилась и сетовала на нерадивых подданных, которые «без приказу ничего сделать не могут»: все еще хотелось сохранить старинную просветительскую репутацию и ликвидировать знаменитого издателя как бы чужими руками.

Однако ровно через четыре дня после того, как в Петербурге панически начали искать мифического отравителя Бассевиля, Екатерина II все же решилась и подписала приказ об аресте Новикова и его друзей. Он обвинялся в «тайных сборищах», издании «непозволительных книг». Доказательств, строго говоря, не было никаких, потому что Новиков ничего не скрывал; и все тот же Прозоровский, арестовав просветителя, вскоре пожаловался: «Один с Новиковым не слажу; человек он натуры острой, догадливый, характера смелого и дерзкого». Тогда арестованного перевели в Петербург и с пристрастием допрашивали еще несколько месяцев. За издание тех книг, которые сама Екатерина спокойно читала несколько лет назад, за «тайные собрания», которые никто не запрещал,— а на самом деле только потому, что в Париже революция и Петербург трепещет — за все это Николая Новикова, снова повторим — просветителя, отнюдь не революционера (между прочим, не нажившего никаких капиталов в результате своей бескорыстной деятельности), приговаривают к заточению в крепости на 15 лет.

Один из друзей просветителя, Михаил Багрянский, которого даже не привлекли к следствию, выразил желание разделить заключение с осужденным.

Желание удовлетворили; однако даже присутствие друга не спасло потрясенного Новикова, который в камере постепенно начал терять рассудок...

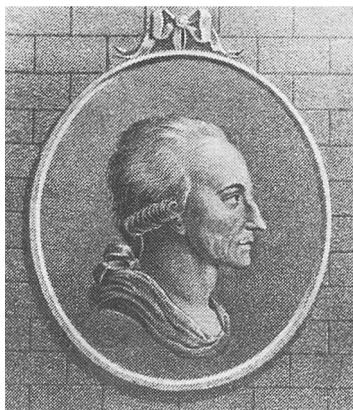
Друзей Новикова, московских просветителей, также приговорили к разным наказаниям. Один из них пытался перерезать себе горло; другого — знаменитого правдолюбца Ивана Владимировича Лопухина — вызывают на допросы к генерал-губернатору. «Мы, — пишет Лопухин, — со лбу на лоб с кн. Прозоровским беседовали, по крайней мере, часов с двадцать... Долго помнил я все мои ответы, так что мог бы записать их почти от слова до слова; но я настолько устал от упражнения в оригинальном их сочинении, что очень много дней после того приняться за перо была самая тяжкая для меня работа. Заключение же вытекло из такого сильного во мне впечатления, что я никогда не мог его забыть; писал его, я подлинно плакал, обливался, можно сказать, слезами, и точно от причин, в нем изображенных».

Говорили, будто, прочитав откровенные, возвышенные ответы Лопухина, прослезилась и сама царица.

Екатерина II решает не связываться со столь знатным родом — Ивана Владимировича приговаривают к ссылке в деревню, под надзор, он возражает, так как должен находиться возле престарелого отца. В конце концов его оставляют во второй столице...

Очень своеобразным способом защитился другой подозреваемый, Максим Невзоров: когда его по возвращении из-за границы схватили и предъявили приказ Екатерины об аресте, Невзоров прикинулся, что не верит: столь мудрая, просвещенная императрица не может издавать жестоких указов! Ему предъявляют царскую подпись, он отвечает, что — можно подделать. Его привозят к Шешковскому, который всегда занимается тайным сыском, и спрашивают — узнает ли того, кто допрашивает? Невзоров отвечает, что можно загримироваться, прикинуться. Ему говорят, что поведут к императрице, — он стоит на своем, что можно переодеть, обмануть...

Екатерине доложили о столь странной манере защиты, она засмеялась и велела без всякого суда отправить Невзорова в деревню.



Я. Б. Княжнин. Гравированный портрет по рисунку Калашникова.

Можно считать, что подозреваемый ловко намекнул на противоречия «ранней» и «поздней» Екатерины, и сумел таким образом спастись...

Одновременно разыгрывалась другая шумная история.

Популярный драматург Яков Княжнин еще в 1789 году, накануне французской революции, написал трагедию «Вадим Новгородский». Действие ее происходит в середине IX века в древнем Новгороде. Город не хочет терять своей вольности, и князю Рюрику пытается дать отпор пламенный республиканец Вадим. В конце концов благородный, просвещенный монарх Рюрик берет верх и уничтожает Вадима; но перед тем свободолюбцы произносят (согласно желанию Княжнина) несколько острых монологов против деспотизма и самовластия; вопрошают: «Какой герой в венце с пути не совертит? Кто не был из царей в порфире развращен?»

По ранжиру прежнего, сравнительно мягкого екатерининского правления — в пьесе не было ничего особенно крамольного: побеждает все же просвещенный монарх (такой, как Екатерина II), а республиканец, хоть и благороден, но — повержен. Случалось, в прежние годы полиция несколько раз спрашивала царицу, не запретить ли то или иное издание, где обличается деспотизм; царица, тогда общавшаяся с Дидро и Вольтером, отвечала, что не принимает подобных упреков на свой счет, ибо деспотом не является («вы называете меня матерью Отечества!»), а раз так — никакие запреты не нужны.



Е. Р. Дашкова. Литография
А. Мюнстера.

Именно подобными соображениями, вероятно, руководствовался Княжнин, когда готовил свою пьесу для печати. Сам драматург не дожил до ее публикации — умер в начале 1791 года, но рукопись была напечатана в 1793-м, с разрешения собеседницы Дидро. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, возглавлявшая Академию наук, к якобинцам относилась совершенно отрицательно, поступок Радищева не одобряла: она пыталась изо всех сил «адаптироваться» к екатерининскому правлению и даже немало преуспела на этом пути, получая высокие должности, награды, но при всем желании никак не могла слиться с раболепной придворной массой, утратить гордость и независимость. Поэтому княгиня (мы опираемся на ее знаменитые «Записки») была весьма удивлена и рассержена той «головомойкой», которую царица вдруг устроила ей за «Вадима».

«— Чем я вам не угодила, что вы распространяете высказывания, опасные для меня и моей власти?

— Я, государыня?! Нет, вы не можете так думать!

— Знайте,— сказала императрица,— что я прикажу сжечь эту трагедию рукой палача.

По ее лицу я как будто прочла, что последняя фраза чужда ее уму и сердцу и кем-то ей подсказана.

— Ваше величество, для меня не имеет значения, будет ли, не будет она сожжена палачом. Не мне за это краснеть. Но, ради бога, прежде чем вы совершите этот акт, столь мало согласующийся с вашими словами и де-

лами, прочтите пьесу, и вы найдете в ней развязку, которую и вы сами, и все приверженцы монархического правления могли бы только пожелать. Кроме того, вспомните, ваше величество, что, защищая эту пьесу, я не являюсь ни автором оной, ни лицом, извлекающим пользу из ее публикации.

Эти слова были произнесены столь решительно, что тем разговор и окончился...

Через день утром я поехала с докладом к государыне, твердо решив, что, если она не предложит мне, как всегда, пойти с ней в бриллиантовую комнату,— не стану больше ездить на утренние приемы и без промедления подам прошение об отставке.

Господин Самойлов, выходя от императрицы, сказал мне на ухо:

— Ее величество сейчас выйдет. Будьте спокойны: кажется, она на вас не сердится.

Я ответила ему, не понижая голоса, чтобы меня слышали находившиеся в комнате:

— Мне нечего волноваться, потому что не в чем себя упрекнуть, и было бы досадно за государыню, если бы она плохо думала обо мне; но, во всяком случае, несправедливости для меня уже не новость.

Императрица действительно скоро появилась и, дав присутствующим руку для поцелуя, сказала мне:

— Не хотите ли, княгиня, пойти со мной?»

Конфликт был формально улажен, но ненадолго; пьеса не «прощена»; оказывается, обстоятельства к 1793 году стали таковы, что дерзкие речи «нельзя терпеть», хотя бы герой-республиканец и терпел поражение. В результате вынесено решение — злополучную книжку сжечь. Приговор приведен в исполнение, но, как это было и с книгой Радищева, тут же стали распространяться немногие сохранившиеся экземпляры, а с них делались рукописные копии. Обиженная Дашкова вышла в отставку, навсегда покинула столицу и уехала в свое имение.

Выходило, что царица и двор сражались не только с революцией, но и с просвещением: ни Дашкова, ни Новиков к якобинцам не близки.

Тут-то наступил час «призвать к ответу» и прежних великих французских друзей Екатерины.

«Vous mes comblez»*

«Мадам! При вас на диво
Порядок расцветет»,—
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот,—
«Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».
«Messieurs!** — Им возразила
Она.— Vous mes comblez»,—
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Эти шуточные стихи были сочинены много лет спустя (опубликованы в 1883-м). Сочинитель Алексей Константинович Толстой посмеивается над уже «отстоявшимся в истории» сюжетом: Вольтер и Дидро наставляют Екатерину II в духе вольности, а царица резонно находит, что они ей льстят,— и превращает свободных украинских крестьян в крепостных.

Эпизод с украинскими крестьянами случился за несколько лет до революции, и, строго говоря, Вольтер и Дидро не были уже его свидетелями. Однако некоторые «облака», и прежде омрачавшие эффектную с виду дружбу царицы с французскими философами, в 1790-х годах переходят в ненастье, бурю. Старые собеседники, чьи книжные собрания дремлют в Эрмитажной библиотеке, вдруг попадают в сильнейшую опалу; можно сказать, чуть ль не в крепость, в Сибирь. В самом деле, революция клянется именами Монтескье, Руссо, Дидро, Вольтера. И Екатерина постоянно обращалась к тем же именам.

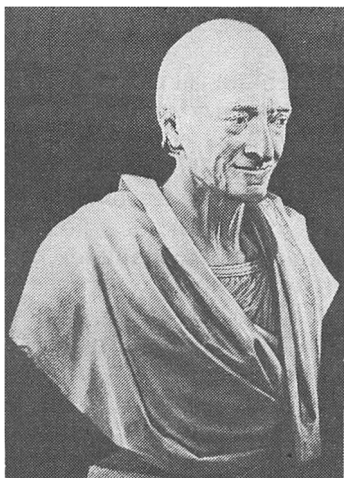
Кто-то должен отказаться, «уступить»...

Для начала царица приказывает вынести из своего кабинета бюст Вольтера. Начинаются длительные скитания замечательной работы Гудона, которую почти каждый очередной царь велит запрятать так, чтобы «не попадалась на пути»; и как назло, странствуя по своему дворцу, цари постоянно встречают «саркастическую персону».

Жозеф де Местр, непримиримый враг революции, также встретившись вдруг с ненавистным Вольтером в Эрмитажной библиотеке, записал примерно то, что, наверное, хотели бы выразить Екатерина и ее потомки: «Париж увенчал Вольтера, Содом изгнал бы его. Колеблясь между восторгом и отвращением, я хотел бы воздвигнуть

* Вы мне льстите (фр.);

** Господа (фр.).



Бюст Франсуа Вольтера работы
А. Гудона.

ему статую — рукою палача! Не говорите мне об этом человеке. Я не выношу его!»

Как быстро и легко — куда легче, чем во Франции,— печатался Вольтер по-русски в 1770—1780-х годах; и вот опытный редактор и переводчик Рахманинов начинает готовить полное собрание сочинений великого насмешника в своих переводах. Первые три тома напечатаны еще в 1791 году, в 1793-м дошла очередь до тома четвертого. Вольтер в 1793-м! Тут же, конечно, следует строжайший запрет: типография опечатана, Рахманинов забран в полицию, 5205 экземпляров изъято; в дворянском обществе раздаются восклицания (зафиксированные одним из современников), что «Омары, Нероны, Аттилы и все злодеи вместе не могли произвести столько зла, сколько произвел один Вольтер».

Прах Вольтера пока еще в парижском Пантеоне — но через два десятилетия начнутся его странствия с кладбища на кладбище; в России же изгнание уже началось. Впрочем, так легко с Вольтером не справиться: это лишь начало его удивительных посмертных российских приключений.

Мы еще встретимся с его усмешкою, с его образом в нашем повествовании.

К счастью, хоть библиотеку Вольтера, некогда с таким трудом доставленную к Неве, цари не тронули; толь-

ко велели крепче запирать и никого не пускать... Дидро не удостоился и такой милости. Его огромное собрание Екатерина мстительно рассеяла посреди десятков тысяч эрмитажных книг...

Старые споры просвещенной царицы с умнейшими людьми XVIII столетия продолжают.

Целый приключенческий роман можно было бы написать о необыкновенной судьбе не только печатных, но и рукописных страничек, которые Дидро навсегда оставил в Петербурге...

Точно известно, что философ преподнес царице небольшую тетрадь, переплетенную в красный сафьян, подшитый снизу голубым сатином с позолотой по краям. По обычаю XVIII века тетрадь запиралась в специальный сафьяновый ящик; на первом листке было заглавие: «*Mélanges philosophiques, historiques etc. Année 1773*»*.

Екатерина II эту тетрадь запрятала глубоко, никому не показывала, не сообщила даже самым доверенным корреспондентам; после же начала революции секретный документ сделался, естественно, «сверхсекретным».

А позже он, можно сказать, чудом спасся от уничтожения: Екатерина II легко могла так же распорядиться о тетрадке, как и о книгах Дидро: спрятать меж другими рукописями, сделать недоступной. Этого, к счастью, не произошло, но уж сын императрицы, Павел I, поначалу очень агрессивно настроенный против всего французского, при случае непременно велел бы швырнуть философские поучения в камин.

Кто-то, однако, предвидя подобную опасность, попросту выкрал тетрадь из потаенных бумаг Екатерины — и на несколько десятилетий она исчезает в доме неведомого спасителя...

Исчезает, но существует: примерно в середине XIX столетия А. С. Норов, известный коллекционер, некоторое время являвшийся министром просвещения, добывает рукопись Дидро для собственного собрания. Потом, однако, долг царедворца взял верх над собирательской страстью — и тетрадь возвращена правнуку Екатерины, царю Александру II. Возвращена и снова упрятана, так как за прошедшие десятилетия ее смелый, откровенный, разрушительный смысл нисколько не потускнел. О том,

* Заметки философские, исторические и др. 1773 год (фр.).

где находится рукопись, знали очень немногие, и точнее всех царский библиотекарь Александр Гримм.

Наступил 1881 год. Александр II убит революционерами-террористами, на престоле его сын Александр III. И в этом-то году, разумеется, без всякого высочайшего разрешения, сильно рискуя, но еще сильнее опасаясь, что рукопись снова канет в Лету,— Гримм «шепнул» о ней французскому исследователю Морису Турне; более того, француз сумел снять копию.

Пока был жив Гримм, опубликовать в Париже новообретенный текст было бы предательством; но вот проходит еще 18 лет, XIX век на исходе, ни Александра III, ни Гримма уже нет на свете,— и тогда-то Турне решился и впервые напечатал интереснейшие заметки Дидро.

О том, сколь это было важно и своевременно, можно судить по двум весьма впечатляющим фактам.

Во-первых, когда русские историки попытались в начале XX столетия сообщить своим читателям хотя бы перевод того, что было напечатано Турне, то оказалось, что около двух третей текста для русской публики еще опасны и цензурно «непроходимы»: вот на сколько лет вперед Дидро нажил врагов...

Второй же факт — что с тех пор никто больше не видел подлинную рукопись в сафьяновом переплете: она опять исчезла и до сих пор не найдена...

Лишь сравнительно недавно советским исследователям во главе с В. С. Люблинским и американскому ученому А. Вильямсу, специально прибывшему в Ленинград для розысков исчезнувших книг и рукописей Дидро, удалось извлечь из книжной пучины несколько старинных книжек с карандашными пометами владельца.

Некоторые из помет быстро стали знаменитыми: читая книгу своего единомышленника Гельвеция, Дидро обратил внимание на строки, что в Европу из колоний «не доставляется ни единого бочонка сахара, который бы не был смочен человеческой кровью».

Дидро: «Эти две строчки отравили весь сахар, который мне придется есть до конца жизни, а я очень люблю сахар».

Гельвеций: «Страсти... движут великими личностями, и многие из них становятся весьма посредственными, едва лишь их перестает поддерживать пламя страстей».

Дидро: «Образ ложен,— страсть не способна возвысить глупца до уровня...»

Запись обрывается; множество других помет стерлось или ждет своих открывателей среди 3000 книг Дидро, рассеянных в Публичной библиотеке.

Трудно жилось Дидро и при жизни, и после смерти. Но и недоброжелателям досталось...

Вспомним его предсказание, сделанное царице за 20 лет до того: «Если, читая только что написанные мною строки, она обратится к своей совести, если сердце ее затрепещет от радости, значит, она не пожелает больше править рабами. Если же она содрогнется, если кровь отхлынет от лица ее и она побледнеет, признаем же, что она почитает себя лучшей, чем она есть на самом деле».

Царица отрелась от того, чьей дружбой столь дорожила, с кем вела долгие беседы двадцатью годами прежде.

Некоторые же старинные собеседники, даже расходясь с *Дидеротом* по нескольким весьма серьезным вопросам, сочли бесчестным предавать память о дружбе.

На закате дней княгиня Дашкова, вовсе не мечтающая о французской свободе для своих крепостных и увидевшая, что многие пророчества Дидро сбылись, отнюдь не думает *винить* его в «крайностях революции» и т. п. Марта Вилмот, английская подруга Дашковой, свидетельствовала, что «княгиня всегда говорила о Дидро не только с величайшим удивлением, но и глубочайшим почтением»; копии тех писем, что некогда написал ей французский философ, княгиня переправила в Англию; иначе мы бы той переписки вообще не знали, ибо подлинники бесследно исчезли вскоре после кончины Дашковой (1810 год).

Однако вернемся в 1790-е.

Кто виноват?

В 1790-х годах для тонкого мыслящего слоя российских людей (грамотных в стране не более 3%) уже существовали оба главных российских вопроса: Кто виноват? Что делать?

Радищев отвечал по-своему, Новиков — по-своему.

«Кто виноват во французской революции?» — этот вопрос позже будут задавать иначе, без употребления слова «виноват»: «В чем причина, кто разжег французскую революцию?» Но это позже.

Теперь же очень серьезно задумались многие, преимущественно молодые, люди, которые еще два-три года назад видели в 14 июля весну, благоуханное обновление истории — прекрасное и почти бескровное...

Преследования, запреты, ссылки, сожжение книг были совсем не так страшны, как собственное глубочайшее сомнение.

Если бы они, русские люди 1790-х годов, твердо верили в якобинскую истину, их не поколебали бы ни ужасы французского террора, ни преследования собственных властей. Однако не было твердой уверенности. Газеты не очень-то балуют читателя подробностями, но по западно-европейской печати, по рассказам надежных очевидцев являлась картина, которую и вообразить не могли несколько лет назад поклонники Руссо, радовавшиеся крушению Бастилии.

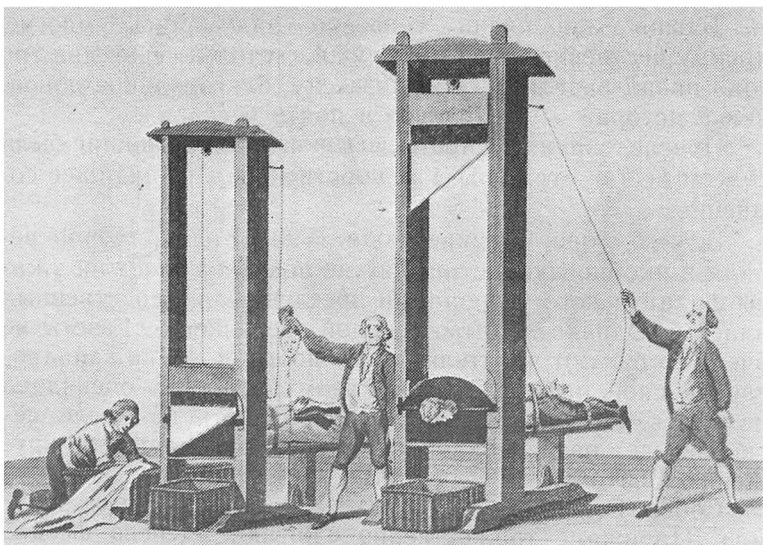
Собор Парижской богоматери — теперь «храм разума». Парижане торжественно сжигают «дерево феодализма». «Лион боролся против свободы — нет больше Лиона!»

«Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?»

Тридцать лет спустя Пушкин, можно сказать, заново пережил те надежды, разочарования, путем которых прошли и многие французские участники, и многие русские наблюдатели.

Сначала радость прекрасной победы, свободы:

Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой:
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут...



Гильотина. Гравюра по голландскому эстампу 1-й половины 1790-х гг.

Вопрос вопросов — о цели и средствах. Что французская революция меняет мир, создает совершенно иную экономическую и политическую структуру, иные человеческие отношения, можно даже сказать — иное человечество, — все это лучшие умы понимали уже в 1790-х годах, а позже вынуждены были признать и недруги новой эпохи.

Эпоха эта ведет свой отсчет с 1789-го: нравится это или не нравится современникам, потомкам, — но это так. Прогресс несомненен, но и цена велика: цена крови во время революционных и наполеоновских войн, безжалостная мясорубка гильотины.

Как быть? Можно ли оправдать?

Можно и должно — отвечают многие историки и теоретики: абсолютизм и феодализм никогда не сошли бы сами со сцены: только насилие, разрушение Бастилии, якобинский террор могли расчистить поле для великого прогресса XIX—XX столетий...

Да, это правда. Но вся ли правда? Не следует ли отсюда, что нечего средства жалеть, коли цель хороша; что смешны и наивны те, кто отрицали, не принимали Мара-



Последние жертвы террора. Картина Ш.-Л. Мюлле. Начало XIX в.

та, Робеспьера, Комитет общественного спасения, толпу, уничтожающую заключенных в парижских тюрьмах, расстрелянную Вандею, сожженный Лион?

Если б не было подобных людей, решительно не принимавших террор и кровь, то, на первый взгляд, прогрессу было бы легче пробиться; но более глубокие размышления откроют нам, что человечество, не думающее о средствах, о нравственных вопросах, немного бы стоило: оно озверело бы, съело само себя, не смогло бы в конце концов воспринять тот самый *прогресс*...

Поэтому, признавая, что новый мир стоил крови, решительно не станем этому радоваться; в лучшем случае признаем: таков закон истории, по крайней мере в определенные эпохи. Жестокий закон, который «в природе вещей». Так же как — закон гуманности, сострадания, отвращения к пролитой крови: законы, чье действие усиливается или смягчается человеческой волею...

Осенью и зимой 1792/93 года современники отмечали невиданное число самоубийств среди русской дворянской молодежи: повесился молодой писатель Сушков, застрелились два брата, молодые офицеры Вырубовы, зарезал-

ся гвардейский офицер Протасов. Молодой ярославский помещик Опочинин в январе 1793-го роздал хлеб своим крестьянам, поручил наследникам сжечь «любезные книги французские» и покончил с собою. Эти люди увлеклись вихрем революции, затем отшатнулись, но назад, к прежнему бездумному дворянскому житью, вернуться уже не могли. И тогда жизнь стала столь немила, что от нее поспешили избавиться.

В ту же пору начинает приближаться к подобному кризису и первый революционер Радищев, давно уж отбывающий ссылку в Восточной Сибири. Там, среди лесов и снегов, он, казалось бы, ведет спокойную жизнь философа в духе Руссо: путешествует по округе, лечит крестьян; сестра давно умершей жены вместе с двумя младшими его детьми проводит несколько месяцев в пути, чтобы разделить неволю Радищева, вскоре они женятся, вторая жена рождает новых детей, и, казалось бы, страсти большого мира должны отступить... Но Радищев, хоть и с опозданием почти в полгода, но все же регулярно получает от друзей разные печатные и письменные сведения о том, что происходит в столице мира — Париже.

Мы уже говорили, что уверенность Радищева в необходимости русской революции основывалась, между прочим, на первых его наблюдениях за французской: взятие Бастилии и последующие события вдохновляли. Мало крови — много результатов!

1793-й был еще неразличим в ту пору, когда Радищева везли за восемь тысяч верст на восток. Но вот он грянул — и вздрогнул сам Радищев.

Марат, Робеспьер представляются ему новыми тиранами, хуже свергнутого; он набрасывает стихи, разоблачающие кровавого древнеримского диктатора Суллу, и задает риторический вопрос, кто может сравниться с ним в наши дни?

Нет, никто не уравнится
Ему в лютоści толикой,
Робеспьер дней наших разве...

Позже — сочинит печальные стихи, как бы свидетельствующие, что — нет выхода:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоко выю,
То, что нужды, кто им правит;

Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новой
Будет благ и будет кроток:
Но надолго ль,— на мгновенье;
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.

В глухом сибирском остроге, более далеком тогда от Парижа, чем ныне труднодоступные районы Антарктиды,— в этом краю Радищев больно уязвлен французскими событиями: он так верил в революцию, но он не может принять ее с таким кровопролитием...

Радищеву тяжело в тюрьме — другим душно на воле.

Совсем недавно веселый, полный впечатлений «русский путешественник» Николай Карамзин наблюдал революционный Париж 1790 года; многого не понял, не принял, но уехал с надеждою, что просвещение возьмет верх без большой крови. Уехал, воодушевленный пламенными речами народных депутатов и симпатизируя вдохновенному и бескорыстному идеалисту Максимилиану Робеспьеру...

А затем — террор 1793-го; «национальная бритва» работает не переставая; заграничные газеты сообщают подробности, как террор поглощает и тех, кто его провозгласил; приводят последние слова Робеспьера в Конвенте: «Республика погибла, разбойники победили!»

Мы вчитываемся в старинные письма, которые 27-летний, но уже довольно известный писатель Карамзин посылает летом 1793 года своему родственнику и другу, тоже писателю, Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Поверишь ли, что ужасы происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов,— но мысль о разрушаемых городах и гибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество».

Позже: «Политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре».

Франция, Франция — «дурачество на земном шаре»; 27-летний писатель теряет охоту «жить в свете и ходить под черными облаками».

Для Карамзина, и, конечно, не для него одного, важнейший, главнейший вопрос — тот самый, который в ту пору записал один из его современников: «Вольтер, Руссо, Рейналь, Дидро... Вразумите меня постигнуть, как могли сии, столь знаменитые разумом люди, возбуждая народы к своевольству, не предвидеть пагубные следствия для народа? Как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но человеки буйны суть?»

Иначе говоря, — кто виноват в терроре, гильотине: неужели Вольтер, Руссо, Дидро? И если так, то стоит ли верить просвещению? А если не так, — то как же иначе?

Нам сегодня, в конце двадцатого века, задающего свои «проклятые вопросы», — как не понять этих людей из XVIII столетия, которые мечтали, разочаровывались, не знали, как жить, но понимали, что жить надо...

Пройдет больше полувека со времени якобинской диктатуры, и Александр Герцен, чье имя неоднократно появляется в нашем рассказе, в тягчайшие часы раздумий и сомнений вдруг отыщет в старинной книге присутствие родственной души и сам отзовется:

«...Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение...

Вот что писал гораздо прежде меня один из наших соотечественников:

„Кто более нашего славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение нравов, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений?.. Хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных... Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки.

Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? *Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя...*

Падение наук кажется мне не только возможным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они;

когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампы угаснут — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце. Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие уединенные свои хижины, — но что же будет с миром?..

Медленно редела, медленно прояснялась густая тьма. Наконец солнце воссияло, добрые и легковверные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: берег! но вдруг небо дымится и судьба человечества скрывается в грозных тучах! О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому... Нет ответа! — голова моя клонится к сердцу.

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капли радостных и море горестных слез. Мой друг! на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?

Дух мой уныл, слаб и печален!“»

Приведя длинную цитату, Герцен замечает: «Эти страданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов — Н. М. Карамзиным».

Сомнения, огорчения, разочарования Радищева, Карамзина, некоторых других тонко мыслящих и чувствующих русских людей были сродни тем чувствам, которые в разных концах мира в ту пору переживали многие примечательные люди. Столь надеявшиеся на французскую революцию и столь потрясенные террором.

Изгнанный из России дипломат-романтик Эдмон Женэ назначается посланником в Соединенные Штаты, где с таким же пылом, как на Неве, пытается интриговать против генерала Вашингтона, но явно проваливается; а за это время революционная температура в Париже становится слишком горячей даже для такого энтузиаста; и он махнул рукою на все, позабыл политику, революцию, женился на дочери одного из американских губернаторов и умер на новой родине 40 лет спустя...

Это один из многих примеров ухода, разочарования. Были и другие — у людей разных умственных возможностей.

Франции горькую участь великим обдумать бы надо,
Малым подумать о том надо, конечно, вдвойне.
Свергнут властитель, но кто же толпу оградит от толпы же?
Освободившись, толпа стала тираном толпе.

(Строки, сочиненные вместе Шиллером и Гете.)

Жизнь продолжалась

Потомкам порою кажется, что предки — современники великих событий — только и делали, что в них участвовали: восставали, свергали, казнили, шли на эшафот...

Как не вспомнить тут известные строки из романа «Война и мир», правда относящиеся к несколько более позднему времени (эпохе наполеоновских войн), но применимые ко многим периодам мировой истории. Перечислив многообразные политические события, войны, интриги, внутренние преобразования, Толстой после этого замечает: «Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований».

Жизнь обычная, веселая и печальная, шла своим чередом — и тем неожиданнее «появление» французской революции даже здесь, в сфере быта и повседневности...

Много страниц назад, в том месте нашего рассказа, где речь шла о 1789 годе, цитировалась мирная, идиллическая переписка дворян Муравьевых и Лунина, где сообщение о взятии Бастилии соседствовало с рассказом о малышах, гарцующих на палочках. Перелистывая переписку этой семьи за летние и осенние месяцы 1793 года, находим, между прочим, следующие строки (написанные просвещенным придворным Михаилом Муравьевым семье своей сестры Луниной, живущей в глубокой провинции): «Поцелуйте же за меня милых детушек и скажите от меня Катеньке, что я учусь нарочно играть на клавесине, чтоб быть после ее учителем... Мишенька, конечно, знает много хороших английских сказочек и знает, какой главный город в отечестве мисс Жефрис и в какой земле родилась она... По случаю бракосочетания великого князя Александра Павловича подряд праздники у больших бар

в честь новобрачных: вчера у Безбородки, завтра у Самойлова, потом у Строгановых, Нарышкиных. Я даю уроки русского языка молодой великой княгине Елисавете Алексеевне».

В письме, между прочим, обозначены «действующие лица» позднейших глав русской истории: великий князь Александр Павлович — 16-летний внук Екатерины II, которого бабушка поспешила женить на баденской принцессе (в России переименованной в Елисавету Алексеевну); женить, чтобы передать ему престол вместо нелюбимого сына Павла. И он в самом деле будет царствовать, внук Екатерины, но все же после своего отца; и будет в XIX столетии называться Александром I, и при нем французская волна достигнет России — в 1812 году; и при нем маленький Мишенька с друзьями замыслил неслыханные вещи.

Но до этого далеко; пока же молодого принца только женят, а тот, кто дает уроки русского языка его невесте, продолжает информировать провинциальных родственников: «Брат казенного короля Франции граф д'Артуа ожидается в Петербурге... Батюшка изволил крестить у Ивана Матвеевича сына Матвея...»

На сцене еще один герой «следующих глав», тот Матвей Муравьев-Апостол, который тридцать лет спустя будет действовать заодно с только что упомянутым «маленьким Мишенькой». В письме же после упоминания о казенном короле — одни только приятные новости: «Крымские земли, говорят, хороши — мед и млеко льются повсюду... В столице в честь новых присоединенных от Польши губерний — награды, чины, ордена, жареные быки и фонтаны вина для народа, балы, маскарады, фейерверки...»

Но при чем тут французская революция?

Оказывается, тут она, рядом.

«Крымские земли» только что присоединены к Российской империи после победоносной войны с Турцией; Екатерина II торопила своих полководцев — скорее покончить с той кампанией; между прочим, для того, чтобы освободить силы против «якобинской угрозы». Не успели, однако, отгреть залпы на Черном море, как пришлось стареющей императрице заниматься польскими делами. Лучшие люди, наиболее светлые головы Польши в эту пору переводили язык революционного Парижа на свой родной: огромное государство *Речь Посполитая*, вклю-

чавшее Польшу, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, таяло на глазах, в немалой степени от анархического дворянского правления. Один раз грозные соседи — Россия, Австрия и Пруссия уже поделили часть ее земель. Государство гибло, но под конец делаются отчаянные попытки спасения. Если Франция сумела обуздать деспотизм, то отчего полякам не совладать с анархией?

Третье мая — эта дата известна и сегодня каждому поляку. 3 мая 1791 года после долгой борьбы разных дворянских группировок была принята новая конституция, отменявшая все крайности прежней; конституция, по мнению ее создателей, столь же спасительная, как та, которую принимало в это время Учредительное собрание в Париже...

Конституция 1791 года. Екатерина II и другие монархи встревожены: во-первых, вместо слабой, гибнущей Польши может появиться новая и сильная; во-вторых, само слово «конституция», сам дух ее является не только польским, но и «французским призраком». Пока не поздно, монархи снова берутся за дело. В 1793 году — второй раздел Польши; вот отчего в столице России «награды, чины, жареные быки и фонтаны вина». Жители Белоруссии, которые становятся отныне русскими подданными, по языку и вере куда ближе к России, чем к Польше; однако варшавские патриоты ясно понимают, что соседи на том не остановятся.

И тогда-то начинается настоящая польская революция; великий патриот Тадеуш Костюшко призывает нацию к сопротивлению, к спасению Польши. Россия, Австрия и Пруссия, разумеется, на чеку; взволнованные конституцией 3 мая, теперь, в 1794-м, они вообще готовы воскликнуть: «Якобинцы у ворот!»

Увы, не было у поляков якобинской силы; не было потому, что не пошла в ход главная, козырная карта французской революции. Крепостное право, огромные помещичьи владения — «по-якобински» все это следовало бы отменить, раздать крестьянам, и тогда явилась бы энергия сопротивления, которая позволила санкюлотским армиям спокойно тягаться со всей Европой. Однако на это ни Костюшко, ни его друзья пойти не решились: умели восстать, героически, красиво сражаться, умирать, — но только по-своему, по-дворянски... Огромная русская армия под командованием Суворова вторгается в Польшу. Варшава взята штурмом, раненый Костюшко вос-

кликает: «*Finita la Polonia!*» («Конец Польше!») — и попадает в плен; Екатерина запирает его в крепость...

С 1795 года Польша как самостоятельное государство исчезает с карты Европы. До 1918 года.

Главные, чисто польские провинции вместе с Варшавой отходят пока к Пруссии; южная Польша с Краковом, а также часть Украины — к Австрии; остальные земли — к России. Густо населенные плодородные провинции, после присоединения которых число подданных Екатерины II почти удваивается (еще 20 лет спустя Варшава и соседние области также подчинятся русскому императору).

Три монарха, не справившись с революцией в Париже, как будто одолевают ее в Варшаве. Однако как не сделать тут два историко-философских примечания! Во-первых, Польша, приняв на себя удар, в немалой степени связала руки главных ненавистников революции, облегчила участь Франции.

А, во-вторых, нужно присмотреться к некоторым любопытным парадоксам: Суворов, разбивая турок и поляков, действует, понятно, в интересах своей империи, своей царицы; однако — чем берет? Почему одолевает всегда и всюду даже численно превосходящего противника? Каким образом несколько лет спустя сумеет в Италии взять верх даже над непобедимыми французскими армиями?

Александр Суворов — верный слуга престола («Французы, — восклицал он, — падали все ниже от вольтерианства в жанжакизм, потом в рейнализм и наконец в мираболизм, что хуже всего»), — Суворов применял некоторые военные приемы, близкие к «секретам» французских революционных армий. Он доверял солдату, предоставлял ему немалую свободу маневра, отчего войска получали инициативу, тактическую гибкость. В других армиях, например прусской, солдат рассматривался как крепостной, он постоянно должен быть на виду у офицера, — и поэтому неопытные, но свободные французские войска побеждали. Мы не хотим сказать, что Суворов учился у французов, — он начал задолго до 1789 года; однако как не задуматься над тем, что армия Екатерины II, предназначенная для подавления свободы «по-французски», была своеобразно свободна «по-суворовски»!.. Именно

* Подразумеваются идеологи и деятели французской революции Вольтер, Жан-Жак Руссо, Рейналь и Мирабо.

поэтому победоносный полководец вызывал постоянное недоверие русских царей и часто попадал в опалу... Вот сколько политических событий и ситуаций скрыто за несколькими строчками Михаила Муравьева о прекрасных крымских землях и присоединенных от Польши губерниях.

Однако жизнь продолжается.

М. Н. Муравьев (6 октября 1793 года): «Дни три назад у Захара Матвеевича родился сын и назван по имени дедушки Артамоном, который дядюшке и братцам и сестрицам рекомендуется. Батюшка изволил крестить...»

27 октября 1793 года: «Сказывают, что королева французская последовала судьбе супруга своего. Сии мрачные привилегии должны служить утешением тем, которые печаливаются своей неизвестностью и счастливы без сияния. Менее зависти, более благополучия. Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?.. Веселья придворные прерваны трауром по королеве французской».

Казнена Мария-Антуанетта. Родился Артамон Муравьев, еще один будущий русский революционер; близкий родственник Михаила Лунина и Муравьевых-Апостолов, чьи краткие жизненные пути в большей степени, чем у других, сплетутся с Францией...

Термидор

16 (27) июля 1794 года, воскресенье: камер-фурьер Андрей Волкодав записал в официальный Дневник главных придворных происшествий, камер-фурьерский журнал, сведения о том, чем занимались в этот день обитатели Царскосельского дворца (на лето покинувшие Петербург):

«Поутру, по отправлении в комнате утрени и после посещения ее величества их высочествами великими княгинями... прибыть изволили их императорские высочества государь великий князь Александр Павлович, государыня великая княгиня Елисавета Алексеевна и государь великий князь Константин Павлович.

В полдень ее императорское величество изволило из внутренних своих апартаментов шествовать обще с их императорскими высочествами, в предшестве придворных кавалеров и в провожании знатных обоего пола пер-

сон, в придворную церковь на хоры, к слушанию литургии...»

Этим же изысканным, почти живописным слогом далее сообщается, что затем «ее императорское величество изволили иметь обеденное кушание на колоннаде на 23-х кувертах, во время стола... играла духовая музыка, а к столу приглашены...»

23 приглашенных, можно сказать, представляют разные главы минувшей, настоящей и будущей истории.

На первом месте графиня Александра Васильевна Браницкая, племянница Потемкина, точно не знавшая, сколько у нее миллионов (сама говорила, что «кажется, двадцать восемь»); к ее главному владению, Белой Церкви, попытаются добраться восставшие декабристы — но это случится много позже, 32 года спустя...

Рядом с Браницкой — двое убийц Петра III: князь Федор Сергеевич Барятинский и Петр Богданович Пасек; последний не может, конечно, предвидеть, что лет через шестьдесят «попадет в русскую литературу» как двоюродный дед одного из героев «Былого и дум» Вадима Пассека: ограбив и погубив своего племянника (отца герценовского друга), Петр Богданович во многом определил судьбу этого несчастного семейства и будто специально старался, чтобы оно предстало перед Герценом таким, каким стало...

За тем же екатерининским столом заметим и другого «литературного героя», 44-летнего князя Николая Борисовича Юсупова, который 36 лет спустя поведает об этих днях и годах Александру Сергеевичу Пушкину, а тот делает престарелого аристократа главным героем стихотворения «К вельможе»:

...Ступив за твой порог,
Я вдруг переносюсь во дни Екатерины.

Кроме двадцати русских, безмятежно обедающих с царицей, летним днем, под колоннадою, при духовой музыке, здесь же присутствуют три иностранца: венгерский магнат граф Эстергази, ведущий свой род от Аттилы, а также два примечательных француза.

Первый — граф Шуазель (точнее, Шуазель-Гуфье): видный археолог и дипломат, недавно представлявший Людовика XVI в Константинополе, а теперь спасающийся от разъяренных парижских санкюлотов в России (при Павле I он возглавит Российскую академию художеств).

Другой же француз, 60-летний Шарль де Калонна, несколько лет назад был министром, государственным контролером, предлагавшим разные финансовые меры для предотвращения революции; одно время он был весьма популярен, затем вызвал гнев и народа, и властей, а теперь делит эмиграцию со многими недавними друзьями и недругами.

В Париже пламя и гильотина; в Царском Селе после обеда — «прогулка мимо киоска, где играла инструментальная музыка с хором певчих, за киоском — духовая музыка, а на бугорку у пруда — роговая».

Вечером же 16 (27) июля — «бал, который открыл его императорское высочество великий князь Александр Павлович с графиней Александрой Васильевной Браницкою польским миноветом. В 9 часов вечера ее величество изволили отсутствовать во внутренние апартаменты».

Польский миновет... Изволили отсутствовать... Слог свидетельствует об устойчивости режима.

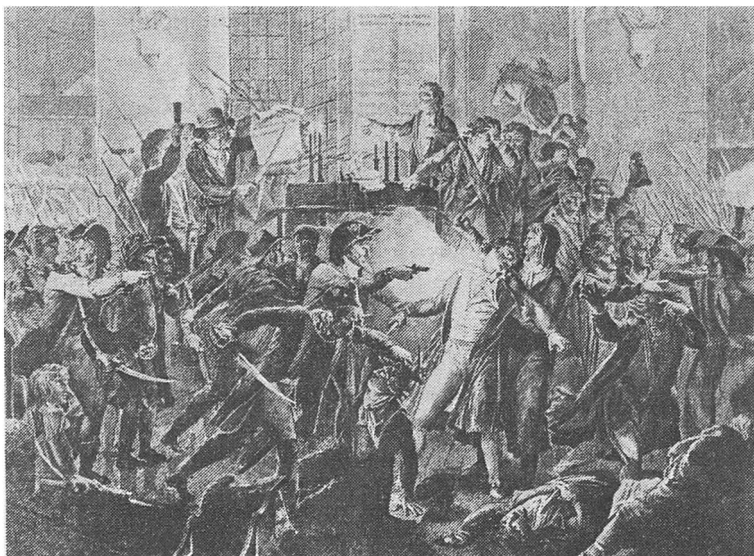
Следующий день, *понедельник 17 (28) июля*, был рабочим; с утра царица собирала Совет. К завтраку же приглашен семидесятилетний адмирал Петр Пущин — тот самый, который 17 лет спустя определит в Царско-сельский Лицей своего внука Ивана Ивановича...

Вечером царица с внуками смотрела «Русскую комедию с малым балетом».

Июль 1794-го... 40-летний наследник Павел Петрович давно замкнулся в своей Гатчине. Его отец загублен, мать узурпировала власть: принц Гамлет! Австрийский император щедро наградил директора своего театра, догадавшегося (во время пребывания наследника в Вене), что не следует Павлу смотреть эту шекспировскую трагедию — «ибо тогда в зале будут два Гамлета!»

27-летний фаворит Платон Александрович Зубов находится в такой силе, что генерал-губернаторы только после третьего его приказа садятся на кончик стула, а сенаторы смеются, когда с них срывает парик любимая обезьянка фаворита; играя же в фараон, случается, ставит по 30 тысяч на карту.

«Санкт-Петербургские ведомости» извещают о продаже у Кистермана в Ново-Исаакиевской улице «портрета его светлости князя Платона Александровича Зубова», но никаких сообщений о продаже прежнего товара — портретов Потемкина, Орлова...



Ночь с 9-го на 10-е термидора II года Республики. Гравюра по рис. Барбье.

В этот и следующие дни провинившийся в Париже «гражданин Очер», граф Павел Строганов «приходит в себя» в Братцево — подмосковном имении отца.

220 солдат и 78 пушек охраняют в Шлиссельбургской крепости двух фальшивомонетчиков, одного дезертира и богохульника, одного буяна (у которого от частых земных поклонов — на лбу знак «в меру крупного яйца»), одного поручика, «за продажу чужих людей, сочинение печатей и пашпортов заключенного до окончания шведской войны» (война четыре года как окончилась, про него забыли), а также вольнодумца Федора Кречетова. В сырой камере, без права гулять и брить бороду, помещаются Николай Новиков и добровольно разделяющий с ним заключение доктор Багрянский...

Заключенный Илимского острога Александр Радищев вскоре запишет: «Если бы в то время, когда Ньютон полагал основание своих бессмертных изобретений, препят был в своем образовании и переселен на острова Южного Океана, возмог ли бы он быть то, что был? Конечно, нет. Ты скажешь, он лучшую бы избрал ладью... и в Новой Зеландии он был бы Ньютон. Пройди сферу мыслей

Ньютона сего острова и сравни их с понявшим и начертанным путем телам небесным... И вещай!»

27 и 28 (16 и 17) июля 1794 года — это 9-е и 10-е термидора II года французской Республики: конец революции.

В этот день в Париже «болото» берет верх над революционной «горой»: Робеспьер и Сен-Жюст идут на гильотину...

Революция идет на убыль, но все же не прекращается; Франция никогда не возвратится к тому, что было до 1789-го.

9-е термидора: по мнению очень многих русских, в Париже вообще почти ничего не изменилось: нет короля, дворянская и церковная земля поделена между крестьянами, революционная республика...

Но все же якобинцы позади. Впереди маячат призраки директории, консульства, империи.

Мир становится другим — но необходимо время, чтобы в этом разобраться...

После грозы



БАБЕФ из тюрьмы — другу: «Нет, этот глупый народ не заслуживает того, чтобы честный человек защищал его интересы».

Бабеф из тюрьмы возвращает с исправлениями письменную работу старшего сына Эмиля: «Прощай, добрый день, мой маленький товарищ».

Бабеф из тюрьмы: упреки сыну, что он «вечно у реки и на улице... в компании отъявленных сорванцов»; 10-летнему Эмилю напоминает, что тот живет «за счет общества». В наказание мальчику приказано точно скопировать письмо отца от начала до конца...

В Москве и Ленинграде среди коллекций, собранных в XIX и XX веках, нет более поздних писем этого человека, во время революции сменившего прежнее имя Франсуа-Нозль на древнеримское Гракх; человека, мужественно ожидающего в парижской тюрьме смертного приговора за план новой революции с целью установления во Франции и на земле полного, коммунистического равенства.

Французская республика только что приняла закон об отмене смертной казни, но закон вступит в силу... на другой день после установления *вечного мира* на планете.

Поздняя осень 1796 года — последняя осень Бабефа, который через несколько месяцев отправится на встречу с гильотиной, восклицая: «Прощайте навсегда! Я погружаюсь в сон честного человека!»

Последняя осень и в жизни женщины, воспитывавшейся на тех же книгах, что и Бабеф, но для которой и коммунист-утопист, и его палачи — одно и то же устрашающее «видение дьявола».

Последняя осень Екатерины II.

Царица еще размышляет о том, как лучше встретить приближающийся XIX век; продолжает обдумывать, как передать престол любимому внуку Александру вместо нелюбезного Павла, и собирается объявить свое решение либо в Екатеринин день, 24 ноября, либо к Новому, 1797 году.



Гракх Бабеф. Гравюра начала XIX в.

Однако 6 ноября 1796 года — апоплексический удар, на другой день — смерть.

Когда-то, в годы просвещенных игр и надежд на свободу и философию, царица придумала сама себе шутиливую эпитафию: «Здесь лежит Екатерина Вторая, рожденная в Штеттине 21 апреля/2 мая 1729 года. Она прибыла в Россию, в 1744, чтоб стать женой Петра III. В возрасте 14 лет она задумала тройной проект, как понравиться своему мужу, Елизавете и нации. Она никогда не забывала об успехе. 18 лет скуки и одиночества заставили ее прочесть немало книг. Вступив на русский трон, она желала блага и пыталась обеспечить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и ни к кому не испытывала ненависти.

Снисходительная, услужливая, с веселым характером, республиканской душой и добрым сердцем.

Она имела друзей. Работа была ей легка, ей нравились общество и искусство».

Эти строки, особенно слова о «республиканской душе», смущали цензоров даже век спустя, при публикации бумаг Екатерины.

Романтическое царствование

Внезапная смерть Екатерины II и стремительное восшествие на престол Павла описывались некоторыми современниками в терминах, более подходящих для восстания, революции.



Павел I. Гравюра Вольфа.

«Дворец взят штурмом иностранного войска» (свидетель *Ш. Массон*).

«Тотчас все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорды, тесаки и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом» (*Г. Р. Державин*).

«Началась ужасная сутолока, появились новые люди, новые сановники» (*Н. А. Саблуков*).

После вступления Павла на престол начинают происходить необыкновенные вещи.

Царь объявляет, что страна истощена, и рекрутов распускают по домам.

Однажды Павел, еще наследник, встретил толпу преступников, и один из них спародировал священное писание: «Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое». Записав имя просившего, Павел-император его освободит; первым же в новое царствование был амнистирован Новиков, за ним и много других. Радищев в том числе.

Но через четыре года насчитывались несколько тысяч новых заключенных.

Блестящую образованность наследника Павла, странствовавшего по Европе, некогда оценил знаменитый Д'Аламбер.

На придворных же балах упаси боже хоть в танце повернуться к императору Павлу «тылом»; когда же происходило целование руки — обязательно предписывалось громкое чмокание и сильный удар коленкой об пол.

Царь музыкален, отлично играет на балалайке.

Споткнувшейся же лошади велит отсчитать 50 сильных ударов «за то, что провинилась перед императором».

«Сам во все входит и скор на резолюции», — похвалит царя писатель Капнист в одном из писем к жене.

Но существует рассказ, будто в злую минуту Павлу доложили, что комедия Капниста «Ябеда», посвященная его величеству, есть насмешка над царствованием; нежного комедианта мигом — из постели в кибитку, в Сибирь; вечером, однако, погода переменялась, театру велено играть «Ябеду» перед двумя зрителями — Павлом и наследником Александром; актеры ждут, что их пошлют вослед сочинителю, но после первого акта отправлен курьер — Капниста вернуть, после второго — наградить деньгами и чином... Драматурга догнали за много верст от столицы, а при въезде встречали наградою, что не помешало общему цензурному запрету «Ябеды»...

Крестьянам больше трех дней на барщине не бывать.

600 000 душ раздарено дворянам.

Всем можно просить обо всем.

Но секретарь регистрирует: «Жалоба возвращена просителю с надранием, просителя выслать».

Еще, еще; еще — милость и варварство. Или — наоборот...

При этом «павловские безобразия» вряд ли были хуже того, что делалось лет шестьдесят назад, при Петре Великом и его первых преемниках. Отчего же о Павле сказано куда больше негодующих слов? Чего хотел этот, по выражению Пушкина, «романтический император»?

«Рыцарство против якобинства»

«Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде» (позднейшая и достаточно объективная оценка писателя-министра И. И. Дмитриева).

26 февраля 1797 года в Петербурге на месте снесенного Летнего дворца Павел самолично кладет первый камень Михайловского замка. Обрядность, символика здесь максимальные: возводится окруженный рвом замок старинного, средневекового образца, цвета перчатки прекрасной дамы (Анны Лопухиной-Гагариной), которой царь-рыцарь поклоняется; расходы же на замок превышают самые смелые предположения: сначала было отпущено 425 800 рублей, однако затем суммы удесятились, и в течение трех лет ежедневный расход на строительство составлял десятки тысяч рублей.

Наконец, православный царь берет под покровительство Мальтийский рыцарский орден, как будто и не подумав, что это объединение католических рыцарей и гротесмейстер ордена формально подчинен римскому папе. Таким образом, на невских берегах появляются мальтийские кавалеры, мальтийские кресты, орден св. Иоанна Иерусалимского.

«Рыцарство», «царь-рыцарь» — об этом в ту пору говорили и писали немало. Нейтральные наблюдатели не раз толкуют о причудливом совмещении «тирана» и «рыцаря».

«Павел, — пишет шведский государственный деятель Г. М. Армфельдт, долгое время находившийся при русском дворе, — с нетерпимостью и жестокостью армейского деспота соединял известную справедливость и рыцарство в то время шаткости, переворотов и интриг».

Дело не в «возвышенных понятиях», а в идеологии. Армфельдт правильно уловил некоторое внутреннее единство внешне экстравагантных, сумасшедших поступков. Фраза о «времени шаткости, переворотов и интриг» в устах монархиста Армфельдта и многих других означает примерно следующее. У мира королей, аристократов, феодализма к исходу XVIII столетия нет мощной, ведущей идеи: проверенное тысячелетиями религиозное обоснование власти дало серьезную трещину; преобладают неуверенность, смуты, мелкие страсти, в частности тот

цинизм, который вплетался в российское, и конечно не только в российское, просвещение.

С презрением описывал обстановку «бабушкиного двора» великий князь Александр.

Даже Герцен, представивший в своих сочинениях целую серию «антипавловских» мыслей и образов, в конце жизни заметит, что «тяжелую, старушечью, удушливую атмосферу последнего екатерининского времени расчистил Павел».

Между тем в последние годы XVIII века старый мир с ужасом наблюдает не только военные победы французских санкюлотов, но также и силу, влияние революционной идейности — куда более могучей идеологии, нежели неуверенная смесь просвещения, цинизма и религиозной терминологии.

После же 1794 года, когда французская революция идет на убыль, когда ее лозунги все более расходятся с сутью и наиболее чуткие европейские мыслители, прежде увлеченные парижскими громами, ошеломлены как якобинским террором, так и термидорианским перерождением, — в этой сложнейшей переходной исторической ситуации монархи особенно жадно ищут лучших слов, новых идей — против мятежных народов.

Одну из таких попыток мы наблюдаем в последние годы XVIII века в России: обращение к далекому средневековому прошлому, рыцарская консервативная идея наперекор «свободе, равенству, братству».

Чего желал нервный, экзальтированный, достаточно просвещенный 42-летний «российский Гамлет», вступив на престол после многолетних унижений и страхов, при таких событиях в Европе?

Идея рыцарства — в основном западного, средневекового (и оттого претензия не только на российское — на вселенское звучание «нового слова»), рыцарства с его исторической репутацией благородства, бескорыстного служения, храбрости, как будто бы присущих только этому феодальному сословию.

Рыцарство против якобинства (и против «екатерининской лжи!»), т. е. *облагороженное неравенство против «злого равенства»*.

«Замечательное достоинство русского императора, стремление поддержать и оказать честь древним институтам», — запишет в 1797 году Витворт, британский посол в России, будущий враг Павла.

«Я находил... в поступках его что-то рыцарское, откровенное», — вспомнит о Павле его просвещенный современник.

Граф Литта и другие видные деятели Мальтийского ордена, угадав, как надо обращаться с царем, чтобы он принял звание их гроссмейстера, «для большего эффекта... в запыленных каретах приехали ко двору» (заметим, что Литта к тому времени уже около десяти лет жил в Петербурге). Павел ходил по зале и, «увидев измученных лошадей в каретах, послал узнать, кто приехал; флигель-адъютант доложил, что рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского просят гостеприимства. «Пустить их!» Литта пошел и сказал, что, «странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет...» и т. п. Царь благосклонно выслушал все просьбы рыцарей.

«Принц Гамлет» становится «императором Дон-Кихотом».

«Русский Дон-Кихот!» — восклицает Наполеон.

Пройдут еще десятилетия, и к павловской теме обратится молодой Лев Толстой. «Я нашел своего исторического героя, и ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю».

Он не возьмет на веру обычные отзывы о «безумном царе», но не сможет и доискаться настоящих источников, ибо тема была чересчур запретной. «Мне кажется, — записал Толстой, — что действительно характер, особенно политический, Павла I был благородный, рыцарский характер». Однако позже в одной из работ писатель замечает: «Да и тот человек, в руках которого находится власть, нынче еще сносный, завтра может сделаться зверем, или на его место может стать сумасшедший или полусумасшедший его наследник, как баварский король или Павел». Писателю удастся получить нужные сведения только лет через сорок. «Читал Павла, — записывает Толстой 12 октября 1905 года. — Какой предмет! Удивительный!»; в другом месте: «...признанный, потому что его убили, полубешеным Павел... так же, как его отец, был несравненно лучше жены и матери...»

Лев Толстой не успел осуществить свои замыслы, но мы кое-что знаем о них. Симпатизируя Павлу как личности, порою идеализируя его, Толстой тем не менее понимал его обреченность: даже самодержавный царь не может создать то, для чего нет исторической основы. Нель-

зя (по Толстому) «выдумывать жизнь и требовать ее осуществления».

Консервативная утопия. Неосуществимость ее была засвидетельствована кровью.

Откуда же взялась подобная идея, где ее предыстория?

Многое заимствовано из книг (как было и у героя Сервантеса). Учитель юного Павла Семен Порошин, между прочим, замечал, как в детских мечтах будущего царя его угнетенность, униженность, обида на мать явно компенсировались воображением. Немалое место там занимали рыцари, объединенные в некий «дворянский корпус».

«Читал я,— записывает однажды Порошин,— его высочеству историю об Ордене мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии свой флаг адмиральский, уменьшить в армии пьянство, разврат, карточную игру».

Идея рыцарской чести вызвала к жизни и ряд других. Рыцарству свойственно повышенное внимание к жесту, эмблеме, гербу, цвету, форме.

Наполеон отмечал, что русский царь «установил при своем дворе очень строгий этикет, мало сообразный с общепринятыми нравами, малейшее нарушение мельчайшей детали которого вызывало его ярость, и за одно это попадали в якобинцы».

При Павле высокий смысл приобретают такие элементы формы, строя, регламента, как шаг, размер косицы на парике и т. п.

Рыцарский орден, сближающий воина и священника, был находкой для Павла, который еще до мальтийского гротескнейстерства соединил власть светскую и духовную.

Кроме любимой формулы Павла «русский государь — глава церкви», можно вспомнить о контактах царя с иезуитами (и о его просьбе, обращенной к папе Пию VII, отменить запрещение иезуитского ордена), о знаменитом отце Грубере, иезуите, игравшем видную роль при дворе в последние месяцы царствования Павла. Переписка Павла с Пием VII была весьма теплой. В конце 1800 года папа получил личное приглашение царя поселиться в Петербурге, если французская политика сделает его пребывание в Италии невозможным. Позже Пий VII не раз отслужит заупокойную мессу по русскому царю.

Все это нелегко понять вне «рыцарской идеи»: союз

царя-мальтийца со вселенской церковью — важная цель для монарха, собирающегося вернуть всему миру утраченную «главную идею». Речь не шла об измене православию или переходе в католицизм: для Павла различие церквей было делом второстепенным, малосущественным на фоне общей теократической идеи.

Любопытно, что другой «вселенский деятель» — Наполеон в это время был накануне своего конкордата с папой Пием VII, т. е. акции, близкой к планам Павла. Слухи, разговоры о планах российского императора соединить церкви (и даже принять со временем папскую тиару!) в этом контексте кажутся не лишними почвы.

Царь-папа, мальтийский гроссмейстер — это и чисто российское поглощение церкви властью («Вот вам патриарх!» — восклицает в пушкинской интерпретации царь Петр Великий, ударив себя в грудь, когда слышит просьбу духовенства о назначении главы церкви); это и российская аналогия «наполеоновскому направлению»: недаром Павел и первый консул столь легко поймут друг друга...

Рыцарская идея Павла порождает определенный тон, стиль, театральность, юмор.

Распекая адмирала Чичагова (сидевшего перед тем в крепости будто бы за якобинство), Павел произносит: «Если вы якобинец, то представьте себе, что у меня красная шапка, что я главный начальник всех якобинцев, и слушайте меня» (шутки насчет собеседника-якобинца, видимо, употреблялись часто).

Насмешливое предложение русского царя всем монархам выйти на дуэль (с первыми министрами в роли секундантов) было опубликовано как бы от «третьего лица» в «Гамбургской газете».

Итак, консервативно-рыцарская утопия Павла возводилась на двух устоях (а фактически на минах, которые сам Павел подкладывал): всевластие и честь; первое предполагало монополию одного Павла на высшие понятия о чести, что никак не согласовывалось с попыткой рыцарски облагородить целое сословие.

Основа рыцарства — свободная личность, сохраняющая принципы чести и в отношениях с высшими, с монархом, тогда как царь-рыцарь постоянно подавляет личную свободу.

Честь вводится приказом, деспотическим произволом, бесчестным по сути своей. В XII—XIV, даже более позд-



Карикатура
на Павла I.

них веках многое в этом роде показалось бы естественным. Однако в 1800 году мир жил в иной системе ценностей, и царя провожают в могилу смешной и печальный анекдот: Павел просит убийц повременить, ибо хочет выработать церемониал собственных похорон.

Притесняя дворян, привыкших в течение долгого царствования Екатерины II к личным свободам, Павел в то же время любил подчеркивать свою народность; разумеется, не зная и опасаясь российской «черни», он, однако, противопоставлял ее французской: та — казнит своих королей, эта — может поддержать своего императора против непокорной знати.

Кое-какие уступки были даны крестьянам, купцам, солдатам; народ по-прежнему жил в тяжелейших условиях, но все же предпочитал Павла умершей его матери: во-первых, царь-мужчина казался более законным правителем, нежели самостоятельно правящая женщина; во-вторых, солдатам и крестьянам доставляло немалое удовольствие наблюдать, как Павел смещает и унижает генералов, офицеров, знатных особ.

Причудливое, зловещее сочетание павловской тирании и «народности» было замечено современниками. Без труда можно выбрать из сочинений разных авторов примерно однородные высказывания и образы.

Гасконец Санглен (при Александре I одно время — многознающий и циничный деятель тайной полиции): «Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал под оное. Отправляя, в первом гневе, в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. Это был чистый подкоп, ибо без этого различия самодержавие удержаться не может. Если бы он наследовал престол (в XVI веке) после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его на царствование...»

Шведский дипломат Стедингк: «Действительно, самая знатная особа и мужик равны перед волей императора, но это карбонарское равенство — не в противоречии ли оно с природой вещей?»

«Вдруг,— вспоминал чиновник, талантливый мемуарист Ф. Ф. Вигель,— мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым, однако ж, в мундир прусского покроя и с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков; Версаль, Иерусалим, Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплины и феодального самоуправления умел он соединить в себе с необузданною властью ханскою и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства».

Еще и еще возникают образы «уравнителей и санкюлотов» на троне — парадоксальное российское эхо французских событий.

В 1796 году Екатерина II спрашивала генерала Салтыкова о его воспитаннике и своем внуке Константине Павловиче: «Я не понимаю, откуда в нем вселился такой подлый санкюлотизм» (имелось в виду неуважение принца к аристократам, разумеется не с революционной, а с императорской «стороны»). Царица подозревала дурное влияние Павла.

Пушкин в 1834 году скажет брату царя великому князю Михаилу Павловичу: «— Вы истинный член вашей фамилии: все Романовы революционеры-уравнители.— Спасибо, так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, вот репутация, которой мне не доставало».

Наконец, Герцен назовет самодержавие XVIII—XIX века «деспотическим и революционным одновременно»; Павел у него действует, «завидуя, возможно, Робеспьеру», в духе «Комитета общественного спасения». Подразумевается огромная, подчас революционная роль той ломки, крутых преобразований, которые начинаются с Петра, производятся в России «сверху»; подразумевается, что мужик и барин в известном смысле равны перед всемогущим деспотизмом.

Якобинство и деспотизм; «равенство злое» и «благородное неравенство». Причудливые, противоречивые обстоятельства последних лет XVIII века приводили к удивительнейшим сочетаниям и парадоксам, когда «все смешивалось».

Je déteste

«Je deteste le traître de son roi et de sa patrie».

«Я презираю предавшего своего короля и отечество». Это первое из дошедших до нас высказываний Матвея Ивановича Муравьева (в будущем — Муравьева-Апостола), которому было тогда лет пять, больше, чем брату Сергею (при том, кажется, присутствовавшему). 1798 год. Место действия — Гамбург, где отец двух мальчиков, 36-летний посланник Иван Муравьев, представляет особу своего монарха.

Высказывание пятилетнего мыслителя в высшей степени примечательно. Оно адресовано уже упоминавшемуся в нашем повествовании знаменитому генералу французской революции Дюмурье, который незадолго до того изменил революции, объявил о своей верности монархии и бежал к неприятелю. Матюша Муравьев слышит, как старшие говорят, что генерал служил сначала отечеству против короля, потом — наоборот; и его не волнуют тонкости — что в тогдашней Франции изменить королю и отечеству одновременно очень мудро и т. п.

Когда генерал приходит в дом русского посла и пытается приласкать мальчика, он получает свое.

Но заметим — получает на хорошем французском языке, родном и для этого мальчика, и для Сергея.

Но зачем же генерал Дюмурье ходит к Ивану Матвеевичу? А затем, что формально для русского посла любой враг революции отнюдь не изменник, а герой, и из Петер-

бурга велят намекнуть генералу, что в России его ждет благосклонная встреча: очевидно, блестящие победы, которые одерживал Дюмуре над своими сегодняшними друзьями, предводительствуя вчерашними, произвели на Павла впечатление. Выполняя это поручение, русский посол приглашает Дюмуре на обед, но старший сын выдает предобеденные разговоры дипломата!

С поручением Иван Муравьев, однако, справился, Дюмуре поехал к Павлу, но они не понравились друг другу.

Матвея же, конечно, за выходку наказали.

Позже он вспоминает о самом себе:

«Пятилетний мальчик в красной куртке был ярый роялист. Эмигранты рассказами своими о бедствиях, претерпленных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, его сильно смущали. Отец его садится, бывало, за фортепиано и заиграет «Марсельезу», а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки».

Вот как порою начинались биографии будущих революционеров. Тут очень занимателен папаша Иван Матвеевич, сохранивший циническую веселость екатерининских времен: Дюмуре — друг, но разве не предатель? С «Марсельезой» — война, но неплохо сыграть ее, смеясь над слишком фанатичным сыном. События как-то раздваиваются, понятия смешиваются. Дети сочувствуют бежавшему из Франции маркизу де Романс, побочному сыну Людовика XV, но вряд ли он занимал бы их так, если бы в Гамбурге не стал обойщиком в рабочей куртке и фартуке.

При всем при этом шутки и серьезные рассуждения насчет павловского «якобинства» намекали на возможность соглашения, даже союза «императора-якобинца» с французской революцией, впрочем, давно миновавшей стадию Марата и Робеспьера.

Однако прежде чем помириться — понадобилось сразиться.

«Далеко шагает...»

«Далеко шагает мальчик, пора унять!» — эти слова 67-летний фельдмаршал Суворов произносит, следя за победоносной итальянской кампанией 28-летнего генерала Наполеона Бонапарта.

Сам Суворов в очередной раз попадает в опалу: снова его общая преданность императорской системе вступает в противоречие с особым, свободным взглядом на солдата, с передовыми, даже можно сказать, революционными принципами военного искусства. После того как Павел I узнал о несогласии полководца с новыми армейскими правилами, о насмешках над формой, плац-парадами, Суворова высылают в собственное имение и около двух лет держат там под строгим надзором. Однако, когда Павел вступает в новую антифранцузскую коалицию с Англией и Австрией, союзники выдвигают решительное требование, чтобы русскую армию возглавил Суворов. Царь, как с ним часто бывало, вдруг сменил гнев на милость, 69-летнего фельдмаршала извлекают из заточения и отдают под его начало огромную армию, которая должна отправиться в Италию.

Уже десять лет прошло после штурма Бастилии; все это время сначала умеренно, а потом все горячее петербургское правительство помогало европейской контрреволюции. Однако ни разу еще дело не доходило до прямой схватки: армии санкюлотов сражались с немецкими, австрийскими, итальянскими, голландскими, испанскими армиями — но только не с русскими. Добавим, что вообще Россия за всю свою историю до этого никогда с Францией не воевала (да и после революционных и наполеоновских лет — всего один раз, в Крымскую войну!). Теперь же вся Европа ожидала, чем кончится столкновение непобедимой армии Франции, где сражались свободные люди за свободное дело, — и русских войск, столь прославленных на полях многих сражений XVIII века и возглавляемых легендарным полководцем. Революция и контрреволюция, захватнические аппетиты как Петербурга, Вены, Лондона, так и Парижа, героические подвиги и низкие интриги — все переплелось в сложнейшем калейдоскопе событий...

Итальянские и швейцарские походы Суворова очень популярны у наших историков, литераторов, живописцев. Действительно, летом и осенью 1799 года происходили удивительные вещи; не удалось, правда, Суворову прозакзаменить «далеко шагающего мальчика»: Наполеон, отрезанный английским средиземноморским флотом, лишь с большим опозданием и огорчением узнал, что правительство Директории без него не справилось.

Русский флот под командованием адмирала Ушакова,

а также английский флот адмирала Нельсона в 1799-м сильно потеснили французские позиции в Средиземном море: трехцветное знамя перестало развеиваться над Неаполем, Корфу и Мальтой. Однако главные события развернулись в Северной Италии. У Суворова было не больше, а порой и меньше войск, чем у французов, возглавляемых отличными генералами Жубером и Моро. Как известно, молодые и честолюбивые начальники сами в ту пору могли претендовать на роль будущего диктатора и, сражаясь с Суворовым, «метили в Наполеоны». К тому же буквально с первых дней союзники России, Австрия и Англия, начали опасаться суворовских успехов, и вокруг русской армии быстро образуется некий вакуум: смысл интриги прост — боязнь, что русские, заняв Италию, из нее не уйдут, не вернут ее прежним хозяевам — австрийцам.

И тем не менее блестящие, громовые победы Суворова при Треббии, при Нови и другие... Моро опрокинут, Жубер убит, Италия очищена.

Про Суворова рассказывают сказки, будто он оборотень, колдун. Старый фельдмаршал охотно поддерживает эту версию; более того, культивирует свои странности; приказывает занавешивать зеркала в тех домах, где останавливается (ибо не желает видеть «свою уродливую физиономию»), встает всегда в 2 часа ночи, обедает в 8 утра, перед боем может быстро, невзирая на годы, влезть на дерево осмотреть местность и вдруг закукарекать. Впрочем, это только усиливает его авторитет у солдат; многие искренне уверены, что Суворов «волшебное слово знает», и это — придает дополнительные силы...

Россия жадно ловит газетные известия с итальянского и других театров военных действий, попадающие в санкт-петербургские и московские «Ведомости», понятно, с опозданием на несколько недель.

«Думают, что Буонапарте (в Египте и Палестине) скоро решится отдаться в плен англичанам».

«Под туринскую цитадель прошлую ночь отворяли траншею... Состоявший при армии его императорское высочество великий князь Константин Павлович находится в вожделенном здравии».

«Как особо отличившихся и достойных высших наград генерал-фельдмаршал граф Суворов-Рымникский считает генерал-майора князя Багратиона, генерал-майора Милоладовича».



А. В. Суворов. Гравюра начала XIX в.

Имена будущих героев 1812 года.

Суворов захватывает в Италии одну из крепостей, французскому же гарнизону дает «свободный выход», с тем чтобы 6 месяцев с русскими не воевать.

Известие об эпидемии, пожирающей наполеоновскую армию на Востоке, заканчивалось надеждой: «...и скоро их всех ч... поберет». «Черт» — слово, совершенно нецензурное.

1799 год — десятилетие парижской революции...

Дальнейшие события известны: корпус Суворова, к великой радости австрийцев, покидает Италию; он идет на соединение с русскими, которые должны утвердиться в Швейцарии. Однако Массена, будущий знаменитый наполеоновский маршал, разбивает отряд, на соединение с которым движется Суворов. Положение русского войска в Альпах между победителями-французами и полуврагами-австрийцами отчаянное, но Суворов, старый и больной, совершает немыслимое: переходит через Альпы, спасает людей и по приказу Павла возвращается в Россию. Царь, чья «рыцарская слава» умножилась успехами Суворова, награждает фельдмаршала величайшим и редчайшим военным званием генералиссимуса; однако, награждая, уже ревнует к всемирной славе своего полководца.

Вскоре Суворов умирает, и Петербург его торжественно хоронит при полной безучастности монарха. Павел, казалось бы столь щепетильный к вопросам чести, нацио-

нальной славы, совершенно не замечает, не хочет замечать того, что выражают петербургские проводы Суворова: той степени национальной просвещенной зрелости, которой достигло русское общество...

Павел ничего не понял; кажется, во французской революции он разбирался лучше, чем в русских событиях.

Как раз в это время император совершает серию поступков, которые с удвоенной силой заставили современников рассуждать о его «якобинском деспотизме».

«Наследник и убийца...»

20 лет спустя Пушкин напишет стихотворение «Наполеон», где, между прочим, скажет о своем герое:

Мятежной вольности наследник и убийца...

В парадоксальном смысле можно сказать, что Суворов помог дальнейшему его возвышению: в итальянских сражениях погибли конкуренты Наполеона; Директория, потерявшая Италию, была скомпрометирована, — авторитет генерала Бонапарта, без которого никак невозможно обойтись, естественно возрастает.

В те самые дни, когда Суворов возвращается домой, Наполеон дерзко приплывает из Египта и 18 брюмера VII года Республики (9 ноября 1799-го) берет власть, разгоняет Директорию и объявляет себя первым консулом Франции. В тот день, когда Суворова опускают в могилу, Наполеон уже движется по дорогам Италии — возвращать утраченное — и вскоре сокрушает при Маренго австрийские армии...

В Петербурге же мало кто думает, что теряются плоды прошлогодней кампании: наоборот, там радуются!

Павел и его канцлер Ростопчин быстро шли на сближение с Францией и разрыв с Англией. Ростопчин разрабатывал для Павла теорию относительного невмешательства России в европейские дела: либо война с Францией в Европе, либо столкновение с Англией на Балтике, на Востоке; второй вариант казался для России менее кровопролитным, хотя страна была заинтересована в английском рынке, хотя наполеоновские планы мирового господства со временем все равно привели бы к войне с Францией...

Не стоит фантазировать: приведенные рассуждения нужны, собственно говоря, для двух выводов. Новая



Наполеон Бонапарт, командующий Итальянской армией. Портрет Ж.-Л. Давида, рис. Бельяра.

внешняя политика вовсе не была столь «безумной» и «нелепой», как это изображали противники ее в ту пору и после. Российское дворянство было заинтересовано в продаже леса и хлеба британцам, но этот фактор не следует преувеличивать. Моряк-декабрист Штейнгель вспомнит позже о патриотическом одушевлении русской молодежи в восторженном желании «сразиться с Джеками».

И другое обстоятельство: крайне любопытна быстрая реакция царя Павла на перемены во Франции (очевидно, сыграл роль хитроумный Ростопчин). «Он делает дела, и с ним можно иметь дело», — говорит Павел о новом французском диктаторе; говорит вскоре после «18 брюмера» и ранее других понимает разницу между Францией якобинской и наполеоновской.

Этот трезвый, не затемненный инерцией прежних лет взгляд на события — характерная черта павловского мышления; по той же логике, по которой отбрасывались второстепенные различия между церквями (главное — покорность, верноподданность), сейчас тоже не придается значения формальным соображениям; Наполеон рассматривается не по форме (консул или король), а по сути, в связи с тем главным, чем Павел мерит все явления, — характером власти, степенью самовластия.

Наполеон-консул имеет власть царскую — значит, французская революция миновала наиболее опасную для старого мира стадию...

Отношения с Францией крепнут, с Англией — ухудшаются.

Конец века

1800 году и XVIII веку оставались последние месяцы.

Ростопчин сочиняет для Павла головокружительный план будущего устройства европейских дел, и 2 октября 1800 г. этот план «высочайше апробован». «Дай бог,— пишет царь,— чтоб по сему было!» Основная идея: Россия и бонапартовская Франция объединяются и вершат все европейские и азиатские дела. О главном противнике — Англии Ростопчин нашел столь сильные выражения, что Павел на полях откомментировал: «Мастерски писано!» Британский кабинет обвинен и в том, что он «вооружил угрозами, хитростью и деньгами все державы против Франции». Павел на полях: «И нас грешных». Резко критикуется Австрия за ее политические маневры во время похода Суворова и за «потерю цели» своей политики. Павел: «Чего захотел от слепой курицы!»

Перечисляя выгоды от союза с Францией, министр предлагает раздел Оттоманской империи, которая названа «безнадежно больной».

Зная идеалы своего суверена, Ростопчин завершает свой меморандум возвышенной фразой: «Если творец мира, с давних времен хранящий под покровом своим царство Российское и славу его, благословит и предприятие сие, тогда Россия и XIX век достойно возгордятся царствованием вашего императорского величества, соединившего воедино престолы Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй света».

Павел был очень доволен, но, помня о «неблагодарности рода людского», откомментировал финал записки: «А меня все-таки бранить станут».

Пока Павел устанавливал новые отношения с «французской революцией», стремительно приближалась новая «революция» в Петербурге: дворцовая, далеко не первая (как в 1730-м, 1741-м, 1762-м), но все же первая после 1789-го...

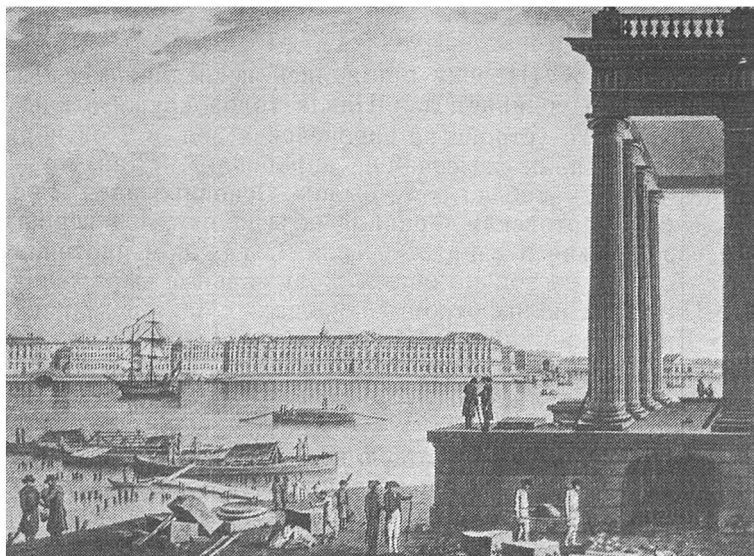
Последние дни столетия...

21 ноября 1800 года в Париж к Наполеону отправляется специальный дипломатический представитель императора Спренгпортен.

13 декабря. Римскому папе предлагается переселиться в Россию.

15 декабря. Запрет всякого экспорта в Англию.

18 декабря. Фактический разрыв с эмигрантским французским двором, находящимся в России: Людовика



Зимний дворец и Дворцовая набережная со Стрелки Васильевского острова. Акварель Б. Патерсена. 1799 г.

XVIII высылает из страны и лишает ежегодной пенсии размером в 200 тысяч рублей.

18 (29) декабря. Первое прямое послание Павла к Наполеону: «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах, ни о принципах различных образов правления, принятых каждой страной... Я готов Вас выслушать и говорить с вами».

При дворе Наполеона сразу же оценят ситуацию: «Раздел мира между Дон-Кихотом и Цезарем».

21 (10) декабря (до получения письма от Павла). Первое письмо Бонапарта русскому царю. Идея союза двух стран, «при котором оружие выпадет из рук Англии, Германии или других держав»; первые идеи совместного раздела Азии.

29 декабря. Повеление Павла о поощрении торговли с Индией, Бухарой, Хивой; вырисовываются идеи индийского похода.

31 декабря — последний день XVIII века. Распоряжение насчет обороны Соловецких островов от возможного английского удара.

Государство живет в спешном, нервном ритме. Спешит разгоряченный царь, спешат и заговорщики, почти не замечая нового столетия.

Новый год... Любимое детище, символ рыцарства, Михайловский замок наконец готов и ожидает царственного хозяина.

2 (14) января в Париж отправлен доброжелательный ответ первому консулу на его декабрьское послание. Почта между Петербургом и Парижем не прерывается. Стиль отношений хорошо виден, например, из следующих строк Павла (в письме к Наполеону 15 (27) января): «Не мне указывать Вам, что Вам следует делать, но я не могу не предложить Вам, нельзя ли предпринять или, по крайней мере, произвести что-нибудь на берегах Англии, что может заставить ее раскаяться в своем деспотизме и в своем высокомерии».

Наполеон сообщает 27 (15) февраля 1801 года: «Как, по-видимому, желает Ваше Величество, три или четыре сотни канонерских шлюпок собраны в портах Фландрии, где я соберу армию».

Отношения отнюдь не были идиллией: Павел требовал четких гарантий (а Наполеон не давал) насчет передачи русским Мальты, настаивал на целостности Неаполитанского, Баварского и Вюртембергского королевств. Зато первый консул утверждал (а царь не соглашался), что Египет «должен остаться за Францией». Тем не менее дело шло к союзу; 8 февраля российским подданным разрешено торговать с Францией.

Исследователь, имевший позже доступ к секретным бумагам первого консула, свидетельствует, что «Наполеон посылал Павлу все памфлеты, публикуемые в Англии против него, и даже секретные документы, подлинные или выдуманные, где царь подвергался оскорблениям». 26 февраля 1801 года «Санкт-Петербургские ведомости» публикуют явно инспирированный Наполеоном материал «из Парижа»: «Павел I есть единственный монарх, который в сии последние времена следовал внушениям великодушия и некорыстолюбивой политики...»

Сближение двух вчерашних антиподов идет полным ходом. «Дон-Кихот и Цезарь» уже планируют атаку на английский берег, для чего русскому Черноморскому флоту предлагается соединиться с французским и испанским в английских водах, а войскам — занять Ганновер и пугнуть неаполитанского Фердинанда IV, «чтобы вел се-

бя хорошо» (из письма Наполеона от 27 (15) февраля).

Неслыханные, полуфантастические планы, соответствующие «романтическому императору» и его первому помощнику, главному исполнителю — Ростопчину.

В глубочайшей тайне, доверенной только нескольким избранным, подготавливается индийский поход. В уже названной статье из Парижа автор мечтает, что Англии «не можно будет выгружать своих произведений ни на едином берегу, начиная от Зундского пролива до самых Дарданеллов».

Идея континентальной блокады, как видим, сформулирована за шесть без малого лет до ее провозглашения. Вообще в эти месяцы мелькают многие внешнеполитические замыслы следующих лет и даже десятилетий! Индийский же план вскоре начинает осуществляться. 12 января 1801 года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре 30 тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в казахские степи.

Смысл плана — в совместных действиях русского и французского корпусов: 35 тысяч французской пехоты с артиллерией во главе с генералом Массена (на его кандидатуре настаивал Павел) должны двинуться по Дунаю, через Черное море, Таганрог, Царицын, Астрахань. Как и в египетском походе, в армии будут находиться инженеры, художники, ученые, предусмотрена даже окраска продаваемых сукон, «особенно любимая азиатами», и пиротехника для эффектных праздников. В устье Волги французы должны соединиться с 35-тысячной русской армией (понятно, не считая того казачьего войска, которое «своим путем» идет через Среднюю Азию). Объединенный русско-французский корпус затем пересечет Каспийское море и высадится в иранском порту Астрабаде. Весь путь от Франции до Астрабада рассчитывали пройти за 80 дней. Еще 50 дней на то, чтобы через Герат и Кандагар войти в главные области Индии... Если начать поход, как собирались, в мае 1801 года, то Индия будет достигнута в сентябре того же года.

План был вполне реальным: современники и потомки искали в нем «павловское безумие», — но никому не приходило в голову подозревать в сумасшествии первого консула...

Дело, однако, шло к быстрой развязке.

Март 1801-го

Петербург тех дней похож на город, захваченный неприятелем (согласно одному из свидетелей — «вовсе не веселый город»). Погода, по общему суждению, «ужасная», да еще объявлен с 1 марта десятидневный траур по случаю кончины герцогини Брауншвейгской. Каждый мартовский номер «Санкт-Петербургских ведомостей» содержит 35—50 фамилий отъезжающих за границу, и выходит (учитывая правило трехкратного упоминания в газете о каждом отъезде), что 12—15 семей, иностранных и русских, желают каждый день покинуть столицу. Это для тех лет очень много, тем более что летний сезон — обычное время путешествий — еще далек.

11 марта. Понедельник шестой недели великого поста. День российского переворота, столь не похожего на великую революцию во Франции; и тем знаменательнее, сколь часто в этот день на Неве возникают образы 1789-го, 1793-го и других знаменитых лет.

В этот день царь встает между четырьмя и пятью часами утра, с пяти до девяти работает.

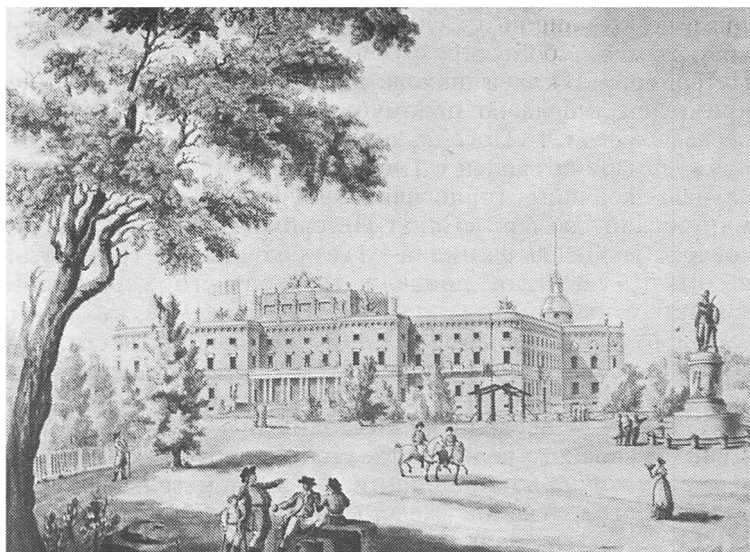
Утренние доклады сановников, в том числе лидера заговора петербургского генерал-губернатора Петра Палена. Несколько дней назад Павел, обнаружив на столе у наследника, Александра, вольтеровские страницы о смерти Цезаря, решил, что это — намек, угроза, и в отместку раскрыл перед великим князем петровский указ о приговоре непокорному сыну, царевичу Алексею.

Полковник Саблуков видит и слышит, как отвечает Пален на вопросы царя о мерах безопасности: «Ничего больше не требуется. Разве только, Ваше Величество, удалите вот этих якобинцев» (при этом он указал на дверь, за которой стоял караул от конной гвардии).

«Вы якобинец,— вечером повторит Павел Саблукову.— Вы все якобинцы». Великий князь Константин, шеф конногвардейского «якобинского полка», явно под сильным подозрением: высочайший гнев умело направляется «не туда».

«Якобинцы-заговорщики», обвиняющие «якобинца-царя»: вот каковы были термины приближающейся дворцовой революции!

Наступает вечер. Заговорщики готовы. На их последнем совещании подвыпившие офицеры говорят о тирании, о подвиге Брута, цитируют древних авторов, подобно то-



Михайловский замок. Рисунок Дж. Кваренги. Начало XIX в. Тушь, перо.

му как это непрерывно делали французы начиная с 1789 года...

В ночь на 12 марта 1801 года чаще восклицают, что нужен лишь хороший царь, а не конституция, и все же одно из крайних мнений было высказано столь громко, что не было забыто.

«Говорят,— пишет Саблуков,— что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибилов, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу».

Саблуков верно понимает значение этого эпизода: как элемент переворота 11 марта он ничтожен; подобные мысли были совершенно чужды большинству заговорщиков. Однако уже само произнесение подобных слов (невозможных во время прежних государственных переворотов) — это симптом нового вольнодумства, эхо 1789-го! Пусть слова сказаны под влиянием вина, возможно, за

ними нет подлинного глубокого убеждения, и все же сказано громко, сообщено другим, запомнилось...

Петербургская полночь. Безмолвно движутся две колонны офицеров и несколько гвардейских батальонов.

О той ночи несколько десятилетий очевидцы и современники рассказывали разные подробности — правдивые, вымышленные, анекдотические, жуткие.

Идти недолго, и мы будто слышим ночное движение офицерских и солдатских колонн: иллюзия народного «парижского» шороха, как перед штурмом королевского дворца 10 августа 1792 года. Но только иллюзия...

Разные мемуаристы позже припоминают тихие солдатские разговоры в строю: «Куда идем?»

«Господа офицеры разными остротами и прибаутками возбуждали солдат против императора».

«Я слышал от одного офицера, что настроение его людей не было самое удовлетворительное. Они шли безмолвно; он говорил им много и долго; никто не отвечал. Это мрачное молчание начало его беспокоить. Он наконец спросил: «Слышите?» Старый гренадер сухо ответил: «Слышу», но никто другой не подал знака одобрения».

В том ночном строю офицеры осторожно намекают солдатам на близящееся «освобождение от тирана», говорят о надеждах на наследника, о том, что «тяготы и строгости службы скоро прекратятся», что все пойдет иначе. Солдаты, однако, явно не в восторге, молчат, слушают угрюмо, «в рядах послышался сдержанный ропот». Тогда генерал-лейтенант Талызин прекращает толки и решительно командует: «Полуоборот направо. Марш!» — после чего войска повиновались его голосу.

Момент острейший. Позже, при других социально-политических обстоятельствах, у русских революционеров-декабристов пойдет разговор: чем привлечь солдат и надо ли среди них вести агитацию?

С народом на штурм — как во Франции? Или для народа, — но без него самого?

Среди декабристов были разные мнения: все сходилось на том, что привлечение рядовых необходимо, но расходились в средствах. Сергей Муравьев-Апостол откровенно беседовал с солдатами, особенно со старыми семеновцами. Пестель же склонялся к иной тактике, возражая против слишком раннего посвящения солдат: основная его идея — что в нужный час офицеры прикажут рядовым, куда и на кого идти, и они пойдут. Так вернее.

В ночь на 12 марта 1801 года лидеры заговора решительно используют слепое солдатское повиновение, механическое подчинение: «Кто палку взял да раньше встал, тот и капрал».

Обычное орудие приказа и принуждения перехвачено заговорщиками; сейчас оно не в руках Павла...

В половине первого ночи несколько десятков офицеров-заговорщиков — во дворце. Несколько цепей охраны не реагируют — явно сочувствуют конспираторам. У самых дверей царской спальни сопротивление немногих часовых легко пресечено. Дверь взломана — Павел проснулся, у него требуют формального отречения — он отказывается, отталкивает генерала Зубова, тот бьет царя золотой табакеркой.

Затем генералы устраниются и выходят из спальни, предоставляя заканчивать дело офицерам.

Знали ль генералы, что именно так дело пойдет?

Втайне они этого, конечно, ждали («не изжарить яичницу, не разбив яиц»). Позже Пален будто бы произнесет: «Дело сделано, но уж слишком».

20-летний штабс-капитан Скарятин во время заминки закричал: «Завтра мы будем все на эшафоте!»

Другие не помнят — кто первый, кто последний: на Павла кинулись полковник Яшвиль, майор Татаринов, Горданов, Скарятин...

Подробности страшны, иногда почти не передаваемы на бумаге. Пушкин писал о народной стихии — «бунте бессмысленном и беспощадном», но в эти минуты бессмысленность и беспощадность сопровождают бунт дворянский.

Кажется, ближе всего к истине запись, сделанная за генералом Беннигсеном; смысл ее — что и самим убийцам мудрено было бы понять, кто же нанес последний удар: «Многие заговорщики, сзади толкая друг друга, навалились на эту отвратительную группу, и таким образом император был удушен и задавлен, а многие из стоявших сзади очевидцев не знали в точности, что происходит». Пушкин определенно утверждает: «Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го».

На завершение переворота понадобится еще несколько часов. Здесь уже нет тайны. Здесь все почти на виду.

Около часу ночи наследник Александр все знает.

«Я обожал великого князя,— вспомнит караульный офицер Полторацкий,— я был счастлив его воцарением,

я был молод, возбужден и, ни с кем не посоветовавшись, побежал в его апартаменты. Он сидел в кресле, без мундира, но в штанах, жилете и с синей лентой поверх жилета...

Увидя меня, он поднялся, очень бледный; я отдал честь, первый назвав его «Ваше императорское величество».

«Что ты, что ты, Полторацкий!» — сказал он прерывистым голосом.

Железная рука оттолкнула меня, и Пален с генералом Беннигсеном приблизились. Первый очень тихо сказал несколько слов императору, который воскликнул с горестным волнением: «Как вы посмели! Я этого никогда не желал и не приказывал», и он повалился на пол.

Его уговорили подняться, и Пален, встав на колени, сказал: «Ваше величество, теперь не время... 42 миллиона человек зависят от вашей твердости». Пален повернулся и сказал мне: «Господин офицер, извольте идти в ваш караул. Император сейчас выйдет». Действительно, по прошествии 10 минут император показался перед нами, сказав: «Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при мне будет, как при бабушке».

Крики «ура» раздались со всех сторон...

По Беннигсену, все было грубо и просто: «Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Пален, встревоженный образом действия гвардии, приходит за ним, грубо хватая за руку и говорит: „Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии“». Звучат слова о спасении отечества, матери, жены, братьев, сестер Александра; о «виновных» пьяных офицерах-цареубийцах и невиновности Палена и Беннигсена, «не желавших» цареубийства, но «не имевших сил» остановить стихию; наконец, новому царю дается совет — как действовать, что говорить.

«Все будет, как при бабушке...»

Меж тем «ура!» новому императору, которое слышит Полторацкий, еще не всеобщее — это Семеновский полк. Сейчас главная проблема — как отнесутся другие солдаты. Пален отлично понимает ситуацию и объясняет новому императору, что только он один и может их успокоить.

Солдаты же с большой тревогой прислушиваются к дворцовым шумам.

Отрывочные и систематические рассказы о той ночи сохранили богатый спектр солдатских настроений и высказываний — от бурной радости до готовности переколоть убийц Павла I.

В конце концов подчинились.

Наступило утро 12 марта 1801 года. Дворцовая революция заканчивается.

Один или двое раненых караульных. Один убитый.

Радость, «всеобщая радость»... К вечеру 12 марта в петербургских лавках уж не осталось ни одной бутылки шампанского. Раздаются восклицания, что миновали «мрачные ужасы зимы». Весна, настоящая встреча XIX века! Поэт-министр Державин восклицает:

Век новый!

Царь молодой, прекрасный...

За сутки вернулись запрещенные Павлом круглые шляпы. Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по тротуару — «теперь вольность!».

Большая же часть страны неграмотна, и она-то в лучшем случае равнодушна или жалеет о покойном императоре, которого так боялись дворяне.

На календаре XIX век. На русском престоле Александр, сын Павла и внук Екатерины. Во время его коронации французская шпионка госпожа Бонейль позволяет себе замечание, приведшее к ее немедленной высылке из столицы: она сказала, что Александр провожает гроб Павла, окруженный убийцами своего отца и деда (Петра III), а также, вероятно, «теми, кто и его убьет». Француженка не угадала в прямом смысле, и тем не менее предсказала многое...

Союз же Цезаря с Дон-Кихотом не состоялся.

Наполеон был взбешен, узнав, что столь ценный союзник по борьбе с Англией, по индийскому плану выбыл из игры. В последующие годы он не раз намекнет чувствительному Александру I на то, что отец был убит «с согласия сына»; в такой полемике, разумеется, не играли роль тонкости, вроде того, что Александр на самом деле мечтал лишь о свержении отца (Герцен позже съязвит: «Александр велел убить своего отца, но не до смерти»). Когда три года спустя Наполеон велел схватить и расстрелять родственника Бурбонов герцога Энгийенского, то в ответ на протесты русского правительства он, как известно, намекнул, что не имел бы возражений, если б



Александр I. Гравюра Ф.-С. Жермена. 1807 г.

русский царь так же расправился с убийцами своего отца (болезненность укола усугублялась тем, что многие участники дворцового заговора постоянно жили во дворце и находились в большой милости у Александра). Еще девять лет спустя взятый в плен французский генерал Вандамм в ответ на упреки Александра в плохом обращении с русскими пленными ответил, что он по крайней мере не отцеубийца. Александр схватился за шпагу, но дал себя удержать...

Меж тем время шло. Наступит день, когда молодые русские офицеры, те самые, которых несколько страниц назад мы наблюдали еще малыми детьми, — эти офицеры бросят страшный упрек тем, кто действовал в ночь на 12 марта 1801 года: «Заговорщики, но не революционеры! Была возможность принести великую пользу отечеству — ничего не сделали. Захватили Михайловский замок, но не посягнули на Бастилию деспотизма».

От французской революции — все дальше; французская революция — все важнее...

«Счастливая случайность»

Госпожа де Сталь была очень популярна в России первых десятилетий XIX столетия; когда Вяземский начал ее критиковать, Пушкин попросил не обижать писательницу: «Наш брат!» Посетив Россию в 1812 году, когда в страну вторгся столь ненавистный ей Наполеон, Жермена де Сталь многое увидела, позже о многом написала (хотя, естественно, ряд важных вещей понять не су-



Ж. де Сталь. Портрет работы Ф. Жерара. 1-я четверть XIX в.

мела). Однажды она обращается к Александру I: «Ваш характер, государь, — конституция Вашей империи; а Ваша совесть — ее гарантия».

Александр I: «Если это бы и было так, то я был бы только счастливой случайностью».

Разговор этот в высшей степени примечателен; знаменитая писательница, чей отец, популярный министр Некер, стоял, можно сказать, у колыбели французской революции (его отставка была поводом к штурму Бастилии), — эта умная женщина должна была многое увидеть и во многом разочароваться, чтобы предпочесть просвещенного императора революциям и конституциям; меж тем среди высказываний госпожи де Сталь сохранилось также иное изречение о русском правлении, известное в пересказе Пушкина и явно противоречащее только что приведенному: «Правление в России есть самодержавие, ограниченное удавкой». Понятно, это насмешливый комментарий к свержению Павла I и Петра III. Вероятно, Александр I, вполне соглашался с афоризмами мадам де Сталь: признавая самого себя «счастливою случайностью», он подчеркивает отсутствие в русском

обществе гарантий против очередного деспота и самодура.

Впрочем, если царь все понимает, отчего бы ему не переменить систему, не закрепить «счастливую случайность» счастливыми гарантиями? К тому же он заявляет однажды, что следует различать «преступления» и «принципы» французской революции.

Александр I действительно пытается кое-что сделать. Несколько тысяч человек амнистированы, возвращаются из павловских тюрем и ссылок; восстанавливаются гражданские права и свободы для дворян; даются некоторые, Впрочем очень небольшие, послабления крестьянам (между прочим, запрещено было сообщать в газетах о продаже крепостных; отныне писали — «отпускается в услужение кучер... прачка... повар»). В узком кругу приближенных императора стали серьезно поговаривать о конституционных проектах.

Горячее других выступал за реформы уже знакомый читателям Павел Строганов, ученик Жильбера Ромма — бывший якобинец, «гражданин Очер». Возвращенный на родину, он получил богатство, высокие чины, но — остался человеком благородных правил, возвышенных стремлений. Позже, в генеральском чине, он будет героически сражаться с Наполеоном; в бою, можно сказать, на глазах Павла Строганова, погибнет его юный сын, и отец недолго его переживет...

Но это — после. А пока одним из немногих людей, к мнению которых недоверчивый Александр особенно прислушивался, является его прежний учитель, швейцарский просветитель и государственный деятель Лагарп. Этот человек, немало перенявший у французских вольнодумцев, по мнению Павла, был как бы тайным агентом французской революции возле русского престола; когда Суворов приближался к Швейцарии, ему было передано секретное распоряжение императора Павла об аресте и доставке в Россию Лагарпа. Теперь же 24-летний император Александр спрашивает у своего 47-летнего учителя — как царствовать?

16 октября 1801 года Лагарп подает царю секретную докладную записку, где размышляет насчет предотвращения на будущее «ошибок предыдущего царствования и доктрин, проповедуемых на юге Европы» (очевидно, подразумевается французская революция).

Программа бывшего воспитателя Александра, конечно, весьма осторожна и умеренна. «Ужасно,— пишет Лагарп,— что русский народ держали в рабстве вопреки всем принципам; но поскольку факт этот существует, желание положить предел подобному злоупотреблению властью не должно все же быть слепым в выборе средства для пресечения этого». Путь к прогрессу для просветителя Лагарпа ясен: образование (насаждение грамотности, школ, университетов), а также разумное законодательство, но не из рук парламента или иного представительного учреждения, а волею самодержца (разумеется, в его просвещенном, александровском варианте). Следствием просвещения и законодательства должны явиться меры к постепенному ослаблению крепостничества (ограничение покупки и продажи крестьян, показательная эмансипация на землях, принадлежащих царской фамилии, и пр.). Самое интересное в записке Лагарпа (в общем не противоречившей планам царя и его круга) — откровенный и во многом пророческий разбор тех сил, которые будут за реформы и против.

«Против» — все высшие классы, почти все дворянство, чиновничество, «которое держится за табель о рангах», большая часть торгового слоя, «почти все люди в зрелом возрасте», почти все иностранцы, те, кто боятся французского примера.

Кто же «за»? Образованное меньшинство дворян, некоторая часть буржуа, «несколько литераторов»; возможно, «младшие офицеры и солдаты».

Силы не равны, но Лагарп кладет на «весы прогресса» авторитет самого императора и считает, что — довольно! При этом из обоих списков исключается «народ в своей массе», который, как понимает Лагарп, желает перемен, но поведет их «не туда, куда следует».

Субъективные цели швейцарского просветителя возвышенны. Он отдает дань уважения русской нации, которая «обладает волей, смелостью, добродушием и веселостью. Какую пользу можно было бы извлечь из этих качеств и как много ими злоупотребляли, дабы сделать эту нацию несчастной и униженной!»

Надежды, время надежд, что просвещенный монарх многое переменит в стране без всяких «якобинских крайностей».

Однако выйдет ли?

«Потомство отомстит»

Еще Павел I, как известно, велел вернуть Радищева из Сибири, впрочем, под надзор, в деревню. Первый русский революционер, столь замороженный революционным громом 1789—1790-х годов, едва избежавший смертной казни за свою более чем смелую книгу, получил известие об амнистии в разгар сибирской зимы; ему советовали подождать, не пускаться в дорогу при 40-градусных морозах, дожждаться лета. Однако даже призрачная свобода манила очень сильно: вместе с женой и малыми детьми Радищев пускается в многомесячное путешествие на запад, сквозь тайгу и снег Сибири; как ни согревали кибитку, однако жена писателя не выдержала дороги, тяжело заболела, умерла. Усталый, больной, поседевший Радищев добрался наконец до родных мест и однажды не узнал двух молодых офицеров, пришедших его навестить; это были его старшие сыновья, которые учились и начинали службу в столице в годы сибирского заточения их отца.

В 1801 году новый царь Александр I окончательно снял всякие ограничения с Радищева и предложил вернуться на службу. Радищев оказался в Петербурге, откуда 11 лет назад его вывозили в цепях на восток: он воодушевлен, ему кажется, что пришло *его время*; в различных комиссиях и комитетах он снова горячо выступает за освобождение крестьян, за крупные реформы государственного аппарата. Казалось, он нашел наконец выход из длительного духовного кризиса: ведь в Сибири, как уже говорилось, его постигло страшное разочарование во французской революции, он не мог вынести кровопролития 1793—1794 годов. Революцию в крайних формах Радищев не приемлет, но не может же «полюбить рабство», сделаться обыкновенным помещиком...

И вот, кажется, выход — хороший царь; подобно мадам де Сталь, Радищев некоторое время, кажется, предпочитает его революциям и конституциям...

Некоторое время... Вскоре, однако, энтузиаст замечает, что проекты его не проходят; что на главнейших постах сидят те самые люди, которые некогда приговорили его к Сибири; один из них прямо подходит к Радищеву и с улыбкой сожаления пеняет — «опять ты за свое?», намекая, что таким образом вскоре можно снова оказаться в Сибири!

Радищев устал...

Придя домой, выпил яду. Царь срочно прислал лейб-медика, но — было поздно. Умирая, Радищев будто бы произнес: «Потомство за меня отомстит...»

Некоторые современники находили, что это — болезнь, безумие: новое царствование так много обещает, что для самоубийства нет никаких поводов. Действительно, нервная система Радищева была истощена; но при том он больше других чувствовал, предчувствовал. Умирая, знал то, чего еще и сам Александр I не ведал: что ничего или почти ничего не выйдет...

Самоубийство Александра Радищева, можно сказать, одна из крайних точек зрения в споре, бесконечном споре о революции вообще, французской революции в частности.

Спор не оканчивается...

Летним вечером 1805 года

«Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.

— Император Александр,— сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии,— объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля,— сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.

— Это сомнительно,— сказал князь Андрей.— Monsieur le vicomte* совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.

— Сколько я слышал,— краснея, опять вмешался в разговор Пьер,— почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

— Это говорят бонапартисты,— сказал виконт, не глядя на Пьера.— Теперь трудно узнать общественное мнение Франции...»

Затем, как известно, юный Пьер Безухов произносит весьма революционные речи, и почти все на него нападают.

* Господин виконт.

«Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно, исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое — детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали».

Сцена в салоне Анны Павловны Шерер происходит летом 1805 года, то есть за 23 года до рождения автора «Войны и мира». Однако Толстой хорошо знал своих героев, сохранил в памяти немало домашних преданий, встречался со множеством участников событий; мы знаем, что так или примерно так действительно обсуждались политические вопросы в столичных салонах начала XIX века. Французские эмигранты разных рангов сделались постоянными фигурами русской культуры, просвещения, бального и салонного обихода: французская мода, стиль — все это приходит из Франции, но сильно меняет вид, окраску на русской почве (так сухой, холодноватый французский ампи́р превращается в теплый, интимный ампи́р российских помещичьих домов).

Среди эмигрантов были и ярые роялисты, и те, кто в начале приветствовал революцию, но потом спасался от нее; и даже якобинцы, в свою очередь спасавшиеся от термидора, Директории и Бонапарта. Одни проклинали и революционеров и их предшественников, которые «обещали нам революцию мудрости, просвещения, добродетелей, а произвели революцию заблуждения, исступления и злодейства. Они обещали нам революцию благополучия, равенства, свободы, золотого века, а произвели революцию, которая сама по себе ужаснейший из бичей, ниспосланных на землю богом...»

Среди других профессор казанского университета Л. Грегуар — «цареубийца», некогда голосовавший в Конvente за смертный приговор Людовику XVI; Давид Иванович де Будри, обучавший лицеистов французской словесности, согласно Пушкину, «очень уважал память своего брата», но, «несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный». Мы можем легко вообра-

зить в салоне госпожи Шерер, между прочим, и блестящего остролова, парадоксального мыслителя Жозефа де Местра: много лет исполняя обязанности сардинского посла при русском дворе, французский мыслитель, может быть, больше других занимается темой «Франция — Россия; французская революция — русская»... Ярый контрреволюционер, он столь решителен и парадоксален, так далеко заходит в своем отрицании, что порою, сам того не замечая, как бы приближается к своим противникам — «с другой стороны». Еще до приезда в Россию он специально отправился в Италию, чтобы видеть Суворова и его войско; радуясь победам антифранцузской коалиции, Местр в то же время с ужасом пишет о «скифах и татарах, пришедших с Северного полюса, чтобы с французами перерезать друг другу горло».

Вскоре после того как первый русский революционер принимает яд, один из главных контрреволюционеров уже серьезно размышляет, вычисляет: каким образом произойдет штурм Бастилии в России? Сначала, под впечатлением убийства Павла, он опасается делать прогнозы: «В монархиях азиатских, где государь действует непосредственно, в тех случаях, когда верховная воля слаба или порочна, неизбежно или падение государства, или устранение его главы. И так как природа создает всегда правила, соответствующие образу правления, она у нас клеймила, до последнего поколения, всякое покушение на особу государя, тогда как в Азии убийца отца может оказаться на службе у сына. Отсюда следует, что в этих стенах нужно ожидать всего и что ничто не может там поразить».

Позже, в 1809 году, граф все же решается на осторожные предсказания: «В России нужда в деньгах крайняя, однако роскошь, несмотря на все, не уменьшается, хотя ее излишества и величайшая беспечность ведут страну к неизбежной революции. Дворянство нерасчетливо тратит деньги, но эти деньги попадают в руки деловых людей, которым стоит только сбрить бороды и достать себе чины, чтобы быть хозяевами России. Город Петербург скоро будет целиком принадлежать торговле. В общем, обеднение и нравственный упадок дворянства были истинными причинами наблюдаемой нами революции. Революция повторится и здесь, но при особенных обстоятельствах».

Что не нравится Жозефу де Местру — так это поощрение Александром I просвещения, организация, по завету Лагарпа, университетов, Лицея. По его мнению, как только низшие классы просветятся, рабство сделается им совершенно невыносимым и будет революция; к тому же в России слабо влияние православной церкви (как известно, Местр ратовал за распространение католицизма) — и оттого разрушительное влияние образованности будет особенно сильным. Александру I представлены его будущие «низвергатели»: просветившийся раб, поднявшееся третье сословие, наконец, «университетский Пугачев», то есть человек как бы из высшего общества, но желающий возглавить низы.

Признаемся, что де Местром сказано много верного; просветитель Лагарп, который надеялся, что царя поддержат молодые просвещенные военные, недооценивал «российские скорости», быстрое превращение мысли в действие.

В самом деле, ведь именно в эту пору вырастали, делались военными, политиками те самые мальчики, рождение которых совпало с высшим подъемом французских революционных событий. Присмотримся к ним.

Богатыри

«Сергей Муравьев-Апостол... ростом был не очень велик, но довольно толст; чертами лица и в особенности в профиль он так походил на Наполеона I, что этот последний, увидев его раз в Париже в политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из приближенных: „Кто скажет, что это не мой сын!“»

Наполеон рос быстрее, чем дети. Когда родился Матвей, он был еще простым артиллерийским офицером. При появлении Сергея — уже генерал, главнокомандующий в Италии. Пока Муравьевы жили в Гамбурге — повоевал в Египте и сделался первым консулом во Франции. Стоило мальчикам оказаться в Париже — и они попадают на коронацию императора Наполеона I. Отец, Иван Матвеевич, посол в Испании, находит, что Мадрид — захолустье, где детей по-настоящему «не образовать», и жену с детьми через Пиренеи отправляют в лучшие парижские пансионы. Уже в Париже появляется на свет



А. С. Муравьева-Апостол с детьми. Художник Монне. 1799 г.

седьмое дитя — Ипполит, с которым отец не скоро познакомится, ибо вскоре вернется в Россию.

Анна Семеновна Муравьева-Апостол (мать трех мальчиков и четырех девочек) — мужу Ивану Матвеевичу. Из Парижа в Москву. Письмо № 65

«Дорогой друг... Катерина Федоровна Муравьева упрекает меня за то, что остаюсь за границей, и пишет, что в Москве учителя не хуже, чем в Париже, и что скоро все поверят, будто ты сам не хочешь нашего возвращения, и таким образом я невольно поврежу твоей репутации. Однако разве не ясно, что я здесь не по своей воле? Меня связывают большие долги, обучение детей, пансион, больные ноги Матвея...»

Между Наполеоном и Россией началась война, русско-австрийская армия проиграла Аустерлицкое сражение.

Родственница Катерина Федоровна Муравьева выговаривает Ивану Матвеевичу и пишет его супруге, что негоже обучать детей на вражеской территории, сыновьям же Катерины Федоровны, десятилетнему Никите и четырехлетнему Александру Муравьевым, очень любопытно,

как там поживают в бонапартовском логове троюродные братья Матвей, Сергей, Ипполит и девочки...

10 августа 1806 года, через 9 месяцев после Аустерлица, сквозь воюющие армии, прорывается из Парижа письмо № 79: «Сегодня большой день, мальчики возвращаются в пансион» (первоклассное и весьма независимое заведение Хикса). Иначе говоря, окончились летние каникулы.

В связи с таким событием сыновьям разрешено самим написать отцу, и перед нами самые ранние из писем Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, конечно, на французском.

Дети переходят из класса в класс под гром наполеоновских побед.

Замечают, что Сергей Муравьев похож на Наполеона, Пестель похож на Наполеона, герой пушкинской повести «Пиковая дама» Германн «профилем напоминал Наполеона». Но — странное дело — никто не находит, будто Муравьев похож на Пестеля!

Время было такое, что Наполеона искали в лицах и характерах — и конечно же находили... Но когда один из учеников господина Хикса задевает насмешкою Россию, Сергей кидается в бой, и враг отступает. Директор, как может, сглаживает противоречия: знатные русские ученики, дети известного дипломата, поднимают репутацию заведения, не говоря уже о 3500 ливрах (примерно полторы тысячи рублей) — годовой плате за двоих мальчиков.

Пришел Тильзитский мир; летним днем 1807 года низенький Наполеон и длинный Александр обнялись на плоту посреди Немана. Россия и Франция в мире, дружбе. Париж наполняется русскими, которых так много, что Анне Семеновне кажется, будто «город скоро будет более русским, чем французским».

10 января 1808 года: «Сережа работает очень хорошо в течение последнего месяца, его профессора очень довольны им; оба, Сережа и Матвей, начали заниматься по-русски. Посол граф Толстой разрешил одному из своих секретарей в пансионе трижды в неделю давать им уроки. Они от этого в восторге».

Итак, Матвей на пятнадцатом, Сергей на тринадцатом году знакомятся с родным языком. Позже Льву Толстому, размышлявшему над воспитанием многих русских

революционеров, декабристов, покажется, будто все движение это занесено, завезено вместе с «французским багажом», что оно не на русской почве выросло. Но затем писатель еще и еще проверит себя; художественное, историческое чувство подсказывало, что формула «декабристы — французы» слишком легкий способ отделаться от серьезных вопросов.

Поздно начинают учить русскому языку, но — «они в восторге», и Анна Семеновна еще повторит в других письмах, даже с некоторым удивлением: «В восторге!» Откуда восторг? Во что перельется?

Первые слова, первые строки по-русски — для них очень значительное событие.

Мать — отцу. Май 1808 года: «Прошлую неделю твой маленький Сергей был третьим в классе по французскому чистописанию, по риторике — наравне с мальчиками, которым всем почти 16 и 17 лет, а преподаватель математики очень доволен Сергеем и сказал мне, что у него хорошая голова; подумать только, что ему нет и 12 лет! Нужно тебе сказать, что он много работает, очень любит читать и охотнее проведет целый день за книгой, чем пойдет прогуляться; и притом он такое дитя, что иногда проводит время со своими маленькими сестрами, играя в куклы или вышивая кукольные платица. В самом деле он необыкновенный!»

Позже учитель передаст матери, что Сергей способен «совершить нечто великое в науке».

В эти дни Анне Семеновне случилось побеседовать с генералом Бетанкуром, главным директором путей сообщения в России, так сказать, представителем технической мысли. Разговор быстро переходит на мальчиков, и тут генерал говорит нечто совершенно новое для матери; вместо обычных советов — в какой полк или к какому министру лучше бы записаться — Бетанкур советует делать карьеру математическую: «Он меня заверил, что опытных русских инженеров очень мало, и поскольку Сергей так силен в математике, ему следовало бы после пансиона окончить Политехническую школу. На все это надо еще лет пять, но получение в результате высшего технического образования было бы благом и для него и для отечества. Что же касается Матвея, то математика может сделать его артиллерийским офицером. Настоящее математическое образование можно получить только здесь. В России — трудно, или, говоря яс-

нее, невозможно. Матвею к тому времени будет 20 лет, Сергею — 17».

Точные науки, техническое образование... Будто голос из следующего века. И вдруг Сергей станет математиком, а потом, может быть, основателем школы — и послужит отечеству просвещением, наукой, изобретением, техническим прогрессом!

И разве не поймут позже, что прогресс шел с разных сторон: одни изобретают паровой двигатель, другие штурмуют Бастилию, третьи душат тирана, четвертые выводят формулы — и, может быть, все вместе, сами того не подозревая, с разных сторон подогревают, расплавляют громадную льдину древнего, феодального деспотизма?

Но такие мысли юному математику из пансиона Хикса пока и не снятся... Зато родители взволнованы: на одних весах — авторитет генерала Бетанкура, высокий престиж математики в стране Лапласа, Лагранжа, Араго. Немало! Но на другие веса кладется побольше; европейский мир неустойчив, призрачен, дальновидные люди уже предчувствуют 1812 год — пять лет во Франции не высидеть! К тому же если на Западе точные науки уже в «чинах генеральских», то в России — даже не в офицерских (хотя подают немалые надежды!). На первом месте — политика, изящная словесность, философия; и, кстати, один из противников чрезмерного употребления математики — как раз отец, Иван Матвеевич, да еще с какими аргументами!

«Еще ни одна нация не исторгнута из варварства математикой... Ты, друг мой, счастливый отец семейства; дети твои, подобно прелестному цвету дерева, обещают тебе сладкие плоды. Бога ради, не учи их математике, доколе умы их не украсятся прелестями изящной словесности, а сердца их не приучатся любить и искать красоты, не подлежащие размеру циркуля, одним словом: образуй в них прежде всего воображение... В великой картине мироздания разум усматривает чертеж; воображение видит краски. Что же картина без красок? И что жизнь наша без воображения?»

Иван Матвеевич не просто опасается одностороннего образования, но даже указывает в одной из своих статей на опасную связь: в революционной и наполеоновской Франции «музы уступают место геометрии»; математика для «неокрепшего ума» — путь к неверию, неверие — путь к революции!

Ясно, что при такой позиции дух времени сулит обоим мальчикам службу военную, которая, конечно же, убережет их от опасной тропы: геометрия — бунт! Да и Анна Семеновна не очень-то настаивает: российский аристократ-математик — дело небывалое. Оставив в стороне случайные мечтания, она тем решительнее требует от мужа задуматься над будущим Матвея и Сергея: «Ради бога, вытащи нас из этой парижской пучины. Я ничего другого не желаю на свете».

Иван Матвеевич продает какие-то земли, Анна Семеновна расплачивается с долгами.

Наконец 21 июня 1809 года отправляется последнее письмо из Парижа: «Я еду завтра!»

«В проезде через Берлин они остановились в Липовой аллее. В одно прекрасное утро, когда Анна Семеновна сидела с детьми за утренним чаем, с раскрытыми окошками, вблизи раздался ружейный залп. По приказанию Наполеона были расстреляны в Берлине, против королевского дворца, взятые в плен несколько кавалеристов... Прусский король и его семейство жили в Кенигсберге. Все прусские крепости были заняты французами» (записано со слов Матвея Муравьева-Апостола).

Наполеон не любил вешать; гильотина напоминала о революции. Расстрел — казнь военная: расстреливают тирольского партизана Андрея Гофера, расстреливают герцога Энгийенского, немецких, испанских партизан, французских монархистов.

Дорога из Парижа в Россию проходит, как прежде, через разные королевства, великие герцогства, союзы, вольные города, но все это псевдонимы одной империи.

«На границе Пруссии с Россией дети, увидевши казака на часах, выскочили из кареты и бросились его обнимать. Усевшись в карету ехать далее, они выслушали от своей матушки весть, очень поразившую их. «Я очень рада, — сказала она детям, — что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, но готовьтесь, дети, я должна сообщить ужасную весть; вы найдёте то, чего и не знаете: в России вы найдёте рабов!» Мать ни разу не упоминала о рабах, боясь растлевающего влияния этого сознания на детей».

Строки эти записаны со слов старшего сына, Матвея Ивановича, и появились в журнале «Русская старина» 64 года спустя.

Комментатор восхищается, очевидно, вслед за Матвеем Ивановичем, что дети прежде ни о чем не догадывались (или догадывались, но помимо родителей). На этот счет, конечно, имелись отцовские директивы: сначала словесность, воображение, потом — математика и размышление о несовершенстве мира...

Матвей, Сергей, умные мальчики, не знают, что их великолепное образование и благополучие оплачены трудом полутора тысяч полтавских, тамбовских, новгородских рабов!

Родные находят, что такое знание может растлить, то есть воспитать жестокого, равнодушного циника. Итак — сначала благородные правила, не допускающие рабства, а затем — внезапное открытие: страна рабов, оплачивающих, между прочим, и обучение благородным правилам.

Разумеется, длинной дорогой от границы до столицы мальчики успели надоесть матери (а позже — отцу) вопросами: как же так? И конечно, было отвечено, что в конце концов все устроится: ведь государь полагает, что рабство должно быть уничтожено и «с божьей помощью прекратится еще в мое правление».

Именно в эту пору разрабатывает проект русской конституции и освобождения крестьян первый министр Михаил Михайлович Сперанский, но его умножающиеся враги ропщут, что он мечтает пересадить в Россию якобинские установки, а друзья, впрочем, довольно малочисленные, наоборот, надеются, что эти реформы предотвратят русский 1789 год.

Петербург, Москва 1809—1812 годов.

Двоюродные, троюродные братья Муравьевы — 16-летний прапорщик Николай (будущий знаменитый генерал Муравьев-Карский); его брат Александр, предлагающий всем вступить в масоны; ровесник Сергея Муравьева-Апостола, уже фантастически образованный Никита и, ровесник Матвея, веселый и тщеславный Артамон...

На детском вечере заметили, что Никитушка Муравьев не танцует, и мать пошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: «Матушка, разве Аристид и Катон танцевали?» Мать на это ему отвечала: «Надо думать, танцевали в твоём возрасте». Он тотчас встал и пошел танцевать...

«Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и

я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением «Contract Social»* Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться через пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собой надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумаге законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия... В собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правою рукою за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово «Чока». Слово «Чока» означало Сахалин. Именно этот остров и был выбран...»

В этих воспоминаниях Муравьева-Карского, составленных много лет спустя, кажется, одна только неточность. Еще не было окончательно доказано: Сахалин — остров или нет? Там кончались границы человеческого знания и начиналось безграничное воображение...

Иван Матвеевич как в воду глядел: математика не приведет к добру, даже эмблему тайного союза заимствовали у этой вреднейшей науки: «Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства... Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею — столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом».

Так составлялись юношеские республики.

* Общественный договор.

Николай Муравьев не называет Сергея, которого, может быть, считали еще слишком юным; но Александр Муравьев уже помнит, как являлись оба брата — «прекрасные, благородные, ученые»...

«Мы с ними проводили время отчасти в чтении и научных беседах, отчасти в дружеских разговорах. Характер двух братьев был различен: Матвей был веселый и приятный товарищ. Сергей же сурьезный...»

Те, кто брались правой рукой за шею и топали ногой, подтрунивали над масоном Александром Муравьевым: в Вене убили какого-то графа-масона, и «сахалинцы» убеждают родственника, что это их люди прикончили «того, кто хотел открыть нашу тайну...».

Но время ли рисовать знак равенства и искать на географической карте подходящее для него место?

Бонапарт у ворот!

«Отмстить за Аустерлиц,— вспоминал князь Сергей Волконский,— это чувство преобладало у всех и каждого и было столь сильно, что в этом чувстве мы полагали единственно наш гражданский долг и не понимали, что к отечеству любовь не в одной военной славе, а должна бы иметь целью поставить Россию в гражданственности на уровне с Европой».

Именно из-за Аустерлица и Наполеона у юного Михаила Лунина (того мальчугана, что скакал на палочке в дни штурма Бастилии) вышло разногласие с Его Величеством.

Между 1807-м и 1812-м с Наполеоном мир и союз, и по адресу вчерашнего врага дерзить не рекомендуется, ибо тем задевается дружба императоров.

В эту пору молодые гвардейские офицеры Мишель Лунин и Серж Волконский заводят в Петербурге пса, который бросается на прохожего и сбивает шапку, если только скомандовать: «Бонапарт!»

Наполеон владеет Европой от Балтики до Гибралтара и от Ла-Манша до Немана. Только Испания смеет сопротивляться по-настоящему, и Лунин, кажется, просит разрешения отправиться туда, пока русское правительство столь мирно и терпеливо. Сохранились смутные свидетельства, будто царь запретил и гневался...

Напряженно ждут событий и другие свидетели первых французских бурь.

«Старина для меня всего любезнее», — записывает в эту пору «русский путешественник» Николай Карамзин, с головой ушедший из литературы в историю.

Но — 22 августа 1808-го пишет брату: «В Европе нет ни малейшей надежды и никакого следа к миру... Чем все кончится, известно одному богу: и сам Бонапарте не знает того».

25 января 1809-го: «Волгу легко запрудить в начале, а в среднем течении уже трудно. Чего хочет Провидение, не знаю, но если великий Наполеон поживет еще лет десять или более, то будет много чудес».

21 июля 1809-го (после очередной победы Наполеона над австрийцами): «Счастье не оставляет Бонапарте. Теперь уже последняя война, как он говорит. Надобно верить Провидению, иначе трудно успокоить себя...»

15 августа: «Часто хотелось бы мне укрыться в непроходимом уединении, чтобы ничего не слышать о происшествиях европейских. Как счастливы были наши отцы!.. Но добродетели стойков не весьма легки для того, кто имеет семейство».

«Мы были дети 1812 года»

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Наполеон вторгся в Россию, идет к Москве.

Через 23 года после штурма Бастилии — уже не королевская, не республиканская, но императорская армия Франции и ее союзников совершает то, чего опасалась еще Екатерина II: парижское пламя достигает российских пределов.

«Мы положили не выезжать из Москвы без крайности: не хочу служить примером робости» (Карамзин — брату).

Все же пришлось разлучиться: жена Карамзина, Екатерина Андреевна, с детьми отправляется в Ярославль; выехать не было денег, друзья выручили.

История не пишется — делается.

Карамзин хочет примкнуть к ополчению, просится «во что бы то ни стало ехать в армию, чтобы видеть вблизи все ужасы и всю прелесть сражений и описать их».

Сегодня ни один литератор, пожалуй, не написал бы



Сражение под Смоленском 5 августа 1812 г. Художник П. фон Гесс.

таких слов — прелесть сражений», но в 1812 году еще находили эту прелесть...

Генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин, некогда готовивший союз Павла с Наполеоном, объясняет историка, что война сама идет сюда: уговаривает Карамзина переехать к нему в дом.

Согласно рассказу очевидца, 27 августа 1812 года — на другой день после Бородина и за 6 дней до оставления Москвы — кто только не заезжал к Ростопчину в Сокольники: желали узнать, как окончилось сражение? на что надеяться? Генерал-губернатор, раньше других узнавший, что Кутузов скомандовал отступление, пришел в смятение, которое передалось и другим: «Ежели падет Москва — что будет после?»

Вдруг Карамзин, вообще не любивший войны, крови, почти в пророческом экстазе, уверенно объявил, что «мы испили до дна горькую чашу — зато наступает начало его и конец наших бедствий». Он говорил столь убежденно, как будто читал будущее и (по словам очевидца) «открывал уже в дали убийственную скалу Святой Елены».

Среди смущенных, подавленных людей этот оптимизм выглядел странным, даже неоправданным — но «в Карамзине было что-то вдохновенное, увлекательное и вме-

сте с тем отрадное. Он возвышал свой приятный, мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражением, сверкали как две звезды в тихую, ясную ночь. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился. Мы слушали молча».

Ростопчин неуверенно заметил, что Бонапарт все-таки «вывернется». Карамзин отвечал доводами (как будто взятыми из будущего романа «Война и мир») — о единодушии народа, воюющего за свой дом, тогда как Наполеон за тысячи верст от своего; о сложных, необыкновенных путях исторического провидения. Историк боялся не падения Москвы (он это предвидел, по утверждению Вяземского, еще в начале кампании); он боялся одного — как бы царь не заключил мира.

Когда Карамзин вышел из комнаты, гипноз его слов рассеялся, и Ростопчин съязвил, что в этих речах «много поэтического восторга». Тем не менее слышавшие всю жизнь затем вспоминали этот эпизод, где ученый-летописец преображался в еще более древнюю фигуру пророка.

Карамзин выехал из Москвы 1 сентября, за считанные часы до вступления неприятеля. Потом — несколько очень тяжелых месяцев: историк с семьей перебирается в Нижний Новгород, снова записывается в ополчение. Однако Москва освобождена, «Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром... Дело обошлось без меча историографического».

Вскоре выяснилось, что в пожаре, вместе с домами и людьми, погибла знаменитая библиотека графа Мусина-Пушкина, а с нею единственный экземпляр древней поэмы «Слово о полку Игореве»...

1812—1814 годы: великие сражения, последние успехи и поражения Бонапарта...

Карамзин, с его особым провидческим чутьем, скорее не разумом, а чувством угадывает внутренний нерв событий. До последних дней похода он все не уверен; разве не чудо предсказанное им после Бородина крушение завоевателя? Но не может ли все более сдавливаемая Наполеонова пружина раскрутиться обратно, поскольку теперь французы прижаты к стене?

Это сейчас, почти через два века, нам кажется все ясным — что Бонапарт был обречен, а война выиграна уже в конце 1812-го. Однако многое в этой уверенности про-



М. И. Кутузов. Гравюра А. Грачева по рисунку Ф. Кинеля. 1-я четверть XIX в.

исходит от твердого нашего знания — чем дело кончилось...

И разве не сродни этим ощущениям Карамзина «странные» соображения М. И. Кутузова, который опасался Наполеона до последнего мига и не советовал идти за ним в Европу?

Внешне неразумно — внутренне мудро: мало ли что может придумать припертый к стене гениальный полководец? Мало ли как мстит история за излишнюю самоуверенность?

Но Париж взят: салюты, ликование...

Кончилась одна историческая эпоха, начинается другая. Иным кажется — вернулись давние времена, до 1789-го: ведь в Париж вошли те, кто начали еще в 1792-м борьбу с французской революцией; ведь на престоле восстановлены Бурбоны, которые «ничего не забыли и ничему не научились».

Какой же урок нужно извлечь народам, царям из случившегося? Не обязан ли историк-художник первым заметить направление времени?

Карамзину около 50 лет; но молодые ребята, которые вчера еще учились танцам и играли в республику, — где же они?

Разумеется, на войне — или всей душой стремятся туда! Подъем, воодушевление коснулось всех, — и снова пронизательный Жозеф де Местр, который, как ярый



Бородинское сражение. 26 августа 1812 г. Художник Дезарно.

враг Наполеона, должен бы радоваться,— снова он в сомнении.

«Несколько скверных анекдотов из предыдущих царствований, несколько русских, делавших долги в Париже, несколько острот Дидро поселили в голове французов мысль, что Россия состоит исключительно из испорченного двора, придворных и народа, состоящего из рабов».

Госпожа де Сталь: «В характере русского народа — не бояться ни усталости, ни физических страданий; в этой нации совмещаются терпение и деятельность, веселость и меланхолия; в ней соединяются самые поразительные контрасты, и на этом основании ей можно предсказать великую будущность... Этот народ характеризуется чем-то гигантским во всех отношениях; обыкновенные размеры неприменимы к нему».

Правда, де Сталь убеждена, что «поэзия, красноречие и литература не встречаются еще в России», но это уже издержки слишком быстрого, поверхностного осмотра; главное все же она поняла — и, между прочим, отдала должное героям-солдатам и юным офицерам.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол на Бородинском



Конец Бородинского сражения. Художник В. В. Верещагин.

поле отшвыривал, как бы играя, неприятельские ядра — так представлял своего родственника другой участник сражения, бывший президент республики «Чока» Николай Муравьев. Прочитав в журнале эти строки, 92-летний Матвей Иванович вспомнил, как было на самом деле:

«26 августа 1812 года еще было темно, когда неприятельские ядра стали долетать до нас. Так началось Бородинское сражение. Гвардия стояла в резерве, но под сильными пушечными выстрелами. Правее 1-го баталиона Семеновского полка находился 2-й баталион. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го баталиона, был перед ним верхом. В 8 час. утра ядро пролетело близ его головы; он упал с лошади, и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив. Оленин был вне себя от радости. Офицеры собрались перед баталионом в кружок, чтобы порасспросить о контуженом. В это время неприятельский огонь усилился, и ядра начали нас бить. Тогда командир 2-го баталиона, полковник барон Максим Иванович де-Дама, скомандовал: «Г-да офицеры, по местам». Николай Алексеевич Оленин стал у своего взво-

да, а граф Татищев перед ним у своего, лицом к Оленину. Они оба радовались только что сообщенному счастливому известию; в эту самую минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу. Я стоял в 3-м батальоне под знаменем вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным и, конечно, не смел отлучиться со своего места; следовательно, ядрами играть не мог».

Трубецкой, Муравьев, Якушкин: будущие декабристы...

Когда в Семеновский полк были присланы Бородинские награды, командование попросило солдат проголосовать за достойных офицеров, и 19-летний Матвей Иванович Муравьев-Апостол получит военный орден «по большинству голосов от нижних чинов седьмой роты полка».

Сергею же в ту пору нет и семнадцати. Во время Бородина его держат при главной квартире армии. Возможно, сам Кутузов бережет юного сына столь знаменитого отца. Ведь узнал главнокомандующий и тем самым спас от расправы внезапно появившегося в армии мальчика, которого приняли за французского шпиона, а это был удравший из дому Никитушка Муравьев (тот, кто сомневался, — танцевал ли Катон?).

После освобождения Москвы самых молодых офицеров возвращают доучиваться в Петербург, но Сергей Муравьев-Апостол, к тому времени уже 17-летний, использует родственные связи и остается в строю. После сражения при Красном получает золотую шпагу с надписью: «За храбрость». К концу года он уже поручик и получает орден...

Русская армия наступает.

Смерть — рядом с веселыми голодными юношами: она зацепляет Матвея в знаменитом Кульмском сражении и целится в Сергея, выходящего на «битву народов».

Матвей из города Готы, где долечивает рану, пишет сестре 21 октября 1813 года: «Под Лейпцигом Сергей дрался со своим батальоном, и такого еще не видел, но остался цел и невредим, хотя с полудня до ночи четвертого октября находился под обстрелом, и даже старые воины говорят, что не припомнят подобного огня».

Но все обошлось, братья вместе, «в прекрасной Готе, и сегодня город даст бал, который мы навсегда запо-

мним, и впереди движение к Рейну и сладостное возвращение».

Матвей Иванович — 60 лет спустя:

«Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: *любили*. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель тому...»

Если есть эпохи детские и старческие, так это была — юная. Пушкин скажет: «Время славы и восторгов».

С марта 1814 года братья в Париже, проделав боем и пешком ту дорогу, по которой в обратном направлении ехали с Анной Семеновной пять лет назад. Наверное, бегали на свидание с детством — пансион Хикса, старый дом, опера, посольство...

В конце марта 1814-го в Париже собралась едва ли не половина будущих революционеров-декабристов — от прапорщика Матвея Муравьева-Апостола до генерал-майоров Орлова и Волконского; одних Муравьевых — шесть человек, тут же их кузен Лунин... Первый съезд первых революционеров задолго до того, как они стали таковыми.

Но пора домой — к отцу, сестрам, восьмилетнему Ипполиту, который уже давно играет в старших братьев.

Сергей с гренадерским корпусом опять шагает через всю Францию и Германию, в четвертый и последний раз в жизни. Матвей же, с гвардией, «от Парижа через Нормандию до города Шербурга, откуда на российской эскадре — домой»...

«Из Франции в 1814-м году мы возвратились морем в Россию... Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество... Наконец показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он уже готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за

любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; невольно вспомнил я о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Эту сцену, описанную будущим революционером, а в ту пору юным офицером Иваном Якушкиным, видел другой семеновский офицер — Матвей Муравьев-Апостол.

«За военные два года, — заметит Якушкин, — каждый из нас сколько-нибудь вырос».

Вчерашние крепостные, переименованные в российских солдат, во главе с офицерами-помещиками только что прошагали по дорогам Европы, освобождая края, уже начинающие забывать о рабстве.

Война закончилась в стране, где и прежний правитель, Наполеон, и нынешний — Людовик не тронули крестьянской земли и свободы, завоеванных в 1789—1794 годах.

Возвращающимся же победителям перед родными границами не нужно объяснять: «В России найдете рабов!..»

«Мы были дети 1812 года»: никто не сказал — дети 1789-го; можно было бы, имея в виду сцепление событий, полусуто, полусерьезно, порассуждать о «внуках 1789-го», — но это заведет далеко. России и без того хватало парадоксов.

Парадокс Ростопчина

Якушкин: «Один раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением... составить общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом, положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, не совсем бесплодно для России».

Дату этого собрания — 9 февраля 1816 года — помнили и через много десятилетий вчерашние победители Наполеона, повзрослевшие создатели детской республики «Чока»...

«Союз спасения». Шесть заговорщиков.

Конечно, ясно, кого спасать и от чего. *Крестьянская свобода и Конституция:* две главнейшие формулы рус-

ской истории произнесены, и за это *слово* и *дело* через 10 лет одного из этих шестерых повесят, а остальных сошлют в Сибирь, на срок куда больший, чем их нынешний возраст...

Впрочем, «Союз спасения» недолго оставался делом шестерых.

Лунин, 29-летний, принят 20-летними братьями и друзьями. Почти в одно время с ним в «Союз спасения» вступает еще несколько солидных людей: 40-летний Михаил Новиков, племянник знаменитого просветителя, человек, чьи решительные убеждения, возможно, далеко бы его завели в 1825-м, если бы не преждевременная смерть в 1822-м; 30-летний штабс-капитан и уже известный литератор Федор Глинка. К ним следует добавить нового лунинского сослуживца 23-летнего кавалергардского поручика Павла Пестеля, 23-летнего семеновского подпоручика князя Федора Шаховского.

Позже число заговорщиков достигнет нескольких сотен; в их числе князья Волконские, Барятинский... Но все равно — это, конечно, необыкновенно узкий круг по сравнению, скажем, с предреволюционной Францией.

Граф Федор Ростопчин уже не раз появлялся в нашем рассказе: сначала как неудачливый соратник Павла I, ратовавший за союз с первым консулом Бонапартом; позже — генерал-губернатор Москвы во время нашествия французов. Европейски образованный, талантливый публицист и остро слов, притом человек злой, циничный, Ростопчин на закате дней услышал о первом революционном восстании в России. Узнав имена участников, он воскликнул: «Во Франции я понимаю революцию: там сапожники захотели стать князьями. В России решительно не понимаю: здесь князья захотели стать сапожниками...» Знаменитейшая шутка, очень много объясняющая в разнице между российскими и французскими обстоятельствами. Шутка, повторенная в романе Дюма «Учитель фехтования»: «Что вы хотите?.. Люди сошли с ума. Во Франции парикмахеры сражались, чтобы стать большими господами, а мы будем сражаться, чтобы стать парикмахерами».

Множество раз, с сочувствием, недоумением, порой со злорадством, политики, историки, — обыкновенные люди вопрошали: «Что надо было этим знатым людям, этим князьям?» Положим, и во Франции отдельные аристократы и даже член королевской фамилии «гражданин

Эгалите» тоже участвовали в восстании, но в России — только дворяне, только аристократы! Кажется, никогда за всю историю человечества не было случая, чтобы столь большое число людей правящего класса, людей, обладающих всеми привилегиями, имеющими все права, — никогда столько людей не восставало против «своих»; и в этом была удивляющая, бескорыстная, высоко нравственная сторона движения. Даже некоторые советские историки, понятно, очень расположенные к первым русским революционерам, все же долгое время считали, что, наверное, самыми активными заговорщиками против царя и рабства были все-таки беднейшие дворяне, а самые богатые, наверное, выступали более умеренно... Со временем, однако, были сделаны расчеты. Оказалось, что среди активнейших революционеров действительно нашлось несколько бедных дворян (Рылев, Каховский, Горбачевский); однако рядом с ними шли на бой и на смерть, не уступали «бедным» в отречении от собственных благ знатнейшие, богатейшие помещики: Муравьевы, Пестель, Лунин... Нет, никакой «экономической формулой» нельзя было вычислить русских мятежников: в России все наоборот; язык 1789—1794-го очень вольно, совершенно по-особому, переводится в русскую речь 1812—1825 годов. Немногие сохранившиеся документы порой доносят к нам звуки давно умолкнувших, но вечно волнующих разговоров.

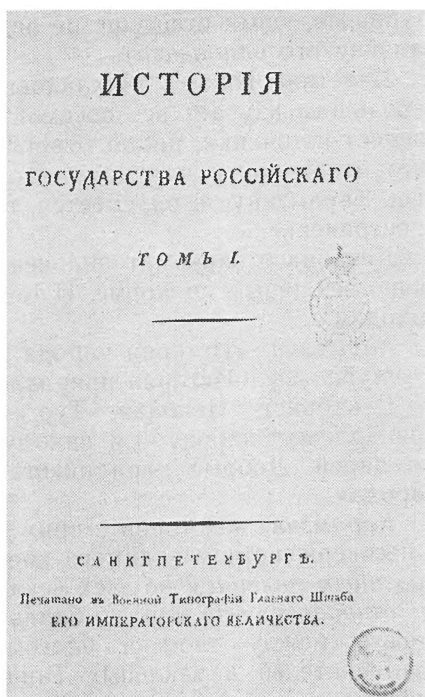
Молодые якобинцы

Пушкин, ровесник и друг многих декабристов, хорошо запомнил, как «негодовали молодые якобинцы». Речь идет отнюдь не об их ненависти к абсолютизму, рабству, униженному положению солдат, это и так ясно...

Молодые якобинцы негодовали против Николая Михайловича Карамзина.

Эти чувства были тем острее и любопытнее, что все они Карамзина весьма почитали; один из знаменитейших людей России, в молодости видевший революционный Париж 1790 года, затем переживший тяжкие разочарования, «испытание кровью 1793 года», Карамзин был вдвое старше своих юных оппонентов; только что, в 1818-м, он выпустил в свет первые тома своей знаменитой «Истории государства Российского», имевшие не просто

«История государства Российского» Н. М. Карамзина. Титульный лист 1-го издания.



огромный успех; вероятно, ни один исторический труд никогда не вызывал в России такого общественного интереса. Отлично зная предмет, владея прекрасным слогом, Карамзин, можно сказать, открыл соотечественникам их прошлое. Он писал откровенно, честно, то, что думал, — и был, наверное, вообще одним из самых уважаемых людей в России. Ему отдавали должное и царь, и его противники, и глубокие ученые, и легкомысленные светские щеголи, и провинциальные дворяне, и сибирские купцы...

Молодых якобинцев не устраивало только одно — Карамзин не был революционером; по его мнению, наилучшей политической формой для России было просвещенное самодержавие.

Итак, *спор честных*: явление всегда примечательное и, как правило, обнаруживающее больше истины, нежели явное противоборство черного и светлого.

Прислушаемся же (тем более что спор был обещан читателям еще на тех страницах, где действовал Михаил

Муравьев, юный отец еще не родившегося в ту пору карамзинского *оппонента*).

22-летний Никита Михайлович Муравьев за месяц с небольшим изучает все восемь томов Карамзина, затем сверяет источники, пишет ответ. Ответ предназначен для того, чтобы пойти по рукам; автор показывает свою рукопись Карамзину, и, разумеется, тот дает согласие на распространение...

Декабрист знакомит оппонента с сочинением, достаточно вежливым по форме. И тем не менее вот что в нем находим:

Карамзин: «История народа принадлежит царю».

Муравьев: «История принадлежит народам».

Декабрист Николай Тургенев вторит: «История принадлежит народу — и никому более! Смешно дарить ею царей. Добрые цари никогда не отделяют себя от народа».

Карамзин: «История мирит (простого гражданина) с несовершенством видимого порядка вещей как с *обыкновенным явлением* во всех веках».

Муравьев: «Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом... Можно ли любить притеснителей и заклепы? Тацита одушевляло негодование».

Любопытнейший спор происходит около 1820 года. Недавно в библиотеке Московского университета был обнаружен экземпляр тогдашнего издания «Писем русского путешественника» с заметками на полях Никиты Муравьева; еще раз напомним — того Никитушки, кто не решался танцевать, если древние герои этого не делали, чей отец, Михаил Муравьев, писал родственникам веселые письма в суровые 1789—1793 годы...

Карамзин переносит читателя на тридцать лет назад, во Францию, в Париж 1790 года (некоторые тексты уже цитировались нами раньше). И вот — скрытый диалог одного из замечательных «отцов» с одним из выдающихся «детей».

Карамзин (описывая Париж 1790 года и королеву Марию-Антуанетту): «Нельзя, чтобы ее сердце не страдало; но она умеет скрывать горечь свою, и на светлых глазах ее не приметно ни одного облачка».

Муравьев (на полях): «Как все это глупо».

Декабриста, вероятно, не устраивают сугубо личные оценки, когда рушатся миры.



Н. М. Карамзин. Гравюра 2-й четверти XIX в.

Карамзин (о наследном принце, Людовике XVII): «Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп: все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. *Народ любит еще кровь царскую!*»

Муравьев: «От глупости».

Карамзин: «Один маркиз (заика), который был некогда осыпан королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал им: „Что делать? Я люблю мяте-те-тежи!“»

Муравьеву неприятна насмешка над дворянином-революционером (сам ведь из таких!), и он зачеркивает два лишних, *заикающихся* слога; не желает улыбаться вместе с русским путешественником.

Дальше — особенно острые строки.

Карамзин: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства».

Муравьев: «Вероятно, мораль скверная».

Ответ не очень уверенный, потому что ведь и сам декабрист не хочет вовлекать народ, массу в российскую революцию; но он все же находит скверной мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин.

В разговоре с декабристом Николаем Тургеневым пожилой историк восклицал: «Вы сами не способны ни к



Н. М. Муравьев. Автолитография
П. Ф. Соколова. Ок. 1817 г.

какому преуспеянию. Довольствуйтесь тем, что для вас сделали ваши правители и не пытайтесь произвести какое-либо изменение, так как опасно, чтобы не наделали вы глупостей!»

Однако вернемся к «Письмам русского путешественника».

Карамзин: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть *святыня* для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку».

Подчеркнув последнюю фразу, Никита Муравьев не сдерживается и прямо между строк вписывает — *дурак*.

Любимому, уважаемому другу дома, самому Карамзину отвешено дурака!

Николай Тургенев, утверждая, что Карамзин *умный* в истории, добавит (разумеется, «по секрету», в письме): «А в политике ребенок и гасильник». *Гасильник* — тот, кто гасит свет прогресса... Брат-единомышленник Сергей Тургенев находит, что лучше бы историк оставил другим «проповедовать мрак, деспотизм и рабство».

И вежливый Карамзин иногда сердится на молодых, употребляя притом обороты очень сходные:

«Скороспелки легких умов...»

«И смешно и жалко!.. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся».

Чуть позже: «Нынешние умники не далеки от глупцов».

Никита Муравьев, однако, не ограничился грубостью между строк, но еще и на полях откомментировал карамзинские слова: «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня».

«Турция святыня,— иронизирует декабрист,— и Алжир также».

Назвав два тиранических, рабских режима, Муравьев думает, что опровергнул историка. В других сочинениях лидер Северного общества декабристов не раз выскажется о гнусности всякого деспотизма. В проекте будущей российской конституции он запишет: «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно губительна для правителей и для общества. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает то и другое».

Николай Тургенев о том же: «Пусть толпы рабов, в коих чувство мелкого эгоизма заменило чувство достоинства человека и которые, так сказать, нежатся в подлости, пусть они восхищаются прелестями султанской власти и шелковый шнурок, посланный к визирю, почитают залогом порядка и счастья народов; великий ум, прекрасная душа, любовь к отечеству должны были бы внушить нашему историку иные способы доказательства того, что он доказать хотел и чего, однако ж, доказать не мог».

Сильно, жестко звучат революционные формулы: «Опыт всех народов и всех времен доказал...», «Пусть толпы рабов...» Но Карамзин не устает повторять свое: что общество, государство складываются естественно, закономерно и всегда соответствуют духу народа; что преобразователям — нравится или не нравится — придется с этим считаться. Он не сомневается, кстати, что и алжирский, и турецкий, и российский деспотизм, увы, органичны; эта форма не подойдет французу, шведу, так же как шведское устройство не имеет российской или алжирской почвы. В письме к лучшему другу, И. И. Дмитриеву, историк язвит: «Хотят уронить троны, чтобы на их место навалить кучи журналов».

В «Письмах русского путешественника» мысль продолжена: «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель

тель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни».

Муравьев подчеркивает слова: «во всяком правлении» — и замечает: «Так глупо, что нет и возражений».

Нет, вмешаемся мы (люди XX века), не так уж глупо, даже если не согласиться! Речь ведь опять же идет о соответствии народного духа и политических форм, о том, что иной народ доволен тем правительством, которое непременно выгнали бы из других стран. Дух народов меняется медленно; Пушкин позже заставит своего героя сказать по-карамзински: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

«Во Франции,— пишет «русский путешественник»,— жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком».

«Неправда!» — восклицает на полях Муравьев.

Действительно, *неправда*, иначе зачем бы восставать? Иначе, выходит, и в России мужики благоденствуют.

«Но дерзкие,— продолжает Карамзин,— подняли секиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сделаем!*»

«И лучше сделали»,— вписывает декабрист прямо между книжных строк. Вот — «русская резолюция» насчет французской революции!

И лучше сделаем — надеются члены тайных обществ.

И хуже будет — пророчит Карамзин, соглашаясь, что рабство — зло, но быстрая, неестественная отмена его — тоже зло.

Русский путешественник: «Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

Муравьев подчеркивает слова о бунтовщике, эшафоте и пишет на полях: «Что ничего не доказывает».

Поразительное столкновение мнений и судеб. Карамзин, свидетель «роковых минут» Великой французской революции, помнит реки крови, предсказывает новые, закликает не торопиться, пугает бунтовщиков эшафотом... Никита Муравьев не спорит насчет того, что в перспективе возможны эшафот, Сибирь. И через четверть века,

оканчивая дни в ссылке, в глухом сибирском селе Урик близ Иркутска, этот человек, который, по мнению друзей, «один стоил целой академии», может быть, и вспомнит предсказание, которое, впрочем, *ничего не доказывает*: он уверен, что можно, должно идти и на эшафот, и на Тарпейскую скалу, если дело справедливое...

Наконец, последняя апелляция Карамзина к естественному ходу истории и времени: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидения...»

Никита Муравьев: «Революция была, без сомнения, в его плане».

То, что существует, продолжается, Карамзин считает не случайным, естественным, — и он прав. Да и Муравьев согласен; только декабрист в число естественных обстоятельств включает и саму революцию: французскую, что уже была, и русскую, которая впереди.

Если «разумно и действительно» только сущее, то откуда же берутся *перемены*, кто их совершает? Не считает разве сам Карамзин, что 1789—1794 годы закономерны? Не признается ли одному из друзей, что «либерализм сделался болезнью века»?

Итак, в известном смысле оба правы — Муравьев и Карамзин. Но историк серьезно ошибается, переоценивая прогрессивные возможности русского самодержавия в XIX веке; декабрист же недооценивает страшную силу прошедшего, власть традиции, на которой в немалой степени держится старый мир.

Наконец, на последних страницах «Писем русского путешественника» их автор получает от декабриста чуть ли не упрек *справа*, укор внешне неожиданный (учитывая предыдущую полемику) за «чрезмерную нейтральность» к французским делам.

Карамзин: «Я оставил Тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих я жил спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной».

Муравьев (на полях): «А Москва сгорела!»

«Беспечность» 1790 года столь же неприятна декабристу, как и страшные, пугающие формулы о «гибельных потрясениях», эшафоте, провидении.

Вот оно, провидение: Париж 1790-х — Москва 1812-го... Из пожара же Москвы и народной войны 1812 года берут начало новые уроки, о которых, однако, историограф не хочет толковать.

Кажется, все современники стремятся взглянуть на французскую революцию пошире. Даже Жозеф де Местр восклицает, что 1789—1794 годы — «величественный урок народам и королям. Это — пример, данный для того, чтобы ему не подражать». Крепко спорит со своим родственником и другом Карамзиным князь Петр Вяземский. Теперь — считает он, — когда, можно сказать, начала оседать пыль и становятся видны контуры того, что разрушено и заново создано, теперь необходимо все разглядеть: «Запоздалые в ругательствах, коими обременяют они Вольтера, — называют его зачинщиком французской революции. Когда и так было бы, что худого в этой революции? Доктора указали на антонов огонь. Больной отдан в руки неискусному оператору. Чем виноват доктор? Писатель не есть правитель. Он наводит на прямую дорогу, а не предводительствует. Требуйте ответа от творца: зачем добро постигается здесь часто страданиями творения? А теперь, когда кровь унята и рана затягивается, осмелитесь сказать, что революция не принесла никакой пользы! Народы дремали в безнравственном расслаблении. Цари были покойнее, но достоинство человечества не было ли посрамлено? Как ни говорите, цель всякой революции есть на деле, или в словах, уравнение состояний, обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притесненных; предприятие в начале своем всегда священное, в исполнении трудное, но не невозможное до некоторой степени».

В другой раз тот же Вяземский резонно замечает: «Я слышал от этих дураков: «На месте царей сослал бы я куда-нибудь на отдаленный остров всех этих крикунов (говоря о Бенжамене Констане, Герене* и других) и все пошло бы как по маслу». Врали! Вы не знаете, что эти имена, которые вас пугают, только что ходячие знаки капитала, который разбит по рукам целого поколения, возмужавшего и мужающего. Истребите их — явятся другие».

Так будоражила людей французская революция на расстоянии трех десятилетий и нескольких тысяч километров от нее. И с каждым годом страсти накаляются еще больше...

* Либеральные литераторы, историки, публицисты 1810—1820-х гг.

Ingrata patria

В то время, когда начинались первые сходки русских тайных революционных обществ, 18-летний Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Вольность», которое, конечно, не подлежало печати (позже оно вместе с несколькими другими опасными сочинениями явилось причиной высылки поэта из столицы). Значительная часть стихотворения — все о том же, о французской революции и последующих событиях:

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства.
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон, народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Наполеон, царствующий, а потом свергнутый и томящийся на Святой Елене, не оставляет в покое воображение российских молодых людей, так же как и их сверстников в других странах. «Ingrata patria» — неблагоприятная отчизна: эта черновая строка о Франции и Наполеоне вдруг возникает в начале знаменитого стихотворения; оно вписано в огромную конторскую книгу, где юный Пушкин имел обыкновение набрасывать свои замыслы. Книга-тетрадь, так же как и все листы, где отыскивается почерк поэта, хранится сегодня в Ленинграде, в Пушкинском Доме.

На одной из страниц краткая запись: «18 июля 1821 года. Узнал о смерти Наполеона». 18 июля по старому стилю, по новому — 30 июля, в то время как Наполеон скончался 5 мая 1821 года: почти три месяца медленно двигалось известие с острова Святой Елены во глубину причерноморских степей, где живет ссыльный Пушкин.

Любопытно, что в такой же тетради черновику стихотворения «Наполеон» предшествуют «Исторические замечания» о Петре Великом и его преемниках.

«После смерти деспота», — записывает Пушкин, но зачеркивает и заменяет: «После смерти Великого человека...»

В беловом тексте мы читаем великолепную, отточенную фразу: «Петр I не страшился народной Свободы, не-



А. С. Пушкин. Литография 1830 г.
с портрета О. А. Кипренского.

минуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Видно, мысль о сходстве Наполеона с Петром (оба распространяли просвещение, которое, в общем, укрепляло их деспотизм, и не страшились свободы — неминуемого, но, может быть, нескорого следствия просвещения), — эта мысль была сначала Пушкину не ясна. Однако уже со следующего листа тетради начинается «поэтическая победа» над полководцем-императором.

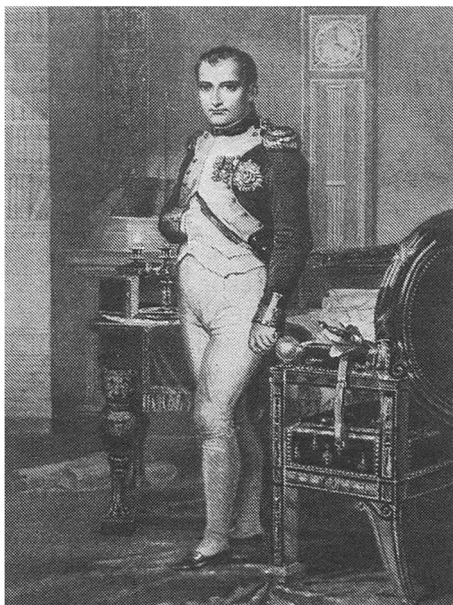
Сначала было написано: «томясь» (в угрюмом), (в своем), (в унылом) заточенье».

Затем — эпитафия «*Ingrata patria...*» и стихи:

Чудесный жребий совершился;
Угас великий человек.

Стихотворение «Наполеон» находится в ближайшем родстве с «Историческими замечаниями...». Оно посвящено человеку, подобному Петру, — «великий человек» совершает свой «чудесный жребий», меняет ход исторических судеб. Переворот порождает надежды:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал...



Император Наполеон.
Гравюра Валло с карти-
ны Ж.-Л. Давида.

Однако госпожа де Сталь, услышав, что Наполеон — «дитя революции», возразит: «Да, дитя, но отцеубийца». (Пушкин — мы уже цитировали — сказал: «Мятежной вольности наследник и убийца».)

В стихотворении «Наполеон» находим важные слова:

Тогда в волнение бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.

«Петр I презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Наполеон — «человечество презрел».

Но Пушкина не удовлетворяют одни слова осуждения, адресованные тому, кто «обновленного народа буйность юную смирил». Он угадывает новое движение мировой и русской истории, совершаемое в немалой степени независимо от воли и намерения Наполеона:

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Такова внутренняя близость исторических заметок и стихотворения, сочиненных в одно время, «на границе с Азией», в кишиневском захолустье, двадцатидвухлетним поэтом и мыслителем...

1820-е

В эту пору — революции в Италии, Испании, Греции: «французское эхо». В разговорах, письмах, прозе и стихах русские прогрессисты все время перебрасываются знакомыми именами, сравнивая новых революционных лидеров со старыми, давно знакомыми. При этом Наполеон порою является то символом своеобразной свободы, то деспотом; Марат же и Робеспьер, невзирая на свою крайнюю революционность, а может быть, благодаря ей, в основном представляются Пушкину и его друзьям не свободолюбцами, а носителями своего рода тирании, деспотизма; и вот уж «русские Робеспьеры» приносят клятву вольности, вспоминая как образец убийцу Марата Шарлотту Корде...

Все перепуталось — лишь порыв к свободе несомненен.

Меж тем ни одна революция в мире не начиналась с такого количества стихов, поэзии, поэтических образов. Хотя штурму Бастилии тоже сопутствовали многие стихотворные строчки, но все же — согласимся — проза Вольтера, Дидро, Монтескье, Руссо была весомее.

Собираясь повторить французское дело на русский лад, те заговорщики (которые еще не знают, что вскоре их назовут *декабристами*) мыслят, чувствуют преимущественно поэтически.

В чем причина этого явления?

Следует, конечно, задуматься над «художественностью», гениальной типической выразительностью того, что происходило в 1789—1825 годах. Ведь на глазах одного-двух поколений разрушался тысячелетний европейский уклад, менялась история, экономика, география; раздвигались границы отцовского и дедовского мира — Египет, Святая Елена, Южноамериканские республики, создаваемые Боливаром; Пушкина с детства окружают сотни «сюжетов», «коллизий», принадлежащих действительности и превосходящих любой романтический обра-



Андре Шенье. Литография по рисунку Т. Шанно. 1-я половина XIX в.

зец: «Что почта — то революция!» — восклицает Николай Тургенев.

К тому же во всех событиях огромную роль играют молодые революционеры, полководцы, дипломаты, трибуны, литераторы.

Поэзия уходящего, поэзия предчувствия... Всегда важно и интересно последовать за мыслью гения, проникающей в «невидимую» глубину минувших событий и обладающей пророческою силой.

Сотни молодых дворян-офицеров в середине 1820-х годов приближаются к русскому «14 июля».

Кому же из французов посвящает одно из важнейших своих стихотворений первый русский поэт, недавно «появившийся» Наполеона?

Герой неожиданный, только за несколько лет до того открытый для французской и европейской публики: примкнувший к французской революции и казненный ею поэт Андре Шенье.

187 стихотворных строк, из них 145 — монолог приговоренного поэта и 42 строки — «от автора».

Черновик начинался стихами (затем перенесенными в середину стихотворения):

Куда, куда завлек меня враждебный гений?
 Рожденный для любви, для мирных искушений,
 Зачем я покидал безвестной жизни тень,
 Свободу и друзей, и сладостную лень?
 Судьба лелеяла мою златую младость;
 Беспечною рукой меня венчала радость...

Восстание закономерно. Но надо ли поэту кидаться туда, «где ужас роковой»?

Французская революция 1789—1794 годов для Пушкина — недавнее, «вчера́шнее» дело, историческая репетиция сегодняшних и завтрашних событий. Не только поэт обращается к тени Шенье — целое мыслящее поколение сопереживает тому, что некогда произошло в Париже: сначала радость великого освобождения — и двадцать четыре стиха об этой радости концентрируют в пушкинской элегии то, о чем говорили «все» и «везде»:

Приветствую тебя, мое светило!
 Я славил твой небесный лик,
 Когда он искрою возник,
 Когда ты в буре восходило...

Далее в стихах — взятие Бастилии, клятва в зале для игры в мяч, Мирабо, похороны Вольтера и Руссо в Пантеоне — свобода, равенство, братство...

Оковы падали. Закон,
 На вольность опершись, провозгласил равенство,
 И мы воскликнули: *Блаженство!*

Если бы элегия кончалась после этого двадцатичетырехстрочного гимна, тогда бы ее оптимистический тон не вызывал сомнений. Но Пушкин и его единомышленники не могут остановиться на этом... Далее следуют строки (уже цитированные в нашей книге):

И мы воскликнули: *Блаженство!*
 О горе! о безумный сон!
 Где вольность и закон? Над нами
 Единый властвует топор.
 Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
 Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
 Но ты, священная свобода,
 Богиня чистая, нет,— не виновна ты...

Свобода не виновна — но «свободы сеятель» мог выйти слишком рано...

Современнику событий легко, очень легко впасть в страшную, самоубийственную ересь: навсегда отречься от свободы, забыть, что она может исчезнуть лишь на время.

В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой:
Но ты придешь опять со мщением и славой,—
И вновь твои враги падут;
Народ, вкушивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!

Свобода вернется — однако поэт может не дожить («...я не узрю вас, дни славы, дни блаженства...»).

Стихотворение, написанное под впечатлением разговоров с декабристами и полное предчувствий. «Нет ли тут,— спрашивал один проницательный исследователь,— чего-то вроде предвидения [Пушкиным] своей судьбы в случае успеха революции?»

Элегия «Андре Шенье» была напечатана в составе «Стихотворений Александра Пушкина» в самом конце 1825 года без сорока пяти стихов, запрещенных цензурой.

Запрещены были как раз те стихи, где говорилось о надеждах и разочарованиях во время французской революции. Вскоре, однако, некто пустил по рукам именно этот выпущенный отрывок под заглавием «На 14 декабря».

Выходило, что речь идет не о французских делах 1789—1794 годов, а о русском 1825-м; не о 14 июля — о 14 декабря!

Пушкина, и без того находившегося в опале, власти заподозрили в «воспевании заговора». Поэт оправдывался; он говорил, что речь идет не о гимне павшим декабристам: содержание отрывка достаточно сложно, и в нем описываются события, внешне полярные тому, что произошло в 1825—1826 годах. В Париже «свергнули царей», в Петербурге «цари» взяли верх.

Однако внутренняя, глубинная связь *сорока пяти строк* с тем, что произошло только что в России, несомненна: гимн свободе, картина террора, вера в грядущее возвращение вольности: «Так буря мрачная минет». Пря-

молинейная аналогия, пришедшая в голову не слишком искушенному читателю и побудившая его озаглавить отрывок «На 14 декабря», была принята и «признана» карающей властью, которая отнюдь не нашла явного противоречия между произвольным заглавием и пушкинским текстом.

Даже не имея сомнений, что Пушкин сочинил стихи за несколько месяцев *до восстания*, Сенат все равно квалифицировал их как «сочинение соблазнительное и служившее к распространению в неблагонадежных людях того пагубного духа, который правительство обнаружило во всем его пространстве».

Нельзя не удивляться! Поэт пишет до русского восстания — ему приписывают восхваление восстания, уже случившегося; поэт вроде бы осуждает якобинский террор, и власти должны радоваться, но «наверху» все равно недовольны: и в осуждении террора угадывают какой-то тайный враждебный дух...

Трудно великому поэту не быть пророком. Когда он оканчивал своего «Андре Шенье», русский «1789-й» еще не наступил — но главные слова уж произнесены!

Клятва

«Наша конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа... Ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию».

Эти слова произносил осенью 1825 года перед своими единомышленниками пламенный заговорщик Михаил Бестужев-Рюмин. Запись одного из современников не передает той силы и страсти, того гипноза, которым владел этот 24-летний офицер: после его выступления офицеры куда более старшие и возрастом, и чином обнимались, плакали, клялись нанести удар по царю. Некоторые потом серьезно утверждали, что Бестужев-Рюмин их буквально околдовал. По-видимому, это был своеобразный, талантливый лидер, который в наше время, в XX веке, мог бы повести за собой массу молодежи. Свою агитацию Бестужев-Рюмин разворачивал на Украине, среди расположенных там войск; самым же близким к нему человеком, задушевым другом, невзирая на заметную разницу в возрасте, был уже столь знакомый читателям Сергей Муравьев-Апостол.



М. П. Бестужев-Рюмин. *Рисунок*
А. Ивановского (?). 1826 г.

И старший — Матвей, и второй брат — Сергей, и даже самый юный, еще не окончивший обучение, Ипполит Муравьевы-Апостолы были готовы ради свободы на все.

Религиозный Сергей полагал, что если ему явились столь возвышенные мысли и чувства, — то один этот факт доказывает присутствие божества, существование связи человека с высшими силами...

«Для отечества, — вспоминал современник, — Сергей Муравьев-Апостол готов был жертвовать всем; но все еще казалось до такой степени отдаленным для него, что он терял терпение; в такую минуту он однажды на стене Киевского монастыря выразил свое чувство». Один из декабристов прочитал на стене эту надпись (позже троюродный брат сочинителя Михаил Лунин переведет французские строки на русский язык):

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

Матвей Муравьев (на следствии):

«У меня была переписка большая с некоторой мадемуазель Гюене, я желал очень письма истребить».

Переписка с гувернанткой из Швейцарии, жившей в Полтавской губернии, была не только у Матвея, но и у Сергея. Письма были сожжены во время восстания... Что стало с самой Гюене, сожгла ли она послания братьев или сохранила? Может быть, они доселе хранятся.



М. И. Муравьев-Апостол.

в семейной шкатулке в каком-нибудь альпийском кантоне? Бог весть. И все же одно, последнее, письмо к ней Сергея Муравьева уцелело. Спаслось потому, что мадемуазель никогда о нем не узнала...

Через несколько месяцев после восстания один жандармский капитан обратил внимание, что на полтавской почте лежат не востребовавшие письма, адресованные Матвею Муравьеву-Апостолу и мадемуазель Гюене...

Письма, прочитанные двумя-тремя чиновниками и на столетие спрятанные в секретный архив:

Их напечатали только в 1920-х годах...

Сергей Муравьев-Апостол — мадемуазель Гюене 18 ноября 1825 г.;

«Я преподношу вам довольно длинное рассуждение, но вы не должны этому удивляться: когда беседуешь с особой, которая имеет обыкновение размышлять глубоко, это пробуждает в нас поток мыслей, которому нет конца. Вспоминаете ли вы, мадемуазель, наши долгие беседы? Что касается до меня, то сколько раз я мечтал о том, чтобы они возобновились!

В ожидании этого времени, которое будет для меня очень приятно, примите уверение в почтении и уважении, которые питает к вам преданный вам...»

Длинные рассуждения касались прочитанных книг. Новый пятитомный французский роман Луи Пикара «Жиль



С. И. Муравьев-Апостол.

Блаз революции» декабристу не понравился: герой — веселый проходимец; переживая тысячи приключений и спасаясь от смерти, он удобно устраивается при разных режимах — революции, Директории, Наполеоне, Реставрации, пока не заканчивает жизнь в уютной богадельне.

«Эти люди,— говорит Сергей Муравьев девице Гюене,— приспособляются ко всяким обстоятельствам потому, что, лишённые всякой силы в своем характере, они не могут понимать ничего, кроме эгоизма, который заставляет их и в побуждениях других людей находить лишь свою собственную манеру мыслить и чувствовать. Но сами эти люди — не отбросы ли они человеческого рода?»

И затем — наиболее интересные строки этого письма, где автор рисует свой человеческий идеал. И корреспондентка, конечно, разглядела бы этот автопортрет, если бы послание когда-нибудь пришло по адресу.

«И не в противность ли этому непостоянству людей ничтожных мы чтим и особенно ценим людей, которых небо одарило истинной отзывчивостью чувства и деятельным характером? В их природе непостоянства нет, потому что впечатления врезаются неизгладимо в их сердца. Жизнь имеет для них прелесть только тогда, когда они могут посвятить ее благу других. Они отбросили бы ее,

как бесполезное бремя, если бы они были осуждены посвящать ее самим себе. В своем собственном сердце находят они источник своих чувств и поступков, и они или овладевают событиями или падают под их тяжестью, но не станут к ним приспособливаться».

И если существуют такие люди — а Сергей Муравьев подозревает, что существуют, — тогда мир устроен не так, как полагает «Жиль Блаз революции»:

«Но не утешительно ли думать, что все воззрения, которые унижают род человеческий, оказываются ложными и поверхностными?»

Это одно из последних писем человека, которого «небо одарило истинной отзывчивостью», в чьем сердце «неизгладимые впечатления», для кого жизнь имеет прелесть, если посвящена «благу других». Исповедь, завещание — особенно важные, так как автор не подозревает, что пришел час исповедоваться.

Таковы были герои завтрашней революции.

Однако вернемся на то секретное заседание, где Бестужев-Рюмин овладевает умами слушавших и с самого начала убеждает единомышленников в огромных отличиях русской революции от французской и многих других.

«— Наша революция, — сказал Бестужев-Рюмин, — будет подобна революции испанской; она не будет стоять ни одной капли крови, ибо производится одною армиею без участия народа.

Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию.

— Но какие меры приняты Верховною думою для введения предложенной конституции, — спросил его Борисов 2-й, — кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления? Вы еще ничего нам не сказали об этом.

— До тех пор пока конституция не примет надлежащей силы, — отвечал Бестужев, — Временное правление

будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться десять лет.

— По вашим словам,— возразил Борисов 2-й,— для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершенно военная, что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?

Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица.

— Как можете вы меня об этом спрашивать! — вскричал он со сверкающими глазами,— мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей? Никогда! Никогда!

— Это правда,— сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкою сомнения,— но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18 лет.

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных...»

Разговор важнейший — о судьбе революции. Как добиться, чтобы российский Конвент не был заменен российским Наполеоном?

Борисов беспокоился, что если революция произойдет без народа, военные обязательно выдвинут диктатора; однако существовала у российских лидеров и другая логика: во Франции народ с 1789-го по 1794-й постоянно участвовал в революции, и это привело к большому кровопролитию.

В России свобода будет завоевана без прямого участия народа: ее поднесут народу победители, благородные дворяне...

Правда, возникал вопрос — а что же будет дальше? Как распорядятся проснувшиеся массы столь огромным подарком?

Но об этом не решались толковать... Клялись, что не допустят нового диктатора, но разве не давали такой же клятвы французские революционеры?

Революция без народа: этот эксперимент был вскоре осуществлен.

Декабрь

14 декабря 1825 года несколько десятков революционных офицеров и несколько тысяч солдат строятся вокруг памятника царю Петру, что был воздвигнут полвека назад Фальконе с благословения Дидро.

Французская ситуация, «русский 1789-й»: но все — совершенно противоположно.

Во Франции — 14 июля, летом; в России — 14 декабря, зимой.

Во Франции главное действующее лицо — народ, в России — солдаты, но без участия народа.

Во Франции восставшие в первые годы действовали «именем короля», реального Людовика XVI (хотя он этого вовсе не хотел). В России — именем императора Константина, которого, однако, даже в Петербурге не было.

Во Франции победа — в России поражение: восставшие полки рассеяны артиллерией...

Позже Герцен остроумно заметит, что картечь была не только в революционеров, но и в бронзового Петра, вокруг которого они стояли: царь, умерший в 1725 году, дал толчок русскому просвещению, не заботясь о «последствиях».

Ровно через 100 лет, в 1825-м, просвещение потребовало свободы!

14 декабря 1825-го...

Через две недели известие о событиях дошло до южных степей.

Если бы существовали телеграф, радио, — офицерская революция могла бы вспыхнуть одновременно в разных краях страны — как это случилось, например, в Португалии 25 апреля 1974 года.

31 декабря, накануне Нового, 1826 года, в Василькове, близ Киева, Сергей Муравьев-Апостол и его друзья клянутся победить или умереть.



Восстание на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г. Художник Р. Р. Френц.

«Действие этой драматической сцены,— вспоминал очевидец,— усилил неожиданный приезд молодого офицера, который с восторгом бросился в объятия Сергея Ивановича. Это был младший из Муравьевых — 19-летний Ипполит, примчавшийся прямо из Петербурга».

Звучит команда «В поход!», около тысячи человек выходят из города по старинному тракту. Тысяча! Наполеон взял Францию с одной ротой; Гарибальди с тысячей уничтожит одно королевство и создаст другое.

Сколько надо для России?

Несколько дней восставший полк мечется по заснеженным украинским степям; солдаты и офицеры уверены, что встреченные части к ним присоединятся, не станут стрелять в своих.

Однако 3 января 1826 года им приходится изведать горькое разочарование: так же как в Петербурге, против них пущена в ход артиллерия; бунтовщики рассеяны, Сергей Муравьев-Апостол тяжело ранен; младший брат, Ипполит, кончает жизнь самоубийством; Матвей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и другие схвачены.

Революция окончилась.

Расправа

Французская революция тоже в свое время окончилась, но притом ее не победили. Сами революционеры приговаривали друг друга...

В России же приговаривает Империя, царь Николай I.

Приговор — целой эпохе, тем десятилетиям, когда власть надеялась просветить страну без «дурных последствий» просвещения...

С первых дней следствия и суда в камерах Петропавловской крепости и в зале для допросов возникла «французская тень».

Знаменитые предшественники французской революции, философы и писатели, чьей благосклонностью очень долго дорожила бабушка Николая I, теперь, можно сказать, сурово допрошены внуком Екатерины II и его людьми.

Один из вопросов, задаваемых каждому арестованному, — «С какого времени и откуда заимствовали Вы первые вольнодумческие и либеральные мысли?»

Бестужев-Рюмин: «В трагедиях Вольтера».

Н. Крюков: «У Руссо, Монтескье, Вольтера и других...»

Штейнгейль: «У Вольтера, Руссо, Гельвеция».

А. М. Муравьев: «Руссо, Вольтера, Монтескье, Мирабо...»

Братья Борисовы, Громницкий: «Вольтер, Гельвеций, Рейналь».

Якушкин: «Вольтер, Гельвеций, Гольбах...»

Барятинский же *превзошел* в найденных у него французских стихах самого Вольтера: француз однажды произнес: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать»; декабрист: «Даже если бы бог существовал, его следовало бы упразднить».

Меж тем Михаил Бестужев-Рюмин просит разрешения отвечать на вопросы по-французски, этот язык ему привычнее. Николай I, однако, со злорадством отказывает: ему важно подчеркнуть, что вот каковы борцы за русский народ — даже языка как следует не знают!

Позже не раз, и не только в придворных кругах, раздадутся голоса, что дворяне-смертники были не народны — просто заражены «французским духом». Даже Лев

Толстой одно время потерял интерес к истории декабризма, так как решил, что все убеждения этих людей наносные, заграничные; потом, однако, великий писатель стал думать иначе.

Эти молодые офицеры, не всегда владевшие русской грамотой, хорошо знали, что было бы для России благом: свобода крестьянам, облегчение участи солдат, конституция...

Следователи же неоднократно пытались доказать, что эти люди подчинялись исключительно французскому и другим западным воздействиям; долго, но безуспешно интересовались ролью знакомого многим декабристам графа Полиньяка; пытались доискаться, отчего в числе тайных революционных шифров были строки из вольтеровского «Танкреда».

В конце концов, однако, «французскую версию» пришлось отставить.

Допрашивали, судили полгода: более ста человек, прекрасных, мыслящих, дельных молодых офицеров, приговаривают к огромным срокам каторжных работ и ссылки. Среди них Михаил Лунин, несколько Муравьевых, в том числе Никита Муравьев, недавно горячо возражавший Карамзину.

Еще несколько сот человек разжалованы, сосланы в армию солдатами или в деревню под надзор. Пятерым же — смертная казнь: *Рылееву, Каховскому, Пестелю, Сергею Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину*.

Старый, седой Карамзин, не одобряя русской революции, вышел на площадь — увидеть ее своими глазами, точно так, как 35 лет назад наблюдал французскую революцию.

Настоящий историк, он все должен видеть сам; на площади — огорчился, простудился, началась смертельная болезнь. Скорбя о преждевременной, по его мнению, гибели молодых идеалистов, он вскоре заметит новому царю: «Заблуждения и преступления этих молодых людей — суть заблуждения и преступления нашего века».

Историк умер в мае 1826 года, до выполнения приговора по делу декабристов; многие считали, что авторитет его не позволил бы Николаю I казнить пятерых, теперь же — некому заступиться...

Прощание

Ночь накануне казни, с 12 на 13 июля 1826 года.

Михаил Лунин (14 лет спустя, в Сибири):

«В Петропавловской крепости я заключен был в каземате № 7, в Кронверкской куртине, у входа в коридор со сводом. По обе стороны этого коридора наделаны были деревянные временные темницы, по размеру и устройству походившие на клетки; в них заключались политические подсудимые.

Пользуясь нерадением или сочувствием тюремщиков, они разговаривали между собой, и говор их, отраженный отзвучивающей свода и деревянных переборок, совокупно, но внятно доходил ко мне. Когда же умолкал шум цепей и затворов, я хорошо слышал, что говорилось на противоположном конце коридора.

В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоты ночника,— внезапно слух мой был поражен голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Узнает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи?— спросил другой голос.
— Сергей Муравьев-Апостол.

Мне суждено было не видеть уже на земле этого знаменитого сотрудника; приговоренного умереть на эшафоте за его политические мнения. Это странное и последнее сообщение между нашими умами служит признаком, что он вспомнил обо мне, и предвещанием о скором соединении нашем в мире, где познание истины не требует более ни жертвований, ни усилий».

Вряд ли кто-нибудь лучше описал жуткие петропавловские ночи.

Лунин не утверждает, будто стихи читал сам его троюродный брат: скорее всего, кто-то из друзей, знавший эти строки.

Декабрист Цебриков: «Бестужеву-Рюмину, конечно, было простительно взгрустнуть о покидаемой жизни. Бестужев-Рюмин был приговорен к смерти. Он даже за-



М. С. Лунин. Гравюра начала XIX в.

плакал, разговаривая с Сергеем Муравьевым-Апостолом, который с стоицизмом древнего римлянина уговаривал его не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства!

Шум от беспрестанной ходьбы по коридору не давал мне все слова ясно слышать Сергея Муравьева-Апостола; но твердый его голос и вообще веденный с Бестужевым-Рюминым его поучительный разговор, заключавший одно наставление и никакого особенного утешения, кроме справедливого отдаленного приговора потомства, был поразительно нов для всех слушавших, и в особенности для меня, готового, кажется, броситься Муравьеву на шею и просить его продолжать разговор, которого слова и до сих пор иногда мне слышатся».

А за стенами — люди, которым предстоит страдать, но жить: иные — старые друзья; другие же — минутные, последние знакомые.

Член Северного общества Андреев, сидя рядом с Сергеем Муравьевым-Апостолом, говорит ему в эту ночь:



П. И. Пестель. Рисунок А. С. Пушкина. 1824 г.

«— Пропойте мне песню, я слышал, что вы превосходно поете.

Муравьев ему спел.

— Ваш приговор? — спросил Андреев.

— Повесить! — отвечал тот спокойно.

— Извините, что я вас побеспокоил.

— Сделайте одолжение, очень рад, что мог вам доставить это удовольствие».

Затем — раннее утро 13 июля.

Один из немногих очевидцев запомнит: «Когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску...»

Другой свидетель видит пятерых у виселицы, а близ себя одного француза.

«Офицер Де-ла-Рю, только что прибывший в Петербург в свите маршала Мармона, присланного послом на коронацию императора Николая Павловича. Де-ла-Рю был школьным товарищем Сергея Муравьева-Апостола в каком-то учебном заведении в Париже, не встречался с ним с того времени и увидел его только на виселице».



Казненные декабристы. Рисунок
А. С. Пушкина на полях рукописи.

Учебное заведение, конечно, пансион Хикса. Маршал Мармон 12 лет назад сдал Париж Сергею Муравьеву-Апостолу и тысячам его товарищей, а теперь представляет на торжествах династию Бурбонов, короля Карла X (того самого графа д'Артуа, который закладывал драгоценности, переданные ему Екатериной II для борьбы с революцией).

Александр Дюма, хотя был и не очень точен в своем «Учителе фехтования», однако все же многое знал и, главное, его рассказ очень многие прочли:

«Еще не замолкли куранты, как из-под ног осужденных была выбита доска, на которой они стояли. Раздался сильный шум, и солдаты устремились к эшафоту. Какое-то сотрясение, пройдя по воздуху, казалось, повергло нас в озноб. Послышались какие-то крики; и мне показалось, что случилось нечто ужасное.

Оказалось, что веревки, на которых висели двое повешенных, оборвались, и они упали вниз, причем один из них сломал себе бедро, а другой руку. Это и было причиной донесшегося шума... Упавших подняли и положили, так как они уже не могли держаться на ногах. Тогда один из них сказал другому: «Посмотри, до чего добр этот народ-раб: он не умеет повесить человека!...»

Послали за новыми веревками. И в то мгновение,

когда палач накинул петли на их шеи, они громко воскликнули в последний раз:

— Да здравствует Россия! Да здравствует свобода! Наши отмстители придут!»

Все кончено; но из Сибири вскоре донесутся примечательные слова Михаила Лунина (все того же Мишеньки, кто в конце XVIII столетия скакал на палочке в русской провинциальной глуши, а теперь навсегда отправлен в Сибирь): «От людей можно отделаться, от их идей нельзя».

Эпилог первый

14 июля. Через полвека

1830-е годы: сорок, а затем пятьдесят лет со времени Великой революции.

Все меньше и меньше прямых участников, свидетелей. Немногие из тех, кто пережил все бури и потрясения, с изумлением взирают на новую Францию и Европу и часто повторяют, что не этого они хотели в 1789-м и 1793-м...

В царском дворце в Петербурге все переносят с места на место мраморную гудоновскую статую Вольтера — чтобы Николай I не наткнулся на «нелюбезного героя»; но поскольку царь привык за всем следить и никому не доверяет, то в своих «инспекционных» прогулках по бесконечным комнатам и галереям дворца все время натывается на старого мыслителя. Однажды приходит в такую ярость от насмешливой улыбки Вольтера, что приказывает «истребить эту обезьяну», и тогда статую сослали: сначала в подвалы соседнего дворца, затем — в Императорскую Публичную библиотеку. Но не таков был «фернейский злой крикун», чтобы испугаться очередного гонителя: в 1887 году он все-таки вернулся во дворец (то есть Эрмитаж), где находится и поныне; также возвратились и другие вольтеровские реликвии, например модель фернейского замка, сосланная по личному распоряжению Николая в Институт корпуса инженеров путей сообщения...

Никак не удавалось отменить Вольтера, забыть 1789-й.

Когда же ударил 1830-й — опять революция во Франции, революции в Италии, Бельгии, Польше, — тогда тысячи людей, участвуя в этом новом акте великого исторического спектакля, с особым интересом принялись припоминать предыдущие сцены, пролог. Наступило время понастоящему сравнить век нынешний и век минувший.

То, над чем размышляли Бальзак и Стендаль во Франции, Гегель и Гейне в Германии, Байрон и Вальтер Скотт в Англии, стало предметом пушкинского вдохнове-

ния. «Пиковая дама», задуманная в конце 1820-х, завершена осенью 1833-го. С помощью Томского и его 80-летней бабушки Пушкин переносит читателей в давний, предреволюционный Париж.

«Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть *la Venus moscovite**; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отклеивая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить».

«Лет шестьдесят...» Это число встречается в «Пиковой даме» не раз. «Лет шестьдесят назад,— думает Германн после гибели графини,— в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный а *l'oiseau royal***, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливек, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться».

Шестьдесят лет. Немалая, но все же еще достижимая дистанция — время от внуков до дедов; для нас, сегодняшних, это 1920-е годы, для Пушкина — 1770-е. Эпоха до Великой французской революции и наполеоновских войн. Заметим также, что 1770-е годы — это время Пугачева, а рассказ о молодости графини — как бы «изнанка» пугачевской *истории* (которую в это же время Пушкин пишет в Болдине, там же, где и повесть).

Веселый, небрежный рассказ Томского о давних временах напоминает внукам (хорошо знающим, что произошло затем) о вещах серьезных, страшных. Дело в том, что нам, в конце двадцатого столетия, очень трудно, а по совести говоря, невозможно воспринять Пушкина так, как это было свойственно его современникам. Ученые проштудировали все или почти все книги, которые открывал или мог прочитать поэт; это очень расширяло «чувство истории», но все же не сделало этих специалистов людьми пушкинской поры... Но вот перед нами задача —

* Московская Венера (фр.).

** Журавль (фр.).

уловить, угадать, какие воспоминания, образы, ассоциации являлись первым читателям «Пиковой дамы», российским образованным людям 1830-х годов, когда при них произносилось: *шестьдесят лет назад, Париж, герцог Ришелье, Сен-Жермен, дамы, играющие в фараон...*

В пушкинской повести «Арап Петра Великого» между прочим находим: «На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Поразмыслив и поискав, утверждаем: молодость бабушки Анны Федотовны, «Пиковой дамы», шестьдесят лет спустя ассоциировалась для многих с карамзинскими «Письмами русского путешественника» — одной из самых популярных, «хрестоматийных» в ту пору книг. Как не вспомнить уже процитированные во второй части нашего повествования суждения аббата Н. о том, что «французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во времена Людовика XIV веселились», что «Жан Ла несчастною выдумкою банка погубил и богатство и любезность... превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков».

В «Пиковой даме» молодая графиня (будущая бабушка) как будто сходит с карамзинских страниц, где в предреволюционном Париже «молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство грации, искусство нравиться», и было совершенно непонятно — «к чему бы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над ними гром Революции».

Продолжим же чтение того места из первой главы пушкинской повести, где бабушка проигралась и приказывает дедушке заплатить.

«Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости».

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она до-

шла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовершенствовать его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником».

Бабушка, прожившая в Париже за полгода полмиллиона, и «бунтующий дедушка» — это как бы легкая пародия на бунт (Пугачевское восстание!), который зрел в это время в России и вскоре дойдет до саратовских имений графа и графини. Бабушка снисходительно объясняет дедушке, что есть «разница между принцем и каретником», но ведь все знают, что лет через двадцать парижские каретники возьмутся за принцев. Партнер бабушки по картам герцог Орлеанский не доживет нескольких лет до падения Бастилии, но именно его сын, Филипп, которого мы уже упоминали, будет именоваться «господином Эгалите», проголосует за смертную казнь своего близкого родственника Людовика XVI и потом сам сложит голову на эшафоте; внук же бабушкиного партнера и сын «гражданина Эгалите», Луи Филипп, как раз в 1830 году (за три года до написания «Пиковой дамы»!) взойдет на французский престол.

Сегодня эти сопоставления далеко не очевидны; в пушкинскую пору — едва ли не тривиальны...

Шестьдесят лет спустя...

Пройдет немного времени, и сойдут со сцены люди вроде московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, который (по словам Вяземского) «видит во французских делах (1830) второе представление революции (1789). Смотрит он задними глазами... Он все еще упоминает о нынешнем как об XVIII веке...» (Любопытно, что Д. Голицын был сыном Натальи Голицыной, в которой находили прототип «Пиковой дамы»; мы уже упоминали об этом семействе, когда речь шла о выезде русских из революционного Парижа.)

В повести Пушкина — там, где Германн идет в спальню престарелой графини, — его снова окружают «призраки» 1770—1780-х годов: Монгольфьеров шар, Месмеров магнетизм, мебель, которая стоит около стен «в печальной симметрии», портреты работы старинных мастеров, фарфоровые пастушки, старые часы... Обрисовав в предшествующих главах отвратительный образ старой, равнодушной графини и как будто грустно посмеявшись

над ее временем, Пушкин затем постепенно «ведет партию» против Германны и за графиню. Старуха, за которой подсматривает Германны, «в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна»; молодой инженер, требующий секрета трех карт, постепенно утрачивает человеческое; Пушкин пишет, что он «окаменел». Между тем графиня вызывает все большее сострадание; перед гибелью она пытается урезонить пришельца:

«— Это была шутка,— сказала она наконец,— клянись вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,— возразил сердито Германны,— вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность...»

Германны убивает ее из корысти, в то время как некогда она щедро открыла свой секрет некоему Чаплицкому, по-видимому, повинувшись живому чувству (оттого и смутилась).

Мир феодальный, согласимся, на этих страницах выглядит значительно привлекательнее буржуазного; а разве Пушкин не вздыхает, не жалеет невозвратимую веселую старину, разве не хотел бы вернуться «лет на шестьдесят назад»?

Да, да... и, конечно же, нет! Разумеется, поэт мыслит исторически, отлично понимает безвозвратность прошедшего. Если он сожалеет о старинном рыцарстве, чести, некоторых сторонах прежнего просвещения, то хорошо помнит, какой ценой все это достигалось и что явилось возмездием...

Но каков же новый, торопливый, суеющийся мир инженера Германны?

За три года до окончания «Пиковой дамы» важнейшие ее идеи были уже «отрепетированы» в другом сочинении, поэтическом, создавая которое Пушкин, возможно, не подозревал, что и там уже зарождается будущая повесть!

Престарелый князь Юсупов, герой стихотворения «К вельможе» (тот самый, что обедал с Екатериной в день «девятого термидора»), «лет шестьдесят назад» видел те же салоны и балы, что графиня Томская:

...увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?..

Королева Мария-Антуанетта — «Армида», которой осенним днем 1793 года идти на эшафот.

Затем вельможа — свидетель великих событий, переживших историю Европы:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.

Великая французская революция, затем — Наполеон...

Пушкин далек от того, чтобы подвести итог, определить окончательный смысл всех этих событий. Ему ясно, что «преобразился мир при громах новой славы», но это преобразование породило новый человеческий тип.

Стендаль, между прочим, писал о дворе Наполеона I: «Празднества в Тюильри и Сен-Клу были восхитительны. Недоставало только людей, которые умели бы развлечься. Не было возможности вести себя непринужденно, отдаваться веселью; одних терзало честолюбие, других — страх, третьих волновала надежда на успех».

К этому же спешащему, нервному типу относится и Германн, о котором нельзя было даже сказать, — «разучился веселиться», ибо, кажется, никогда этого не умел...

Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры...

«Им некогда шутить» — «этим не шутят!»: в мире Германна все больше торопятся «с расходом свесть приход»; скучная, жадная, «страшная» (карамзинское слово) карточная игра; и рядом — предчувствие нового грядущего взрыва, который будет не слабее французского; взрыва, что похоронит уже и эту торопливую цивилизацию, как прежний похоронил «Версаль и Трианон».

Впрочем, еще не известно, скоро ли будущий катаклизм, а пока что приближаются, наступают Германны...

Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Вместо Байрона легко подставить другое имя: тем более что Байрона уж шесть лет как нет на свете, а при жизни он не мог пожаловаться на недостаток славы.

«Звук лиры Пушкина...»: для спешащих, смолоду усталых Германнов куда более приятны, «развлекательны» звуки более поверхностной, коммерческой, легкомысленной прозы и тому подобного.

Разумеется, не вся молодежь — Германны, есть и Герцены, но Пушкин их еще почти не различает; сейчас он говорит о первых...

Время переламывается.

Павел Вяземский, сын пушкинского друга и карамзинского родственника Петра Вяземского, заметит: «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая I, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороненной самобытности жизни».

Пушкин всматривается в зеркало прошлого, где ему дано разглядеть контуры грядущего.

Великий писатель понимает, что живет на стыке эпох: одна — продолжение Великой французской революции, другая — предвосхищение новых величайших потрясений. Своим феноменальным историко-художественным чутьем Пушкин старается угадать ход времени; именно в 1830-е как никогда много пишет, размышляет о Вольтере, начинает набрасывать историю французской революции; не принимая простого *оправдания* крови, отбрасывает, однако, с пренебрежением, например, книгу Рабо-Сент-Этьена, где в возвышенной, декламационной манере отрицается насилие. «Рабо-Сент-Этьен дрянь», — замечает Пушкин Вяземскому; в другой раз записывает: «В крике: «Аристократов на фонарь» — один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме».

Не сбылось — сбылось

Огромная драма... Великий художник Пушкин понимает другого великого художника — Историю; он мечтает съездить, посмотреть, вдохнуть парижский воздух, увидеть ту Францию, ту революцию, которую не отыскать ни в каких книгах, ни в каких мемуарах.

Не сбылось... Поэтическая фантазия Пушкина вихрем охватывала Францию, Испанию, Италию, Африку, Америку, Восток; у него была, как выразился один из друзей, «тоска по чужбине»; однако сначала царский надзор, а затем невыносимые финансовые обстоятельства так и не позволили выехать за пределы России.

19 октября 1836 года, в письме к Чаадаеву, Пушкин в последний раз «примеряет» французскую революцию к российской истории:

«До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; Александр сам был якобинцем... Правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».

Пушкинские сравнения парадоксальны и глубоко-мысленны: поэт хочет сказать, что в России коренные, революционные перемены производятся преимущественно сверху, ибо «правительство все еще единственный европеец»: то, что в Париже было сломано и взорвано «снизу», народом, «третьим сословием», в Петербурге и Москве в немалой степени шло «из дворца» — указом, окриком, кнутом, казнями. Так сложилась исторически судьба России — при слабости, неразвитости ее буржуазии, «третьего сословия», и огромной роли государственной власти.

Пушкин, однако, хорошо понимает, что дом, строящийся «сверху», не устоит без фундамента: ломку старых устоев надо упрочить, закрепить; преобладание приказа, принуждения над спокойным, органическим развитием и позволяет поэту даже Александра I назвать «якобинцем» (имеются в виду смелые преобразовательные планы, формировавшиеся у трона в первые годы правления этого царя, а также зверские эксперименты по насильственному «осчастливливанию» народа — такие, как военные поселения и проч.).

Пушкинские сравнения, легко заметить, охватывают и прошлое страны — и далекое будущее: ведь и полтора

века спустя, в наши дни, при совершенно изменившихся социально-политических условиях, не вызывает сомнений особая роль высшей власти, возможности именно «революции сверху», производимой «единственным европейцем в России»...

Пророческое письмо Пушкина к Чаадаеву было написано за три с небольшим месяца до гибели поэта.

В каком-то смысле можно даже сказать, что судьбы французской революции повлияли на развитие этой трагедии; француз Дантес из семьи роялистов вряд ли отправился бы за тридевять земель в Россию, если б не июльская революция 1830 года, оборвавшая его карьеру...

Не увидел Пушкин Парижа.

Ближайший друг поэта князь Петр Вяземский полагал, что и ему побывать на Сене не суждено. Когда Александр Тургенев отправлялся в Англию, Вяземский заметил: «Для себя не желаю, чтобы ты ехал в Англию: довольно с тебя будет и Парижа, который, что ни говори, сосредоточение европейского просвещения... Париж как-то более про нас писан. В нем есть всего: и жижицы и гущи. Кому недосуг переваривать пищу, тот пьет и сыт; у кого же желудок не скороспелка, тот — жуй, ешь и вари себе на досуге. Неужели никогда не удастся мне побывать в Париже? Мне кажется, что мы созданы друг для друга. У меня достало бы чувств на все его ощущения: как колоссу с золотою головою и ногами глиняными, климат парижский был бы впору и голове и ногам моим. Как не вздумалось мне ехать с тобою? Я часто жалею теперь об этом. Общими силами ездить выгоднее; лучше видишь и менее издерживаешь. А если я не запрягусь в дышло, то мне непременно нужно год побегать, побрыкать, побеситься на вольном воздухе. Чувствую, что кровь моя густеет от застоя».

Однако — сбылось.

Пройдет год после смерти Пушкина; на пороге — 50-летие штурма Бастилии, но еще запрещено в России подробно и откровенно писать о той *давней* революции; еще царь *сердится* на Вольтера, а цензура и теперь и много лет спустя будет запрещать многие сочинения Дидро; да и к тем, кто едет в Париж, еще присматриваются с подозрением, опасением, чтобы не ввезли на родину «якобинского шума»...

Но Вяземский все же едет в Париж, постоянно вспоминая погибшего гениального друга; а также другого близкого человека, Карамзина, который с таким же волнением приближался к революционной столице 48 лет назад.

В остроумных впечатлениях Вяземского нечто вроде итога, эпилога полувековой любви и горечи, притяжения и отталкивания, мучений и размышлений, связывающих страну будущей революции с революцией прошлой.

19 (31) августа 1838 года 46-летний князь восклицает: «Слушайте, не верьте, а слушайте. Уф! Как все эти шутки скучны, и ничуть не умны. Уж не поглупел ли я? Попробуем еще. Не уж ли я в самом деле в... в... в... в... Сила крестная с нами! Выговорить не могу. Так дух и спирает. Чертенята в глазах пляшут, в глазах рябит, в ушах звучит, в голову стучит!»

Затем следуют подробности: «Добросовестным и прилежным туристом въехал я в город на империале дилижанса в сообществе с полдюжиной кроликов, которых кондуктор где-то купил дорогою, чтобы здесь перепродать их с барышом. Город с этой стороны не очень выгодно представляется, и я мог бы остаться и в купе. На дворе почтовой станции, куда пристал дилижанс около шести часов утра, нашел я поджидающих меня Тургенева и Гагарина. Проводили они меня в отель св. Августина, где уже наняли для меня комнату. Первою заботою моею было пойти в китайские бани на бульваре. Славно! Вымазали мне голову какою-то яичницею с одеколоном, намазали тело каким-то благовонным тестом, после намылили неапольским мылом, взбитым горою, как праздничное блюдо с кремом, все это с приговорками французскими, объясняющими мне, что мне была устроена баня путешественника. Все эти припарки и подмазки стоили мне около десяти франков, а простая водяная баня стоит около трех. Но мне нужно было бы дать себе аристократическую баню, чтобы смыть с себя демократическую грязь, которою запачкался я в своем дилижансе».

В письмах Вяземского — калейдоскоп имен, в том числе очень и очень знаменитых: «Погода здесь прекрасная, персики и дыни — объедение, Пале-Рояль обворожительно мил, красив, чист, роскошь кофейных домов ослепительна, Фанни Эльслер восхитительна, я не видал Тальони в качуче, но без ума от здешней оркестр-оперы чудесной, то есть французской, итальянской теперь нет;

слышал Дюпре в «Гугенотах» и в «Немой из Портичи», видел балет «Хромой бес»... Здешний народ не беспокоитнее другого, но ему подливают каждое утро чашку дурмана: журналы, вот что мутит народ. Тяжела мне эта исповедь, а таить греха нечего. Сейчас иду к мадам Рекамье.

Поймете ли вы что из письма моего? Пишу как угорелый. Нет времени собраться с мыслями. Каждое утро здешнее стоустое и сторукое чудовище ревет и машет и призывает в тысячу мест. Как тут успеть, и как голове не кружиться».

Разумеется, на каждом шагу сравнения, большей частью иронические, этой цивилизации и российской:

«Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало, куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее. Это хорошо для Тамбова, а здесь с таким капиталом жить нельзя. Вчера чета Леве-Веймарская в своей щегольской коляске заезжала за мною и ездили мы в Сен-Клу, где играли воды. Великолепности нет, но очень мило, и падение вод красивое, все в зелени, народа много, и тень Наполеона тут шатается и толкает вас воспоминаниями, которые не хуже версальских, или по крайней мере не жиже. Если Людовик XIV мог сказать: «Государство — это я», Наполеон имел на веку своем дни, в которые мог сказать: «Мир — это я».

Видел мельком короля, когда он проезжал в карете и кланялся народу в окошко, и, должно отдать справедливость неустрашимости его, довольно высовывал голову свою из кареты. Впрочем, около кареты телохранителей бездна, и полицейских предосторожностей тьма, как и везде здесь, и гораздо более запретительных мер, нежели у нас: тут не ходи, здесь не езд и проч. Одно возбудило мое особенное внимание: когда король вступил в церковь, раздались крики: Шапки долой, шапки долой! Следовательно, в церкви были люди и в шляпах, и никто не заботился о уважении к *хозяину дома*, а только о уважении к *гостю*. Следовательно, здесь все-таки более монархического, нежели религиозного чувства. Правда и то, что, вероятно, одна полиция кричала: Шапки долой! — Радостные крики были довольно умеренны, и только в некоторых правительственных журналах отозвались на другое утро громогласно».



П. А. Вяземский. Литография
П. Ф. Бореля (Н. Брезе).

Вяземский, уже немолодой, усталый, куда менее левый, чем лет двадцать назад, затем несколько раз жалуется на определенное разочарование; мы уже говорили (в связи с поездкой во Францию Фонвизина), что, пожалуй, это характерная черта для многих мыслящих русских, которые дома составили одно впечатление о Париже, большей частью идеализированное, необыкновенное, и несколько пали духом, столкнувшись с французской повседневностью.

Вяземский понимает, что «после революции, после Наполеона Франции нельзя возвратиться к тому же и сознаться, что она попусту проливала кровь свою, бесилась и страдала четверть века»; понимает — и притом предсказывает, что великие битвы еще не окончены: «Думать, что Франция с потрясенными своими понятиями, с искоренением всех возможных правил и преданий, вырванных из почвы кровавыми бурями, может приютиться и притихнуть под сенью абстракции о законности или о божественном праве, она, которая не признает никакой законченности, кроме положительной, и мало верит в бога, оставляя его в покое, только с тем, чтобы и он не вмешивался в чужие дела, так думать — значит не знать Франции и мечтать о золотом веке, когда чугунный век так и несется по железной дороге и мнет и сокрушает все, что ему навстречу ни попадется».

Острый русский мыслитель подводит итоги революционного полувека во Франции; любопытно, что именно в год первого крупного юбилея революции, 1839-й, маркиз

де Кюстин, ярый поборник абсолютизма и старой системы, отправился в Россию, чтобы отыскать там идеалы, которых не находил во Франции. Познакомившись, однако, с жестоким беззаконием николаевского режима, с народом, значительно более угнетенным и несчастным, чем французский, Кюстин, как известно, написал страшную книгу «Россия в 1839 году»; краски этого сочинения были слишком черны; автор почти не заметил просвещенной, мыслящей, внутренне свободной дворянской интеллигенции; однако то, что он увидел, оказалось достаточным противоядием, и маркиз вернулся во Францию куда более подобревшим к плодам французской революции, к тем свободам, которые народ Франции все-таки обрел.

Так оканчивались первые полвека, первый эпилог. Но не последний...

Эпилог второй

14 июля 1889 года

За 50 лет, отделивших 1839 и 1889 годы, ушли из мира последние свидетели штурма Бастилии, Конвента, якобинской диктатуры, термидора. Среди далеких сибирских пространств остались печальные могилы Михаила Лунина, Никиты и Артамона Муравьевых, других персонажей нашего повествования — тех милых мальчиков, которые явились на свет под аккомпанемент 1789—1794-го, воевали в 1812-м, добровольно пошли на гибель в 1825-м.

Лишь несколько последних декабристов, Розен, Свистунов, Завалишин, пережили не только 30 лет сибирской каторги и ссылки, но (будто в отместку судьбе!) сумели прожить еще столько же лет на воле.

Еще в 1870-х годах ветераны, помнившие Бородино, закат Наполеона, довольно горячо спорили с Львом Толстым, доказывая, например, что в романе «Война и мир» описание Бородинского сражения и других эпизодов тогдашней войны недостаточно точно.

Любопытно, что самая поздняя запись очевидца о 1812 годе сделана в 1891-м: рассказ человека, которому было 10—12 лет в момент пожара Москвы...

50 лет — после гибели Пушкина, поездки Вяземского и наблюдений маркиза Кюстина; на русском престоле внук Николая I царь Александр III; великая революция так далека, что всевозрастающее количество упоминаний о ней, сравнений, сопоставлений, рассуждений не может не удивлять.

Если когда-либо будут собраны воедино все отклики на 1789—1794-й в трудах русских писателей, журналистов, публицистов, то может создаться впечатление, что Россия по какой-то сложной кривой за это столетие не только не удалилась, но приблизилась к 14 июля (что, понятно, не противоречит почти полному запрету на изучение французской революции в школах, университетах).

Сколько сотен раз в 1848 году и позже говорилось по-русски — «Вольтер, якобинцы»; вспоминается отец тургеневского героя, который ругал сына, Ивана Лаврецкого, за «странное поведение». «А все оттого, что Волтер в голове сидит», — восклицал этот «простой степной барин», который «особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части».

В 1861 году в стране наконец освобождены крепостные — Россия по-своему сделала одно «французское дело»; Лев Толстой скажет, что, по его мнению, не столько царь Александр II дал свободу крестьянам, сколько принесшие себя в жертву Новиков, Радищев, декабристы. Как видим, названы имена людей, зажженных, потрясенных 1789 годом...

Потом еще десятилетия русской и европейской истории: эхо Парижской коммуны 1871 года снова напоминает о первом парижском громе, который раздался в конце предыдущего столетия; тайная революционная террористическая организация «Народная воля» требует для России второго «французского плода» — *конституции, свободы*; сохранились удивительные записи секретных совещаний во дворце, где царская фамилия и министры обсуждали: не дать ли, не уступить ли? Сторонники каждого мнения в своей аргументации непрерывно употребляют слова «нотабли», «Генеральные штаты», «Зал для игры в мяч», «Бастилия». Иначе говоря, им кажется, что, как только будут объявлены вольности — события начнут развиваться точно так же, как весной и летом 1789 года, — а там недалеко до 1793-го.

Перелистывая тогдашние российские статьи, брошюры, исследования о французской революции, легко определить, что одни авторы видят лучший образец для подражания в якобинцах, другие считают, что будущей русской революции не следует идти дальше конституции 1791 года (монарх плюс законодательное собрание), третьи согласны остановиться на 5 мая (дата созыва в 1789 году Генеральных штатов, превратившихся затем в Национальное собрание), но никак не на 14 июля 1789 года...

Пока судили да рядили — русские революционеры действовали отнюдь не по французской схеме: вели беспрепятственную охоту за императором Александром II и 1 марта 1881 года убили его.

Террористов схватили, казнили, и столетие взятия Бастилии Россия встречала как будто в тишине и спокойствии.

В тихих залах Публичной библиотеки француз Траншер заканчивает копирование 14 тысяч страниц бастильских рукописей (его, правда, интересуют преимущественно сведения об узниках из города Бордо, а также материалы о любовных похождениях Людовика XV); зато русские специалисты неожиданно отыскивают в коллекции Дубровского секретные донесения французских агентов середины XVIII века из... России!

Крупные историки Кареев и Лучицкий вскоре начнут сообщать французам новые, ценные соображения об аграрном вопросе, крестьянской жизни Франции перед 1789 годом; еще несколько лет спустя молодой историк Тарле примется по-новому за «рабочий вопрос» в конце XVIII столетия.

Дела научные, академические...

Ах, как обманчива тишина и сколь призрачно спокойствие! Фридрих Энгельс замечает в эту пору: «Россия — это Франция нового века». Меж тем в далеких якутских улусах политические ссыльные готовили послание в Париж: «О Франция! Ты видишь: младший и великий брат твой, русский народ, просыпается». Один же из этих ссыльных И. Майнов вспоминал: «На чтениях о Великой французской революции все мы были воспитаны, как наши прадеды — на Четьи-Минеях. Сами французы того поколения, пожалуй, так не знали наизусть всех ее дат, так не восхищались ее героями, как наши саратовские гимназисты и воронежские кадеты. Мы прямо-таки летоисчисление вели с 14 июля 1789 года, как с года рождения Свободы...»

Действительно, в России думают о 1789-м, может быть, больше, чем во Франции, потому что в Париже несколько революций уже позади, в Петербурге же и Москве — впереди.

Многие французские историки и политики в 1889 году «не советуют» другим народам копировать события столетней давности. Г. В. Плеханов же в ответ иронизирует: «В настоящее время восставать нет ни смысла ни основания... Короля свергли, прикончили аристократов, буржуазия стала господствовать».

Иначе говоря — вы свою Бастилию разрушили, не мешайте нам разделаться со своими!

Общий тон русских «комментаторов» 1889 года — мажорный, довольно оптимистический! Самое трудное — ворваться в Бастилию, овладеть дворцами, но, если уж получится, то, как пели санкюлоты, Ça ira! — Все устроится!

Как видим, прошли те времена, когда первые русские революционеры Парижем вдохновлялись — и в то же время ужасались; думали о французской свободе, но не хотели платить за нее французской кровавой ценой... Робеспьер, Марат, Сен-Жюст: эти имена куда более притягательно звучат для «саратовских гимназистиков и воронежских кадетиков», чем для их «дедов», Рылеева, Пестеля, Лунина, Пушкина...

Как раз в 1889 году доживает последние месяцы под полицейским надзором Н. Г. Чернышевский, который с молодых лет называл себя якобинцем, *монтаньяром*; но — уже сошел в могилу Герцен: тот, кто восхищался и опасался; революционер, не устававший повторять: «Соппротивление — да, кровь — нет!»

Родившийся в Москве в 1812 году, Герцен полжизни провел в эмиграции, имея особые возможности размышлять над судьбами России и Европы. Перелистывая страницы его трудов, легко находим на каждом шагу хвалу революции: «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо», «Писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства», «Вольтер хохотал, печатая вне Франции свой смех... Этот смех бил и жег как молния».

«О, как мы любили вас, изо всех сил вбирая в свои легкие свежий воздух, впервые повеявший на мир через огромную пробоину 1789 года», — восклицает Герцен в конце жизни, обращаясь к французским демократам.

«Кто из нас не слышал громовых речей Мирабо и Дантона, кто не был якобинцем, террористом, другом и врагом Робеспьера, даже солдатом республики у Гоша, у Марсо?..»

В 1868 году 56-летний Герцен сообщает автору «Истории французской революции» Жюлю Мишле: «Я плакал, читая последние страницы [вашей книги] о смерти Дантона и его друзей... Я только что закончил том... о последних монтаньярах, — как величественно ваше прошлое».

Но вот — другие герценовские отрывки о левых лидерах:

«Марат — раздражительный, болезненный, желчный, фанатичный, подозрительный, великий инквизитор революции... страдавший с народом и проникшийся его ненавистью, его мстостью».

«Бабеф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось овладеть Парижем, комитет *insurrecteur** приказал бы Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис**; он втеснил бы французам свое *рабство общего благосостояния* и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабеф и его комитет погибли бы, бросив миру *великую мысль в нелепой форме* — мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство *довольных*».

Герцен больше других своих революционных современников задумывался о «средствах»; о том, что после Великой революции как бы «сам собою» явился Бонапарт; что в России, поскольку она приближается к своей революции страной куда менее свободной, чем Франция 1789 года, — в России может пролиться еще больше крови, чем в 1793-м; народ же, непривычный к воле, может, сам того не заметив, сделаться «мясом освобождения» — пьедесталом для какого-нибудь российского Бонапарта «во фригийском колпаке»!

Подобные предсказания, если бы их сделали умеренные либералы, консерваторы, понятно, не имели бы той силы, как предостережение одного из крупнейших русских революционеров, очень и очень хорошо изучившего французскую историю...

Поскольку же мы много знаем, имеем опыт 1789—1794-го — с нас и больший спрос!

«Петр I, Конвент 1793-го, — писал Герцен, — не несут на себе той ответственности за все ужасы, сделанные ими, которую хотят на них опрокинуть их враги. Они оба были увлечены, хотели великого, хотели добра, ломали что им мешало и, сверх того, верили, что это единственный путь. Но не такая ответственность падет на наше поколение, искушенное мыслию, когда оно примется ломать, искажать народный быт, зная вперед, что за всяким на-

* Повстанческий.

** Турецкий султан.

силием такого рода следует ожесточенное противудействие, страшные взрывы, страшные умирения, казни, разорение, кровь, голод».

Так жила французскими воспоминаниями и российскими предчувствиями общественная мысль огромной страны. Страны, все еще не ответившей на предсказание Дидро и Рейналя (о котором шла речь в первой части) — предсказание, каким путем она вступит в будущее.

Перед нами русские газеты за июль 1889 года: санкт-петербургские и московские «Ведомости», постоянно увеличивавшиеся в объеме по сравнению с тем далеким временем, когда они сообщали, с немалым опозданием, о парижских событиях конца XVIII века.

Те же газеты, но — уже изобретен телеграф и новости со всех концов света появляются куда быстрее; хотя цензура и высший надзор за печатью отнюдь не отменены, но все же за сто лет многое изменилось, и даже достаточно суровый режим Александра III не претендует на возвращение к временам дедов и прадедов (в эту пору царь однажды признался своему родственнику, что вообще не понимает, как Пушкин 60—70 лет назад мог писать при «тогдашней цензуре»).

Сверх старых газет образовался и ряд новых, сравнительно либеральных, и, конечно, все имеют своих корреспондентов, лондонских, берлинских, парижских...

14-го (по старому стилю 2-го) июля 1889 года. В газетах преобладают сообщения отнюдь не юбилейные: таблицы цен на главных иностранных рынках; информация о царскосельских скачках тут же заставляет вспомнить недавно написанную «Анну Каренину»; в финляндских шхерах на яхте «Царевна» предпоследний русский император делает «высочайший смотр» русскому флоту. Московская печать рекламирует пышное представление «Разгул цыган»; русские ученые собираются в Голландию на праздник 300-летия открытия микроскопа. Среди новостей — подвиг молодого норвежца Нансена, пересекающего на лыжах Гренландию; американец Стэнли наконец возвратился из тяжелой африканской экспедиции: по дороге погибло около двухсот негров; сам Стэнли — «седой как лунь»...

Разумеется, немало внимания уделяется различным коронованным особам, дела которых отнюдь не всегда в счастливом положении: император Франц-Иосиф Австрийский перестраивает замок Майерлинг, где недавно

расстался с жизнью кронпринц Рудольф; только раз в году, в день праздника Тела Христова, показывается людям несчастная, безумная Шарлотта, вдова Максимилиана Габсбурга, некогда объявившего себя императором Мексики, но разбитого и казненного республиканцами: «...ей 49 лет, но можно дать 60; у нее постоянные галлюцинации и приступы страха».

Среди этих известий русская печать не очень-то распространяется о юбилее «14-го июля» (в то время как революционер-эмигрант Петр Лавров говорит в Париже: «В настоящем году Европа празднует столетие французской — или, быть может, было бы вернее сказать, европейской революции!»). Опасаясь дурного республиканского влияния, российская пресса все больше сообщает о скандалах в Палате депутатов, об «упадке достоинства парламента»; о том, например, что «герцог де Морни, занимавшийся до сих пор спортом и бывший законодателем мод (ему, как известно, принадлежит мысль — нельзя сказать, чтоб очень счастливая, — нарядить мужчин попугаями — в красные, зеленые и голубые фраки), готовится стать законодателем страны» (то есть баллотируется в Палату). Меньше всего о парижских празднествах сообщают, понятно, консервативные «Московские ведомости»: для них важно, что «Париж совершенно спокоен»; что в этом городе представлено много церковной утвари, религиозных изображений. (По этому поводу газета комментирует: «А радикалья уверяет себя и пытается уверить других, будто вера оскудела во Франции».)

И все же миновали времена, когда газетам просто давалось указание ничего не печатать о тех или иных событиях; пусть с опозданием на несколько дней и не во всех изданиях, но столетие Бастилии властно вступает на газетные листы.

Прежде всего *Парижская Всемирная выставка*, приуроченная к этой дате; огромный успех, несколько сот тысяч посетителей, десятки языков — от английского до японского, — «дворцы машин, триумф железа и стекла», символические фигуры электричества и пара...

И если все это сошлось именно здесь, перед 14 июля 1889-го, то как не явиться мысли, что без падения Бастилии ничего подобного бы и не было?

Разумеется, русские газеты недоговаривают, но каждая не может умолчать о потрясающем видении —

«Эйфелева башня 14 июля работала всю ночь и выбрасывала из себя снопы электрических лучей во все стороны...»

Покинув выставку, русский читатель попадал на улицы Парижа — юбиляра: в городе сильнейший дождь, мешающий иллюминации; военный парад в присутствии президента; идут войска, идут школьные батальоны, вызывающие особый восторг публики. Не без удовлетворения русские обозреватели пишут об особой воинственности, усилившейся любви парижан к любому проявлению военной мощи; это жажда реванша за поражение во франко-прусской войне и предвестник будущего союза с Россией против общего врага — Германии.

Дождь, грязь, тысячи марширующих: «...впервые в параде принимают участие аннамитские и сенегальские стрелки. На ногах у них сандалии, состоящие из подошвы с ремнем, огибающим ступню. С первых шагов по липкой грязи подошвы стали отставать, но сыны тропических и экваториальных стран не смутились и домаршировали босиком».

Страсти накаляются; пятьсот человек возлагают огромный венок на решетку, огораживающую место, где возвышалась Бастилия; а затем начинаются восклицания и манифестации в честь кумира реванша генерала Буланже: сам генерал находится в Англии, полиция следит за тем, чтобы ругательства в адрес Бисмарка не превышали известной нормы, однако не может этого добиться. Ярый, воинственный патриот Поль Дерулед с тысячей сторонников демонстрирует возле памятника захваченного немцами города Страсбурга; русская печать подробно рассказывает, как полицейский комиссар велел схватить «нарушителя» и как дело кончилось избием самого комиссара; тут опять материя щекотливая: сражение с полицией — «дурной пример» для российского читателя; а с другой стороны, совсем недавно Дерулед пересек Россию, ратую за франко-русский блок, и даже побывал у Льва Толстого, поднеся ему свою книгу с благоговейной надписью, — так что политические симпатии российской печати к нему несомненны...

Мы, однако, пересказываем позицию официальных или консервативных кругов. Что же прогрессивное общество? Известный публицист Максим Ковалевский публикует свое мнение, любопытное и в 1889-м, и, признаемся — также в 1989-м:

«Кто в самом деле решится отрицать, что такие положения (французской революции), как свобода от личного подчинения и рабства, равенство всех перед законом и судом, всесословность и равномерность податей и повинностей, публичность и гласность правосудия, отделение судебной власти от законодательной... признаны в наши дни не только ограниченными, но и неограниченными монархиями — Турцией и Россией!»

Еще две любопытные статьи не могут пройти мимо нашего внимания: авторы интересны тем, что, разглядывая Париж, опять же держат в уме Москву и Петербург. Один из них, скрывшийся под литерами Д-ч, подробно рассказав о парижских балах, куда пригласили рабочих, об открытии памятника герою 1789 года Камиллу Демулену, о веселых детских соревнованиях (поиски монеты, спрятанной в муке, только с помощью рта; чемпионат по гримасничанью); описав все это, корреспондент бросил французам чисто российский упрек: много шума, эффекта, парада, но мало «души»; русскому кажется, что утрачена атмосфера, прежде «возвышавшая, поднимавшая дух человека... Пышность за счет истинного энтузиазма!» Наблюдателю бросилось в глаза, что оркестры почти совсем «забыли Марсельезу»; он вспоминает о потрясшем его стихийном исполнении гимна «лет девять назад», когда в Люксембургском саду его эффектно подхватили около десяти тысяч человек...

Обычная ирония насчет того, что «парижане не могут видеть равнодушно простого батальона, не могут слышать полковой музыки, чтобы не собраться к ней громадной толпой», — это, для автора, яркий признак бездуховности, или, как писал другой русский наблюдатель, «мамагонии» (производное от фамилии известного маршала и президента Франции Мак-Магона).

Мы не настаиваем, что корреспондент абсолютно прав; вполне вероятно, что он наблюдает все-таки поверхность явлений. Для нас важна здесь не столько критика Франции, сколько российское тяготение к возвышенному идеалу, та духовность, которая пронизывает всю высокую русскую словесность.

Любопытно, что в той же газете «Русские ведомости», которую мы только что цитировали, как раз в годовщину взятия Бастилии вышла другая статья, отчасти совпадающая, а местами и противоречащая корреспонденциям из

Парижа. Заглавие статьи — «Взятие Бастилии 14 июля 1789 года»; фамилия же автора весьма примечательная: Якушкин. Вячеслав Якушкин, внук одного из декабристов, чье имя уже встречалось в нашем рассказе.

Эта семья дала России немало число прогрессивных ученых, публицистов; Вячеслав Якушкин, в недалеком будущем член-корреспондент Академии наук, которого вышлют из Москвы за политически смелую речь памяти Пушкина. Это произойдет, впрочем, десять лет спустя, пока же ученый вроде бы сообщает чисто исторические подробности: Бастилия, ее создание, ее узники.

«Бастилия,— замечает Якушкин,— при своем положении в столице не могла, несмотря на толстые стены, вполне скрыть свои тайны от парижан».

Мало-мальски образованный читатель в этом месте сразу догадывался, что автор толкует не только и не столько о французской крепости-тюрьме, господствовавшей над Парижем, сколько о *родной* Петропавловской крепости. Именно через нее прошло несколько поколений российских мятежников (в том числе дед автора статьи и его друзья); в Петропавловской, Шлиссельбургской крепостях уже несколько лет содержатся народные волецы.

Подробно сообщая, как парижский народ в XIV, XV и XVII веках освобождал бастильских узников, Якушкин без сомнения намекал на таковые же возможности в самой России.

И тут статья вступает в «опасную зону»... Якушкин напоминает, что многие историки осуждали толпу, штурмующую Бастилию, «за коварство, кровожадное зверство, хищничество»; ученый отвечает, что «от возбужденной толпы нельзя требовать военной дисциплины», и подчеркивает, что народ, в руках которого был весь Париж, в целом вел себя 14 июля довольно умеренно.

Далее мы читаем: «Швейцарцы сделали 14 июля своим национальным праздником, Кембриджский университет назначил премию за поэму на 14 июля... Всякий мыслящий человек понял, что тут сражались за него». Обратившись к историческим воспоминаниям, внук декабриста сообщил, как некоторые просвещенные российские люди в ту пору украсили свои дома огнями; напомнил и о части бастильского архива, попавшего на берега Невы.

Автор наслаждается, вспоминая, как во все французские мэрии были посланы модели разрушенной Бастилии и по камню из ее стен; как Лафайет послал ключ Бастилии через океан — Джорджу Вашингтону.

Среди этих строк явно возникают стихотворные образы Пушкина:

Товарищ, верь! Взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Последняя фраза статьи: «Новой Франции есть что праздновать 14/2 июля 1889 года».

Смелые строки, опасные намеки; возможно, цензура недосмотрела. Или сыграло роль то сближение Франции и России, которое два года спустя приведет к франко-русскому союзу.

И тогда подойдет к русской столице французская эскадра — и грянет «Марсельеза», и царь Александр III возьмет под козырек: праправнук Екатерины II, которой решительно не по душе пришелся гимн Рейнской армии, потомок нескольких царей, для которых и этот мотив, и эти слова — признак ада, дьявола, Александр III салютует «Марсельезе».

Впрочем, в этом эпизоде уже высвечивается смысл совсем особый.

Царь готов слушать революционный гимн, ибо в данный момент эта музыка отнюдь не представляет революцию: это союз государств, готовящихся к первой мировой войне; альянс государственных деятелей, вовсе не желающих новых революций, — но (и тут звуки «Марсельезы» как бы преисполнены коварства!) эти политики сами того не подозревают, что войною приближают, ускоряют величайшие потрясения (кстати, еще в 1875 году Петр Лавров напечатал в Лондоне стихи «Отречемся от старого мира», которые легли на старинную французскую мелодию и сделались «русской Марсельезой»).

Союз России и Франции (а потом Англии) — «Марсельеза» — мировая война — Октябрьская и другие революции...

«Россия — это Франция нового века».

Разглядывая карту Европы 14 июля 1789 года, мы видели множество монархий — и лишь две маленькие республики.

14 июля 1889 года: по-прежнему почти везде короли, императоры (правда, почти везде пришлось дать конституцию, поделиться властью с подданными). Прибавилась лишь одна республика — зато это Франция!

Кто мог бы угадать, что еще век спустя, в конце XX века, монархическое начало будет представлено всего несколькими королями, «царствующими, но не управляющими»!

Столетие взятия Бастилии — на закате XIX века. Того века, по которому прошла «исполинская метла французской революции» (слова Карла Маркса).

События требовали продолжения, новых эпилогов.

Эпилог третий

14 июля 1939 года

Еще 50 лет позади, а всего — 150!

Нужно ли пояснять, что в эти последние 50 лет важнейшими годами были — 1914-й, 1917-й; добавим 1929-й — всемирный кризис, 1933-й — Гитлер у власти.

14 июля 1939 года, СССР, Москва; газета «Правда», 28-й год издания (старый календарный стиль давно отменен: теперь 14 июля — один и тот же день в Москве и Париже).

Другой мир, другой язык, другие портреты, другие новости.

Временами даже кажется, что изменилась задним числом та старая французская революция, мимо которой не пройти и в эти годы — от нее дальние, а к нам близкие.

Только что открыто трансатлантическое воздушное сообщение: время перелета 28 часов 28 минут.

Несколько месяцев назад замолкли сводки с испанского фронта, но третий год рубрика «На фронтах Китая».

Зажатый льдами ледокол «Седов» дрейфует близ Северного полюса.

Новые сообщения о «врагах народа»: среди них осужденный и объявленный вне закона полпред в Болгарии Федор Раскольников...

Фотографии молодых выпускников военных училищ: характерная стрижка 1930-х годов, еще нет погон (их введут в Советской Армии несколько лет спустя): молодые счастливые лица.

Но что с ними станет, сколько не вернется с той войны, которая для России вспыхнет через 23 месяца, а для Запада еще раньше?

Впрочем, война давно началась: Австрия, Чехословакия уже под Гитлером; советские газеты 14 июля со-

1789

THÉÂTRE DE LA PORTE ST MARTIN
à partir du 30 MAI 1939
La Nouvelle Compagnie
AN MATEA MARC BARNAUT
présente

A L'OCCASION DU CENT CINQUANTENAIRE DE LA REVOLUTION

ROBESPIERRE

Pièce en 4 actes et 6 tableaux de RASKOLNIKOFF - Adaptation française de GUY FAVIERES

Décor de W. M. FUERST

1939

DISIRIBUTION PAR ORDRE D'ENTREE EN SCENE

M. Hubie	M. Gentilhomme	Raymond Lyon	Jean Marjole
M. Dougal	M. Guitard	Jean Burdaut	Jean Chappard
M. Boual	M. David	Jean Cappel	Jean Chappard
M. La Jarrige	M. Dardault	Jean Cappel	Jean Chappard
M. Couly	M. Vassières	Napoleon Dond	Jean Cappel
M. De France	M. Balle	Jean Cappel	Jean Chappard
M. Morel	M. Geller	Jean Cappel	Jean Chappard
M. Soumireu	M. François	Jean Cappel	Jean Chappard
M. Neuhaud-Lorraine	M. Decombe	Jean Cappel	Jean Chappard
M. Dubreuil		Jean Cappel	Jean Chappard

PEUX DES PLACES DE 5 A 50 FRANCS.

Афиша спектакля по пьесе Ф. Ф. Раскольникова «Робеспьер» в парижском театре.

общают о воздушных и наземных сражениях с японцами на границе Монголии и Маньчжурии, у реки Халхин-Гол.

Последние мирные годы: множество фотографий Сталина; отчет о физкультурном параде в Киеве, который принимает тогдашний руководитель Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев.

И тут, среди этих дел,— память о французской революции.

Времени нет, но время нашлось; толстый сдвоенный номер (272 страницы) журнала «Интернациональная литература» весь посвящен великому юбилею: вначале, в переводе Павла Антокольского, семь куплетов «Марсельезы»; затем пьеса Ромена Роллана «Робеспьер»; стихи и проза Клопштока, Рембо, речи Сен-Жюста, письма о французской революции Георга Форстера; множество современных авторов, в частности — подробный отчет о тех французских юбилейных празднествах, которые начались 5 мая в Версале и перемешались сообразно тем событиям, которые происходили в 1789-м и следующих годах.

«Днем, перед дворцом Шайо, состоится инсценировка Праздника Федерации 14 июля 1790 года.

Известно, что в первую годовщину взятия Бастилии в центре Марсова поля был воздвигнут алтарь, на котором Людовик XVI принес клятву верности новой конституции.

Такую же клятву принесет Альбер Лебрэн, нынешний глава государства; он повторит сделанную французским правительством декларацию о неприкосновенности национальной территории и суверенности. Во всяком случае, так сформулировано заявление правительства. Будем надеяться, что факты не опровергнут его. Рассказывают, что, когда Лебрэну шутя заметили, что в этой церемонии ему предстоит заменить Людовика XVI, он не без остроумия ответил: „На этот раз я охотно заменю его, но не до конца!“»

Париж 1939-го: споры о том, что произошло 150 лет назад, чрезвычайно горячи, и понятно — речь идет не только и не столько о XVIII, сколько о XX веке. 11 июля по парижскому радио идет эффектная, страшная передача «Республика вас зовет», поражающая слушателей картинами казней, ужасов 1790-х годов; знаменитый прогрессивный политический деятель Эдуар Эррио с этим не соглашался и спорил: «Французская революция не представляет единства... Взаимная ненависть людей препятствовала движению идей. Робеспьер слишком часто обращается за советом к воспоминаниям тени Руссо... Достойный поклонения поэт, прямой наследник Расина, Андре Шенье принесет свою голову на эшафот. О, горе!» Однако в эти же дни 14 тысяч интербригадцев и других защитников недавно павшей испанской республики, перешедших во Францию и тут же заключенных в концлагерь, — там на 52 языках чествуют французскую революцию...

Празднества во Франции, сообщала «Интернациональная литература», должны окончиться шествием представителей всех французских провинций в костюмах XVIII века.

21 сентября в Париже будет торжественно отмечаться годовщина первого дня первого года республики...

Как угадать, что *21 сентября 1939 года* будет уже для Франции восемнадцатым днем второй мировой войны...

Как угадать, что следующего 14 июля, в 1940 году, как *бы не будет*: Париж уже месяц как в руках гитлеровцев.

«1789 год вычеркивается из истории», — распорядился в одной из речей Геббельс...

Пройдет еще год, и 14 июля 1941 года станет уже 23-м днем Великой Отечественной войны — бои под Ленинградом, Смоленском, Одессой.

14 июля 1939 года угрозу ощущают все, но немногие угадывают быструю сокрушительную лавину последующих событий.

150-летие штурма Бастилии, мы теперь понимаем, — это «мирный островок», последний праздник перед новым чудовищным штормом...

«Правда», «Литературная газета» извещают об эффектных выставках: в Советском Союзе — около 10 000 документов французской революции; в Эрмитаже и Публичной библиотеке Ленинграда, в библиотеке Ленина и других хранилищах Москвы экспонированы для публики книги из библиотек Вольтера и Дидро, собственноручные письма Бабефа, полтора десятка подлинных документов якобинского Комитета общественного спасения, подписанных Робеспьером, Сен-Жюстом, записи песен революции, сделанные когда-то любопытствующими русскими (и тут же — контрреволюционная пародия на «Марсельезу»), бастильские дела (политика, сатира, церковь, шпионаж, колдовство, растраты, личные дела офицеров крепости).

А рядом карикатуры, полный комплект газеты Марата, подлинные письма Екатерины II, отчеты посла Симона.

Мелькают новые советские названия: улица Марата, набережная Робеспьера; флагман советского флота линкор «Марат»; мало того, это имя столь полюбилось, что множество детей отныне именуются Маратами.

За несколько дней до годовщины целая страница «Правды» занята специальной «консультацией» для лекторов к 150-летию французской революции. Большую часть текста заняли цитаты, особенно сталинские, в основном — о преимуществе революции 1917 года перед революцией 1789-го. В частности, со всех сторон разбирается вопрос о «ненастоящем», буржуазном равенстве — и новом, подлинном, социалистическом.

Нам сегодня кажется, что автор консультации увлекся; слишком уж много сказал о том, чего французская революция не сделала, и маловато — о том, что совершила.

Впрочем, дело было поправлено три дня спустя: 14 июля передовая «Правды» называлась «150-летие

французской революции». Там несколько другие акценты: «Французская революция является самым главным событием в новой истории, если иметь в виду период до Октябрьской социалистической революции в России».

«Французская революция XVIII века потрясла до основания всю старую, дряхлую, обветшавшую феодальную Европу. Всюду затрещали крепостные стены, зашатались троны. Грозный вид революционного Конвента, руководимого якобинцами, усилил бешеную ярость монархов Европейского континента, дворян-помещиков, английских лордов-коммерсантов».

В этой же передовой были строки, особенно важные и трагичные в контексте последующих событий: «Фашизм смертельно ненавидит Париж, как город, где в рабочих массах живут революционные традиции. Мрачный образ незадачливого вояки герцога Брауншвейгского оживает в карикатурных фигурах нынешних вояк, которые тоже кичливо угрожают разрушить Париж и подвергнуть военной экзекуции французский народ».

Неизвестный нам автор передовой статьи (может быть, академик Тарле?) делает упор не на том, чем XX век обошел XVIII, а на том, как можно и должно учиться у героев 1789 — 1794-го: «Их любовь к родине, их плебейская расправа с врагами революции, их самоотверженная борьба против интервентов, их незабываемая смелость и мужество».

В тот день, 14 июля 1939 года, еще две полосы главной советской газеты были отданы французской революции: хроника событий, портреты Марата и Робеспьера, статьи о Конвенте, якобинской диктатуре, выдержки из якобинских декретов...

Только что отметив связь юбилея с надвигающейся мировой войной, с гигантскими битвами, где решится судьба человечества, мы теперь ощущаем за газетными публикациями 1939 года и другое, трагическое сцепление времен. Формула — чем радикальнее, тем лучше; подлинный гимн террору, прославление гильотины, — все это, конечно, прямой отзвук того черного террора, который развернулся полвека назад в нашей стране.

В эту эпоху Сталин, искавший «исторических прецедентов» своей неограниченной власти и беззакониям, ищет и находит их как в русской истории (Иван Грозный и др.), так и во французской. Требуется специального, глубокого изучения сложная, интереснейшая тема: как на

разных этапах советской истории в политической полемике использовались такие термины, как «Бастилия», «жирондисты», «якобинцы», «термидор», «бонапартизм». Мы же отметим только «двойной счет» французских революционных событий, которым Сталин пользовался для своих целей: якобинский террор и Бонапарт.

Две, казалось бы, несовместимые линии во французской истории — революция, зашедшая влево так далеко, как могла, и диктатор, монарх, «мятежной вольности наследник и убийца» — они неплохо совмещались в идеологических планах того диктатора, который был «наследником-убийцей» мятежных вольностей 1917 года.

Поощрение талантливой книги Е. В. Тарле «Наполеон», ограждение ее от критики «слева» производилось безусловно по прямому указанию Сталина, внедрявшего в массовое сознание идеи о необходимости «сильной руки», «благодетельного диктатора»; в то же время параллель с Наполеоном явно импонировала генсеку: позже, во время войны, он специально посвятит часть одного из докладов насмешкам над наполеоновскими претензиями Гитлера и объявит, что фашистский диктатор похож на Наполеона, «как котенок на льва».

Откровенная параллель с Бонапартом требовала, однако, привычного прикрытия революционными лозунгами, что и проявилось, как мы видели, в праздновании 150-летия штурма Бастилии. Однако о самом 14 июля, о «Декларации прав человека и гражданина», борьбе французов за демократическую конституцию говорится куда меньше, чем о революционных трибуналах 1793—1794 годов, их борьбе с «подозрительными»; о 16 пунктах (их воспроизводила «Правда»), определявших «по-якобински» — кто *враг народа*...

За несколько лет до того, в беседе с Гербертом Уэллсом, Сталин произнес: «Разве Великая французская революция была адвокатской революцией, а не революцией народной?»

Да, она была народной, но «адвокаты», радикальная интеллигенция были частью народа и многие из них были лидерами массы; в реплике Сталина слышится раздражение против тех, кто учил народ думать, рождал великие идеи.

Юбилей 1939-го был и гимном революции, и оправданием кровавых средств, отечественного бонапартизма.

На пороге была война, новые реки крови, новые жертвы сталинского террора.

Впереди было следующее 50-летие, исполненное необыкновенных, грандиозных и трагических событий.

На 49-м году этого пятидесятилетия автор данной книги оказался в предъюбилейном Париже. Подобно многим историческим городам мира, столица Франции показалась огромной цитастью; все равно как Ленинград, где (согласно Маршаку)

Давно стихами говорит Нева,
Страницей Гоголя ложится Невский,
Весь Летний сад — «Онегина» глава,
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Собор Нотр-Дам — это, понятно, из Гюго; неподалеку церковь Сен-Жермен д'Оксерруа — из «Хроники времен Карла X» Проспера Мериме, а также из «Королевы Марго»: удары набата на этой колокольне были сигналом к Варфоломеевской ночи. Кругом же другие века и литературные герои: Сент-Антуанское предместье — это Гаврош; совсем небольшая улица Феру, но на ней жил Атос; а поблизости и поодаль — Лувр, Новый мост, Монмартр, Булонский лес, Сен-Сир, Версаль, Трианон, Фонтенбло... Естественно, повсюду немало и Великой французской революции: Пале-Рояль, сад Тюильри, тюрьма Консьержери, названия и памятники в честь многих деятелей, которые при жизни нередко уничтожали друг друга, но поскольку все же сообща делали французскую историю, то — увековечены французской столицей: памятник Дантону и станция метро «Робеспьер»; Наполеон с маршалами — и монументы разным Людовикам...

Однажды отправляемся в старинный парижский район Magais (Болото). Наша цель — Музей Карнавале, «особняк госпожи де Севинье», богатой аристократки XVII столетия, оставшейся во французской словесности благодаря замечательным письмам ее к дочери, госпоже де Гриньян.

Сначала все как полагается: портреты хозяйки и ее дочери, во внутреннем дворе — статуя Людовика XIV: Король-Солнце усталый, брюзгливый, пресыщенный, выглядит, по-нашему, почти карикатурно, — но, видно, триста лет назад смотрели иначе.

Во дворце множество комнат, и мы незаметно покида-

ем эпоху, в которой обитала талантливая хозяйка, и совершаем маленькое путешествие по Франции нескольких столетий: портреты, гравюры, памятники эпохи; король Франциск I, с косыми, почти монгольскими глазами, и бешеный противник нескольких королей и герой множества литературных произведений герцог Гиз, с лицом умного злодея и зловещим шрамом на щеке; великая отравительница Екатерина Медичи временно отсутствует: ее портрет увезли в Лондон на празднества по случаю 400-летия гибели испанской «Непобедимой Армады» (французская королева вовсе не сочувствовала англичанам, но все же была важной современницей). Матушку представляют ее не очень удачливые сыновья, последние Валуа. Рядом с усталым Генрихом III его убийца Жак Клеман; зато Генрих IV — веселый, сочный — вступает в Париж, «который стоит мессы». Среди портретов парижских буржуа вдруг старинный знакомый по роману «Двадцать лет спустя», советник Бруссель, тот самый, из-за которого заварилась каша во время Фронды и д'Артаньяну пришлось немало постараться. Советник жил почти на полтора века раньше французской революции, но в его дерзком взгляде и осанке легко угадать грядущий шторм Бастилии; в других странах, в частности в России, купцы не смели так глядеть или, во всяком случае, не заказывали подобных портретов.

И вот залы 1789-го, 1794-го: ключи Бастилии, революционные кокарды, фригийские колпаки. Юрий Николаевич Тынянов, который незадолго до 150-летия французской революции лечился в Париже от смертельного недуга, побывал именно в этом зале и сообщил о своих впечатлениях ближайшему другу — Виктору Борисовичу Шкловскому:

«Поразился в музее... веселому, румяному, черноглазому, широколицему франту — Робеспьеру».

Разглядывая именно этот, замеченный Тыняновым, портрет, мы в глазах и облике франта все же замечаем нечто стальное, математически выверенное и прямо соединяющее теории Руссо с аксиомами гильотины. Остается предположить, что Тынянов до того мысленно нарисовал себе куда более «страшный» образ Робеспьера и удивился разнице между портретом воображаемым и реальным; у нас же, наверное, просто меньше фантазии...

Как, впрочем, у художников и зрителей, два века назад создававших и лицезревших знаменитые портреты



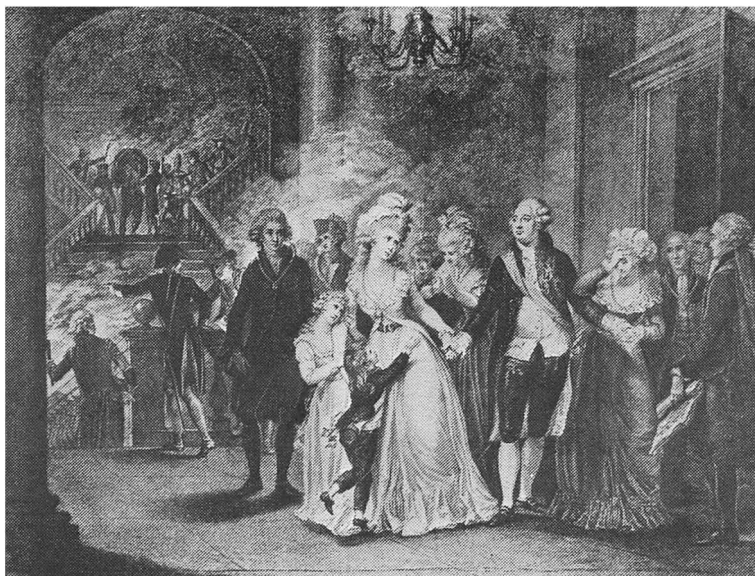
О.-Г. де Мирабо. Гравюра Ф. Бейссона с портрета Ж. Боза. 1790—1810-е гг.

Дантона и Мирабо, которые тут же, рядом. Скажем прямо — лица более чем зловещие, грубые, безнравственные, но — всем нравилось, и, кажется, героям портретов тоже: приходится признать, что идеалы меняются...

Несколько залов, посвященных французской революции, буду откровенен, мне показались интереснее, объективнее тех разделов наших многочисленных музеев, где представлены наши революции. Впрочем, когда мы будем отмечать 200-летие своих восстаний, возможно, — тоже будем соразмерно обрисовывать обе враждующие стороны, давать слово каждой и оставлять зрителям возможность самим судить и решать.

Патриотическая посуда французской революции: фаянсовые тарелки, специально выпущенные к знаменательным событиям тех лет; но порыв был явно сильнее грамотности, и грубые орфографические ошибки в надписях на тех тарелках — очень яркий отпечаток простонародных чувств: например, фраза «Je suis bougrement patriotte» (то есть «я дьявольский патриотт» — именно так, патриотт с двумя «т»!).

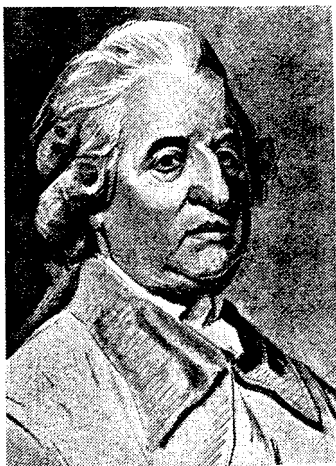
Впечатляючи изображения и надписи тех лет: народ, выбрасывающий королевские гробы из древней усыпальницы в Сен-Дени; доктор Жозеф Гильотен и рядом его главное изобретение — во всей подлинности сама «мадам Гильотен», как называли веселые французы изобретенную доктором машину для отделения головы от ту-



Прощание Людовика XVI с семьей. 20 января 1793 г. *Английская гравюра.*

ловища. Попутно сообщается, что врач Гильотен возмущался старинным «неравенством в казнях», когда аристократу отрубали голову, а бедняков вешали: отныне все равны перед гильотиной, и мы уходим в уверенности, что познакомились с новым инструментом демократии (но сколь характерно, что сконструировал его тот, кто приносил клятву Гиппократу!..).

Король Людовик XVI и его семья: вот коронация, король в горностаевой мантии, лицо умное, вдохновенное и, насколько мы понимаем, сильно приукрашенное по сравнению с натурой; поодаль же бюст Людовика XVI: лицо утратило возвышенную надменность, но исполненно ласковой доброты,— оказывается, это первые годы революции, когда монарх вынужден был даровать своему народу конституцию, и народ (в лице скульптора) считает его добрым, идеальным (таким же, как в конце радищевского письма «другу, жительствовавшему в Тобольске»). Народ, конечно, помнит, что король уступил лишь после штурма Бастилии, но — как бы «желает забыть».



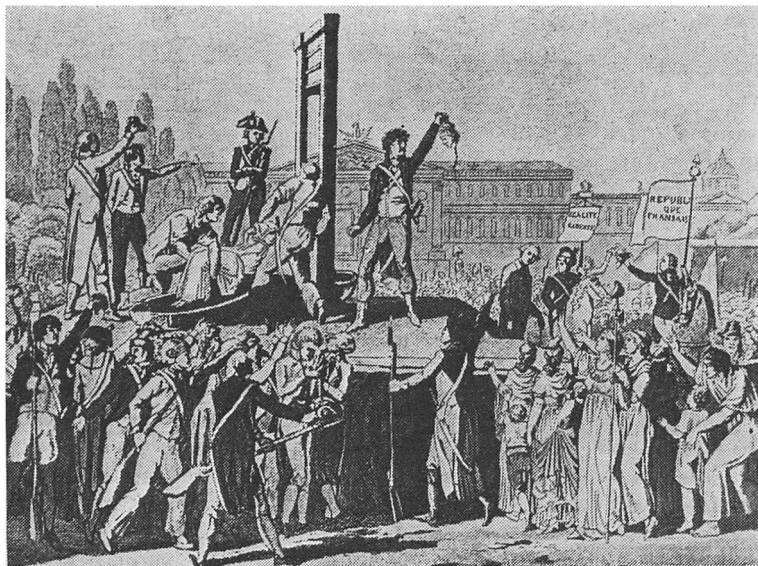
Последний портрет Людовика XVI, написанный в тюрьме Тамплль за три дня до казни. Художник Дюкре.

Наконец, третье изображение того же короля, сделанное мелом на серой бумаге, — Людовик за несколько дней до казни: лицо простое, осунувшееся, очень печальное и по-своему (разумеется, не так, как при коронации) величественное...

Движемся от экспоната к экспонату: королева Мария-Антуанетта в трауре; мальчишка-дофин, Людовик XVII, которому недолго жить: его учебные книги по истории и тетрадки, где детским почерком с ошибками он пишет под диктовку педагога или родителей: «Пренебрегайте удовольствиями, губительными для человечности; увы! Они совершенно бесплодны», — и внизу листа несколько росчерков пера: «Луи дофин, Луи». Чуть дальше — гравюра тех лет: палач показывает народу только что отрубленную голову Марии-Антуанетты; напечатанные бланки приговоров Комитета общественного спасения, куда остается вписать только имя. И бритвенные тазики...

Большое и довольно понятное сходство бритвенных тазиков, которыми пользовались накануне казни и Людовик XVI, и приговоривший его Робеспьер, наводят на мысли, простые и понятные: уж слишком похожи бритвенные тазики (так же как издавна трудно отличимые конные статуи Бурбонов и наполеоновские монументы).

Выйдя из музея, узнаем, что празднование 200-летия французской революции, вообще-то говоря, уже началось: весной 1987 года мэрия Парижа устроила выставку



Казнь Марии-Антуанетты, королевы Франции. 16 октября 1793 г.
Гравюра.

в связи с тем, что весной 1787 года Людовик XVI, опять же, конечно, под давлением волнующейся Франции, издал декреты о веротерпимости. Французские коллеги общаются нам о новых, впрочем очень знакомых по прежним юбилеям, спорах — какую годовщину революции считать главной? Опять же одни традиционно защищают штурм Бастилии, другие — якобинцев, а многие делают упор на «Декларацию прав человека и гражданина».

Порадовавшись нашему интересу, французы догадываются: «Мы понимаем, отчего вы расспрашиваете: хотите по судьбам нашей революции понять вашу; хотя бы приблизительно, по аналогии, представить, — какой путь пройдет ваша страна к 2117 году, когда вам будет 200 лет!»

Мы соглашаемся, что с большой осторожностью все же можно по прошлому вычислять будущее: в самом деле, французам понадобилось еще несколько революций после первой, главной, чтобы усовершенствовать свой строй, свой мир; бывали приливы и отливы, но все же два века, оканчивающиеся в 1989 году, обнадеживают: нель-

зя же отрицать прогресса, улучшения жизни французского народа, развития демократии. Все было, конечно, не просто, «извилисто», стоило крови,— но шло вперед! Не так ли и мы, сделав в 1917 году полный переворот в экономических и политических отношениях, знали огромные отливы, чудовищные жертвы,— но также и приливы, революции, разумеется, очень не похожие на французские, но все же революции: 1953—1964-го годов — и вот нынешняя, с 1985-го...

Повторяем вслед за Пастернаком:

Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку...

— Ах! — вздыхают французы,— как хорошо было бы в 1789-м получить демократические свободы и «Декларацию прав...» без крови и казней.

Мы не остаемся в долгу и сообщаем нашим собеседникам, что один московский лектор недавно вздыхал: «Как было бы хорошо, если б в 1929 году вместо сталинских дел началась наша сегодняшняя перестройка!»

На этом мы оканчиваем наш третий эпилог, начавшийся со 150-летней годовщины штурма Бастилии.

Эпилог четвертый

14 июля 1989 года

Позволим себе только вспомнить напоследок слова того самого «русского путешественника», Карамзина, кто 200 лет назад воскликнул:

«Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков... События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! Нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием. Опускаю занавес».

КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.; Л., 1961.

Далин В. М. Люди и идеи. М., 1970.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестре М. и К. Вильмот из России. М., 1977.

Джеджула К. Е. Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII века. Киев, 1972.

Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. М.; Л., 1947.

Итенберг Б. С. Россия и Великая французская революция. М., 1988.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984.

Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Запретная мысль обретает свободу. М., 1966.

Русская культура и Франция. — Литературное наследство, т. 29 — 34. М., 1937 — 1939.

Русские современники о Марксе и Энгельсе. М., 1969.

Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960.

Штрэнге М. М. Русское общество и французская революция. 1789 — 1794. М., 1956.

Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1980.

Перед грозой

«Философ в 15 лет»	14
6 июля 1762 года	17
«Галло-русский философ»	26
Репетиция	29
Париж и Петербург	34
Прощание, предсказание	40
Два памятника	43
«Подобно отдаленной буре...»	47
Последний визит	52
Шесть тысяч девятьсот два тома	58

Гроза

Донесение № 66	71
14 (3) июля — 18 (7) августа 1789 года	74
Июль — август 1789-го	82
Путешественник	96
«Многих виселиц достоин...»	103
Последние донесения	109
Паспорт госпожи Корф	120
Королева — императрице	123
Господин Очер	128
Страх	135
10 августа — 22 сентября — 21 января...	138
Просветители против просвещения	143
«Vous mes comblez»	150
Кто виноват?	154
Жизнь продолжалась	162
Термидор	166

После грозы

Романтическое царствование	174
«Рыцарство против якобинства»	177
Je déteste	184
«Далеко шагает...»	185
«Наследник и убийца...»	189
Конец века	191
Март 1801-го	195
«Счастливая случайность»	201
«Потомство отомстит»	205
Летним вечером 1805 года	206
Богатыри	209
Бонапарт у ворот!	217
«Мы были дети 1812 года»	218
Парадокс Ростопчина	226
Молодые якобинцы	228
Ingrata patria	237
1820-е	240
Клятва	244
Декабрь	250
Расправа	252
Прощание	254

Эпилог первый

14 июля. Через полвека	259
Шестьдесят лет спустя...	262
Не сбылось — сбылось	266

Эпилог второй

14 июля 1889 года	272
-----------------------------	-----

Эпилог третий

14 июля 1939 года	284
-----------------------------	-----

Эпилог четвертый

14 июля 1989 года	297
-----------------------------	-----

Натан Яковлевич ЭЙДЕЛЬМАН

МГНОВЕНЬЕ СЛАВЫ НАСТАЕТ...

Год 1789-й

Заведующий редакцией

В. Ф. Лепетюхин

Младший редактор

Ю. В. Артемьева

Художник

А. А. Власов

Фоторепродукции

В. М. Соболева

Художественный редактор

А. В. Сергеев

Технический редактор

И. В. Буздалева

Корректор

Т. П. Гуренкова

ИБ № 4935

Сдано в набор 03.11.88. Подписано к печати. 12.05.89. М-18180. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарн. литерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отг. 16,80. Уч.-изд. л. 16,57. Тираж 150 000 экз. Заказ № 711. Цена. 1р. 20 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата. 191023. Ленинград, Фонтанка, 57.

Эйдельман Н. Я.

Э30 Мгновенье славы настает...: Год 1789-й.— Л.: Лениздат, 1989. (Историческая б-ка «Петербург — Петроград — Ленинград: Хроника трех столетий»).— 300 с., ил.

ISBN 5-289-00264-2

Новая книга писателя-историка посвящена общественно-политической борьбе конца XVIII—начала XIX в., сложным взаимодействиям передовой мысли России и Франции. Автор показывает, как отозвались в Петербурге, а через него во всей стране события Великой французской революции, 200-летие которой в 1989 году будет отмечать весь мир.

Э $\frac{0503020200-182}{M171(03)-89}$ 24—89

63.3(0)52

РЕДАКЦИЯ
ИСТОРИКО-ПАРТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИЗДАТА
ВЫПУСКАЕТ БИБЛИОТЕКИ
И СЕРИИ КНИГ:

ГОЛОСА РЕВОЛЮЦИИ
Выйдут в свет в 1989—1990 годах:



ФЕДОР РАСКОЛЬНИКОВ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Воспоминания, письма, документы
Сост. И. П. Коссаковский



АВАНГАРД
Воспоминания и документы рабочих-революционеров
Сост. Е. Р. Ольховский



АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН
Воспоминания, очерки и документы
о мужестве и стойкости революционеров
В 2 кн.



ЛУРЬЕ Ф. М.
Хранители прошлого. Журнал «Былое»:
история, редакторы, издатели

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ

«Штрихи к портрету времени»



ГОД 1917-й:

Воспоминания и документы. В 2 кн.

Сост.: М. П. Ирошников, Ю. Б. Шелаев. 1990.

Мемуары, дневники и письма видных деятелей пролетарской революции и ее активных противников, а также представителей различных слоев и социальных групп российского общества, иностранных дипломатов и журналистов; малоизвестные документы и материалы прессы.

Издание охватывает период от 25 октября до конца декабря 1917 года.

История в биографиях



Бейдер В. Х.

РЕТРОСПЕКТИВА

Повесть о Володарском. 1989.



Старцев В. И.

..В СЕРДЦАХ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Повесть о Луначарском. 1991.



ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ПЕТЕРБУРГ · ПЕТРОГРАД · ЛЕНИНГРАД

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

Е. А н и с и м о в
ВРЕМЯ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

С. Б е л о в
«ЖИТЬ МНЕ ОСТАВАЛОСЬ НЕ БОЛЕЕ МИНУТЫ...»
Ф. М. Достоевский и петрашевцы

Ю. Д а в ы д о в
СИНИЕ ТЮЛЬПАНЫ У ЦЕПНОГО МОСТА
Борьба революционеров с тайным сыском

В. К а в т о р и н
КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января 1905 года

С. Л у р ь е
ПОКУШЕНИЕ
О покушении Д. В. Каракозова на Александра II